



СОГЛАСИЕ

Владимир Рецеттер
ОБРАЩЕНИЕ К КАЗАНОВЕ

Роман



Нонна Слепакова
«САБЛУКОВ» И ДРУГИЕ СТИХИ



Юрий Стефанов
«ТЫ БЫЛ МОЕЙ ЦИТАДЕЛЬЮ...»



1' 1994

РЕДАКЦИОННО–ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Патриарх Алексей,
А.М.Адамович, Г.П.Алференко, В.М.Борисов,
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М. Марченко,
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков,
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков,
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,
А.Н.Самарцев, Л.П.Синянская, Ю.Б.Соломонов,
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков

СОГЛАСИЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОДА

№ 1 (26). ЯНВАРЬ 1994 ГОДА

МОСКВА. А/О «СОГЛАСИЕ»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир Рецептер

ОБРАЩЕНИЕ К КАЗАНОВЕ. *Роман*

3

Нонна Слепакова

«САБЛУКОВ» И ДРУГИЕ СТИХИ

71

Петр Алешковский

АРЛЕКИН, ИЛИ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
ВАСИЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА ТРЕДИАКОВСКОГО

Роман. Продолжение

78

Е. Волков

АЗ-И-АД-СКИЕ БУДНИ. *Стихи*

118

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Антуан де Сент-Экзюпери

ЦИТАДЕЛЬ. *Окончание.*

Перевела с французского Марианна Кожевникова

125

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Юрий Стефанов
«ТЫ БЫЛ МОЕЙ ЦИТАДЕЛЬЮ...»

164

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

В. Г. Короленко
ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ПОРТРЕТ. *По неопубликованным письмам
В. Г. Короленко к родным (1892—1919). Окончание.*
Вступительная заметка, публикация и примечания М. Г. Петровой

176

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Валерий Макаров
ИГРА БЕЗ МАСОК

204

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Кеннет Грэм
ИВОВЫЙ ВЕТЕР. *Роман. Продолжение.*
Перевела с английского Юлия Муравьева

211

Владимир Рецеттер ОБРАЩЕНИЕ К КАЗАНОВЕ

Роман

Любовь — это забота неба о нас...

Оден

Что же есть дружба, не в психологии ее, но в онтологии? Не есть ли она выход из себя в другого (друга) и обретение себя в нем?..

Отец Сергей Булгаков

*Эхма,
кабы денег
тьма!
Купил бы девок
овин
и целовал бы
один!..*

Пословица

Часть первая

1

Его смерть явилась неожиданностью, загадкой и знаком неизбежных перемен, но было совершенно неясно, как и где его хоронить.

День был легкий, продувной, к тому же воскресный, по церковному календарю Троица, со всеми вытекающими из этой даты долгами и ожиданиями, а неясным путем пролетевший над городом слух не то чтобы помешал распорядку дня, но внятно и насильственно вошел в его состав. Позже, когда начались встречи и обсуждения, стали сходитьсь на том, что все, как ни странно, это предчувствовали или предсказали заранее, что так и должно было случиться и вот — сбылось. Но, как обычно происходит, от этого сближающего позднего прозрения и молча или вслух повторяемой двадцать первого мая банальной реплики «я так и знал» или «знала» никому не становилось яснее, как быть, что делать и куда обращаться...

Вопросов накапливалось больше, чем ответов; очевидно, смерть — если это была она сама, а не слух о ней — явилась в окружении беззаконных обстоятельств, о которых у нас принято умалчивать. «Пьяный?.. На женщине?! Господи, Твоя святая воля!.. Не может быть!.. Может, может...»

Да, но если так, то где именно это случилось, чей дом стал смертоносной западней, на ком завершилась дьявольская рулетка, в которую он играл последние годы? А главное — кто займется хлопотами, если... Вот именно, если...

Приводились другие подробности: рвота, разрыв аорты, падение в гостиничной ванной, удар головою об унитаз...

Но были и сомневающиеся. Во-первых, сомневались в том, естественная ли это смерть в результате несчастного случая или его последнее самоуправство; во-вторых, не было ли тут вполне объяснимого покушения со стороны кого-нибудь из больно задетых им по всей области рогоносцев и неудачников; и, наконец, в-третьих, правда ли это или всего лишь завершение очередной серии бесконечного авантюрного сюжета, в рамках которой герой, переменив имя и облик, опять появится перед нами, чтобы увести лучшую из лучших...

Кто он был, наконец? ..

2

Признаюсь, я просто растерялся. Казалось, что уже привык к потерям, ожесточился и все, что выпадет на мою долю, сумею встретить с терпением или чем-то вроде доморощенного стоицизма, но мне в голову как-то не приходило и никак не грезилось, что Осипа Узлова в моей жизни может снова не быть, что придется его ждать, неподвижного и бездыханного, целовать последним целованием, хоронить в пошлых и безалаберных наших обстоятельствах и добирать свой век в пустоте разрушающегося города. Меня будто по лбу ударило, когда на главной улице молодой актер — из тех, что еще надеются на успех и карьеру, а потому ведут себя со старшими достаточно вежливо, — приветствовал меня и, с любопытством приглядываясь, сказал:

— Да, вы слышали? Узлов скончался. В Москве...

— Нет. Не может этого быть.

— На Гюзели Халилеевой, говорят...

Верьте, нет, но в этот самый миг увидел я, словно в страшном озарении, сытое лицо над белым воротничком, гладкое лицо при скромном галстуке, аккуратный зачес и улыбочку, и, как будто фоторобот трудился на моих глазах, нарисовалась рубашка с погончиками, с накладными карманами, бледно-розовая рубашечка в талию до серого кожаного ремня, а глазки менялись, менялись застенчиво, а бровки летали, как ласточки, пока не устроились, — вот он, коротконосый, смазливенький, вот он, Валька Кочар, король исполкома, мразь, убийца, убийца, да схватите его, наконец! ..

Ужас, меня охвативший, имел под собой основания. За Валькой увидел я и двух его корешей в лыжных шапочках, — всегда они у меня в лыжных шапочках — оба семейные, положительные, оба за рулями «восьмерок», оба заведуют производством в райрестрах столовых и ресторанов. И Попов тут как тут, как же, светлоглазый эсэсовец, доволен, может докладывать Буркину, будет праздник в Областном Комитете защиты культуры и досуга, будут решать компетентные сволочи, кому Оську хоронить, уделали урки поганые, как обещали, расправились...

А при чем тут Гюзель Халилеева, худышка, красавица, верная Осипу нежная плоть, свободная душа? .. А-а-а! .. Понимаю, кажется, разом все узелки у них развяжутся, еще, чего доброго, найдут компромат в ходе следствия, принесут листовки и книжечки, принесут самодельные пакетики с наркотой, подянки свои патентованные. Бедная моя, что они с тобой сделают тогда! ..

Я шел как слепой, натываясь на своих современников и дразня неутешную память; на три шага впереди, косолапая и оборачиваясь ко мне, подмигивая огромным веселым глазом, вышагивал Осип Узлов с любимым своим концертино и семиструнной гитарой на черной тесьме, и смурная загульная песня глушила мой мир, пока я не опомнился у часовни Марии Египетской...

3

Уже не раз и не из одного города исчезал он, и всякое исчезновение связывалось с тайной, слухом о смерти, а главное — с какой-нибудь женщиной, но узналось это позже, когда все случилось именно у нас и я стал собирать разрозненные сведения. Зачем? Я и сам не знаю. Может быть, затем, чтобы отвести от глаз невероятные клубящиеся видения; или оттого, что где-то на краю моего смиренного сознания жила подспудная мечта самому сыграть подобную роль, да где уж!.. А может быть, наоборот, хотелось выяснить житейскую подоплеку, которая саму эту роль сведет до уровня доступного мне понимания...

Как мне удастся рассказать о нем, да и удастся ли — ей-Богу, еще не знаю, потому что я, многое перечитав на своем веку, сам за перо никогда прежде не брался. Однако последние события у меня перед глазами, рассказы на слуху, и я решаюсь честно выложить перед вами все, чему был свидетелем, что узнал от него самого или от людей, которые вызывают у меня чувство доверия.

Правда, один мой приятель, имеющий отношение к современной литературе, настоятельно советовал не пренебрегать и менее достоверными слухами, даже анекдотами о нем, но если я последую совету, то буду оговаривать такие, на мой взгляд, слепые источники.

4

Бросился в глаза и поманил с другой стороны улицы телефон-автомат, с приоткрытой дверцей и невыбитыми стеклами. Подчиняясь наитию, я бегом пересек дорогу и, прикрыв за собой прозрачную камеру, бросил двушку...

Носите, носите с собой всегда и везде бесценные медяшки, собирайте внимание перед самым выходом; нет у вас ни ножа, ни пистолета, ни — тем более — автомата Калашникова, но в вашей власти положить в кошелек монетку — дразнилку, наводчицу, наушницу, невелика цена за внезапное сообщение с другом, с родными, с желанной женщиной, за удар по врагу, за верную улику против преступника, ваш внезапный звонок дорогого стоит, а завтра еще дороже окажется.

...И набрал ненавистный номер, лучше вам его не знать, даром что воскресенье, мимо секретарши, метясь в черный простой аппарат, на котором оставлены пальчики.

— Кочар слушает... Слушаю вас...

Вот, выходной, а он бдит, старается...

Тут он почуял, принял, подонок, мой молчаливый вопрос и притих на мгновение. Поймав момент и упреждая его на долю секунды, я нажал на рычаг.

5

День был легкий, продувной, солнце приукрасило бывшую Ковровую улицу, нищие наши магазины будто потеплели изнутри, обещая скромные домашние радости под вечер; зелень казалась живою и свежою в Левобережном губернаторском парке, а дубки, строя ведищие к собору Святого князя Владимира, сами нашептывали первые слова подобающих текстов: «Приими, всесвятая Троице честная...» — и тут, на тебе, снова набежал, воплотился юноша Стологуров, с его никчемной вежливостью и бездарной, голою, лишенной человеческого чувства репликой: «Да, вы слышали? Узлов скончался...»

Кто помнит смерть, не прельщается миром... Господи, прости его, грешного!.. И меня прости, и меня!..

Когда долго живешь среди крепостных, когда сам, купленный рабскими радостями, начинаешь Бог знает чем гордиться, когда втайне лелеешь дурацкое заблуждение: «Нет, я еще не такой, как все, я еще внутренне свободен» и вдруг в твою жизнь врывается настоящий хозяин своей судьбы, человек, одному Богу обязанный всем, что имеет, когда он, ничему не уча, возвращает тебя к естественным законам честного общежития, а ты рядом с ним начинаешь незаметно выздоравливать и влюбляешься в свой образец, быть может, и опасный, и соблазнительный, а потом — вмиг! — ничего еще не осмыслив, ни в чем по душе не разобравшись, теряешь его, — тогда новой волной накрывает тебя смертный ужас, безумие, слепота...

Я дошел до собора, — народу было много, но утренние службы окончились — поднялся по ступенькам ко входу, купил три свечи по пятьдесят копеек, а рубль, сложив вчетверо, опустил в щель темного ларца на сохранение храма, зажег и поставил свечи перед образами Владимирской Пресвятой Богородицы, Святого Серафима Саровского и Спасителя нашего Иисуса Христа, — все по своему давнему выбору и обычаю — но был смущен, несобран и неуверен в себе: не нужно ли мне в нарушение условия поспешить на помощь, не опоздаю ли я с выполнением своего дружеского долга по отношению к его семье и другим... бессильным перенести потерю?..

6

С семьей Узлов и жил, и не жил, был ей — одновременно — предан и вовсе будто свободен от нее; какой там был устав и закон, мы не вполне понимали, но то Ольга являлась на работу изношенная, темная, с коричневыми кругами у глаз, то вдруг Узлов маскировал тоном на щеке свежую царапину. Впрочем, царапина могла появиться где угодно, а не только дома. С одной стороны, он будто стыдился и прятал заботу о жене и дочери, а с другой — исчезал на целые недели неизвестно куда, а Ольга не знала, что отвечать на производственные вопросы.

Женщины нашего театра и города, в свою очередь, никакого значения его семье не придавали; Узлов, благодаря своей славе, был для них как-то психологически разрешен или даже обязателен: ну что это за женщина, если ее Узлов не благодетельствовал? Не женщина.

В конце концов даже мужчины к этому попривыкли: была тут какая-то магия или чародейство; например, один влюбленный жених терпеливо ждал, когда Осип отпустит на свободу его эмансипированную, исполненную любознательности невесту.

Но все, что я вам рассказываю, по правде говоря, — мои околичности, виражи вокруг самого неслыханного и непередаваемого, от чего я все еще пытаюсь отложиться, чего боюсь, как всякий смертный и грешный. Я уклоняюсь, а он — здесь, и смеется надо мной и над вами...

7

Я позвонил Гюзели, никто трубку не брал; показалось, что ее и впрямь нет в городе.

Это со мной бывает: слышу длинные гудки, и вдруг кто-то словно подсказывает: там сейчас любят друг друга и трубку не снимут. Или пьют, но боятся, что самим не хватит. А однажды я почувствовал

поверх гудков, что умер человек, больше того, что пролежит там ваперти еще суток двое. Так и вышло: приехал сын из отпуска, пришел со своим ключом и переступил в прихожей через тело своей матушки, показалось ему, что пальто упали с вешалки. Он мне рассказывает, а я молчу. Что было делать? Знать-то я знал, а кому об этом скажешь? Милиции, что ли? Да сообщу у нас такое милиции, сам убийцей в два счета и окажешься...

Гюзели у себя не было, а Ольге я звонить не стал, пошел к ней пешком через парк, мимо стадиона. Не знаю почему, но прекрасную татарку как участницу смертельной сцены я отвергал начисто...

К этому времени Узлов у нас уже не числился, в трупке не состоял. А раз трудовой книжки в отделе кадров нет и приказ «по собственному желанию» полгода как подшит к старым документам, то вваливать на себя его похороны наши, конечно, не станут.

8

На Соликамской меня остановил Дулегов с протокольной рожей.

— Сергей, ты, конечно, знаешь, — я понял, что он меня здесь караулил, чуял, пес, что я пойду к Ольге по Соликамской.

— Что знаю?

— Что Осип умер...

Я молчал. Он, деликатно и доверительно взяв меня под руку, стал разворачивать в обратном направлении. Я не дался, и он отпустил мой рукав.

— Ты знаешь, что Осип умер, — повторил он, — и как он умер...

Поверь, мне очень горько...

— Как он умер? — спросил я.

— Умер он некрасиво, — быстро ответил он.

— Ты откуда знаешь?

— Каналы надежные, — сказал он.

— Как же?

— Ах, Сережа, я говорил, что это кончится плохо...

— Говори, как...

— Я хочу тебя просить, чтобы ты не возбуждался... И никого в театре не возбуждал...

— В том числе и Ольгу? — спросил я.

— В том числе и Ольгу, — повторил он. — Но не только ее.

— Дулегов, ты скажешь мне, как он умер и чего тебе от меня надо?

— Я сказал: не возбуждайся, мы его хоронить не будем. Не можем, пойми...

«Как в воду глядел», — сказал я себе и спросил:

— А кто может?

— Вопрос пока не решен.

— Кем? Главным?.. Кочаром?.. Или...

Он перебил:

— Послезавтра привезут тело, и к этому времени будет принято решение.

Мы помолчали. В одном он не ошибся: возбуждаться при нем и при всех остальных я не имел права. После паузы я спросил еще раз:

— Что ты узнал по своим каналам?

Он сказал:

— Они отсняли почти всю картину, и Осип запил...

— Ну?

— Его рвало во сне, и он захлебнулся рвотой, — сказал он.

— Это ложь, — сказал я.

— Это — их версия, — сказал он. — Остальное — только тебе, ты не станешь... У него в номере приторчали по одной все дамки, включая супругу постановщика Тузлука и героиню из ГДР, жену известного там человека. — Дулегов оглянулся себе на спину: — Связь с иностранкой, такое дело... Гретхен Шульц... Вот, даже имя тебе сказал, — он испытующе смотрел мне в глаза.

Про эту суку Гретхен я знал без него.

— Дальше.

— Пришлось вмешиваться серьезным людям.

— Каким?

— Ну, все. Я тебе сказал больше, чем имел право. Ты — друг, но имей в виду: главное — не возбуждаться.

— Ладно, пока, — сказал я и пошел своей дорогой. Дулегов смотрел мне вслед, не столько артист, сколько парторг. Его и брали в театр на эту роль, не для сцены, а для закулисья. Он работал не на нас, а на них...

9

В наш город Узлов приехал, освободившись из колонии общего режима, где отбыл три с половиной года по статье, не имеющей ничего общего с тем, за что его судили. А судили его за дуэль.

Я понимаю, что тут сразу же нужны объяснения: все-таки двадцатый век кончается, семьдесят лет режимного владычества, регламентация и полное извращение нравственного чувства, историческая перетряска, испарение чести и прочие захлебнувшиеся новости, но Россия есть Россия, и вот представьте себе, что несколько лет назад в провинциальном областном городе художник в жизни и на сцене Осип Узлов под занавес очередной ассамблеи — неофициальной, конечно, когда собравшиеся мужчины и женщины доходят до кондиции и как бы не держатся за свои дневные чины и субординацию, — вызывает на дуэль местного партийного идеолога, который по пьянке, разумеется, в кругу доверенных лиц местной интеллигенции вспоминает, что его предки были потомственными дворянами, и лезет соревноваться с Узловым в борьбе за юную женщину, которая никому, кроме Осипа, в этом городе предназначена быть не может. Впрочем, сцена требует уточнения, и, вероятно, к ней еще придется возратить внимание в будущем, потому что по ситуации в словах Узлова был не вызов, а понуждение к вызову, если понимать это слово уже не образно, а терминологически. Пока же достаточно того, что дворянин-идеолог петушится как может и в результате стычки на частной квартире возникает речь о дуэли на этом же рассвете из пристрелянных тулок жаканами на пятнадцать шагов...

А до этого спорили о русской идее, захватывали коренные эпизоды истории, поминали прекрасные имена — ну куда было отступить подвыпившему геноссе: или уже совсем бы он упал в общественном мнении, или хоть чуток приподнял себя. Слова были сказаны, компания, струсив, стала обращать дело в шутку и быстро разошлась; дуэлянты заехали на «Жигулях» в охотничий домик, обманули егеря, зашли поглубже в лесок...

Прошу прощения, но прежде, чем грянет первый выстрел, я обязан привести новые разъяснения.

10

Историю о дуэли получал я из вторых рук, так как событие произошло, напомним, не в нашем городе, а на месте предыдущей службы Узлова. Потом были суд, лагерь, недолгие скитания в самых немыс-

лимых дырищах, и к нам он заявился уже после того, как легенда о его необыкновенных свойствах успела перетечь по тайным каналам и произвести впечатление на весь наш тесный мир.

Он пришел, скромно улыбаясь, высокий, худой, коротко стриженный, с седыми висками, чуть косолапый и слегка хромающий, принес свои огромные глаза — и все работы остановились, потому что секретарша на полусогнутых кинулась в зал и прокралась в темноте к главному, а он тут же объявил перерыв и пошел Узлову навстречу; вся бухгалтерия всколыхнулась и заспешила по срочным делам туда, назад и обратно, чтобы хоть краем глаза зацепить нового героя; а наши субретки, инженер и даже героини, наоборот, метнулись по своим примеркам, чтобы проверить, как они сегодня выглядят. Ну что говорить, явление было событийное, хотя он-то сам не придавал ему особого значения: ну пришел, улыбнулся, ну отдал смазливой нашей кадровичке свои небезупречные бумаги...

11

Если я и сообщаю подробности этой дуэли, то потому лишь, что заезжал на место происшествия, кое-кого повидал, послушал и порасспрашивал. Выходило, что на частную вечеринку молодую актрису Клавушку Белову некоторые деятели местного искусства и позвали специально для того, чтобы подставить этому коблу из обкома, и он, хорошо понимая ситуацию, небрежно и снисходительно оказывал ей свое барское внимание. Она сначала не очень поняла — новенькая, а потом видит: дело серьезное, заслуженные коллеги тонко дают ей что-то понять, делают глазами какие-то подкаски и прочее — растерялась...

Узлов явился позже всех, внес бутылку, послушал рассуждения и споры, взглянул раз-другой на него, на нее, все просёк, а главное — что девочка в растерянности, хоть и держит себя молодцом, подошел прямо к идеологу (мне его показали позже, он был переведен на профсоюзную линию, фамилия, вообразите себе, — Левченко) и сказал ему внятно, так что все услышали:

— Отстань от нее, халдей.

С этой фразы и начался открытый конфликт, потому что слово «халдей» Узлов употребил не в этнографическом смысле, который сообщит интересующимся энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, а также безо всякого оскорбительно-националистического оттенка, но именно в том обуженном жаргонном значении, которое имеет в виду нашего ресторанного официанта. И все собравшиеся, взглянув на Левченко, неожиданно для себя открыли в нем оглушительное сходство именно с официантом в самом худшем — жульническом, хамском и плебейском — варианте этой вполне достойной профессии.

— Какой ты дворянин, Левченко? Ты сорняк, дешевка обыкновенная, — сказал Узлов.

12

Видите, я же говорил вам, что опыта писательского у меня совсем нет, поэтому такая чересполосица, скачки от эпизода к эпизоду и стилистическая неуравновешенность. Начал, вроде бы, действительно, как полагается в прозе: «Его смерть явилась неожиданностью, загадочной и знаком неизбежных перемен»... но сбился, сбился на какой-то беглый устный рассказ... Эх, ну да что!..

Сложность в том, что пишу-то я, по крайней мере, из четвертого

времени. Воскресный день Троицы, с которого начался рассказ, — лишь хронологическая поверхность, на которой должен был бы, в случае удачи, удержаться сюжет. Под этой поверхностью и над ней меляются местами и ускользают эпизоды из прошлого моего героя, наши общие перипетии, сцены, случившиеся уже без него, и то пустое календарное пространство, которое сожрала моя нерешительность. (С тех пор характер жизни менялся трижды, если не больше, и я прошу простить мне неизбежные анахронизмы оценок и органическую медлительность.

13

Когда я вошел к Ольге, она была одна; дочь Узлова, Катя, ничего еще не зная, гостила у школьной подружки. Открыв мне дверь, Ольга, не оглядываясь, ушла на балкон и, опершись локтями о перила, продолжала дымить дешевой сигаретой.

«Знает», — подумал я и стал рядом.

С восьмого этажа было видно, как дети играют в садике: желто-серая песочница, грибки, домики, скамейки, круглые, стриженные липы, дубки вдоль дома — и по всему пространству шевелящейся россыпью маленькие человечки, одетые пестро и незатейливо; как будто смотришь сверху на знаменитое полотно Брейгеля «Детские забавы»: вот хоровод, вот драчка... Правда, у Брейгеля — зима, и дети ярче пестрят на снегу. Но я и зимой, бывало, разглядывал эту картинку: один к одному.

Я закурил свой «Беломор». Ольга покосилась на пачку и отвела глаза. При всем нашем несходстве с Осипом Узловым, в этом мы совпадали: не сигареты, а «Беломор».

Если взглянуть налево, чуть поодаль через пустырь видны краснокирпичные корпуса старой железнодорожной больницы, за побитым, протараненным забором — акация, тополь, жасмин, бродячие пациенты в синих халатах с коричневыми бумазейными воротниками и планками на карманах. Мелких деталей с балкона, конечно, не видно, но я знаю эту больницу, бывал кое у кого и насмотрелся, как хоронятся в густом кустарнике господа выздоравливающие, то с бутылочкой, а то и с любовью, нетерпеливые тройки и парочки.

Больничная жизнь великой страны известна своим непрочным уставом, скверной едой и мелкими нарушениями местных режимов. Я бывал в разных лечебных заведениях города, где лежали родственники, сослуживцы, знакомые, а Узлова навещал даже в Первой областной, на знаменитом отделении сосудистой хирургии, где ему чуть не оттяпали ногу, и везде наблюдал типовые и бесхитростные обряды нарушений.

Когда я начал доставать и выкладывать ему на столик яблоки, масло сливочное и печенье с конфетами, настрого наученный, чего ему можно, а чего нельзя, он, тыча пальцем в мою сумку, спросил:

— Водку принес?

— Ты что?!

— Ну, сбегай за водкой, пока семи нет.

— Осип!..

— Будь друг, уважь четвертую палату...

— Нельзя же!..

— Чужой принесет, а тебя совесть замучает. Тащи давай!

— Еле меня пропустили...

— Пройдешь, я в тебя верю. «Беломорчик» захвати...

Может быть, и та бутылка приближала его конец, а я не меньше других друзей и врагов виновен в его смерти? А ведь я взял тогда не

одну, а две, и, когда с первой покончили и появилась вторая, Узлов напел мне таких комплиментов, так высоко преподнес своим сопалатникам, что я был счастлив как дитя в той, избранной болью и случаем, компании и навсегда запомнил его парящие застольные слова. Разве это радость, если радуется дозволенное? И что за счастье переступить через запрет, когда твое свершение секретно и наказуемо: всем нельзя, а нам можно! Всё нельзя, а мы выше этого! . . .

Дьявол за нами следил. И всегда с ним было разрешено неразрешенное, а разоблаченный страх отступал вслед за горизонтом.

Я убрал бутылки в портфель, мы полоснули мензурки и тут, как на реплику, вошла в палату милая сестрица Гизочка. Осип обрадовался:

— Ну наконец-то, ласточка моя! . . . — Он не выбирал ласковостей, все ему годилось.

Соседи по палате, проглотив свои урочные порошки, засуетились, стали меня приглашать в коридор, делая тайные знаки, а там вместе со мной простояла на стреме все десять минут, в течение которых Гизочка давала Узлову свою сладкую таблетку . . .

Надо же! Все у него выходило легко и весело, все были счастливы ему удружить. Процедура, как я понял, была в палате налажена, а из всех сестер милосердия Осип, кажется, ни одну не обидел. И пока он лежал в сосудистом отделении, — мне Алеша Зябков, прекрасный хирург и наш впоследствии товарищ, рассказывал — в ординаторской шло тайное соревнование за ночные дежурства у всех молодых докториц с двух смежных отделений, и выпускницы медтехникума, проходившие широкую практику в ту осень, тоже приобщились щедрой тайны Осипа Узлова, который мог и не спать, и не есть целыми сутками, но без женщины на завтрак, обед и ужин, а там и на ночь, без женщины и без любви не обходился . . . Нет, не преувеличиваю. В этом-то . . .

А как сияли глазки у Гизочки, когда она вышла в коридор, как щеки порозовели, каким теплом повеяло на нас из палаты! . . .

— Заходи, скромник! — подал голос Узлов, и я вместе с его соседями вернулся к нему.

Попадая в такой переплет, я всегда мучительно стеснялся и какое-то время не мог смотреть ему в глаза. Как будто я оказывался виноват перед ним в нескромности. Как будто я, а не он только что был с женщиной. В чем же была моя вина? В том, что я относился к греху как к греху? Нет. Скорее, в том, что соглашательствовал, попустительствовал, что у меня не хватало мужества осудить Осипа, что не хотел выглядеть в его глазах фарисеем. Он с первого дня знакомства значил для меня больше других, и я невольно думал о том, каким он меня видит. В такие минуты я усмирять себя спасительным повторением заповеди: «Не судите и не судимы будете», чувствуя втайне, что здесь у меня какая-то существенная ошибка.

Он был послан мне на испытание.

Вот и тогда, в сосудистом отделении, будто проникнув в меня своим рентгеном, будто услышав слабые шорохи моих сомнений, Узлов не в первый уже раз переспросил:

— Грех? . . . Садись-ка . . . А отказывать женщине — не грех? . . . Оскорблять ее отказом? . . . Вот так, святоша . . . Съешь лучше яблочко . . .

— Благодарствуйте, — сказал я, — виноват. Я не знал, что все это от них. По их инициативе.

— А как же, батюшка, все от них: жизнь, любовь, смерть, все . . .

— Не ошибаешься, — спросил я, — не ошибался?

— Было, — сказал он.

— И сколько за тобой ошибок?

— Одна.

— Да? — удивился я. — Только-то?

— Мне хватило, — улыбнулся он.

«Дьявол», — подумал я, а он ответил:

— Нет. Это по-человечески... Эх, Сержант...

Что-то он видел во мне — не заметное другим.

Мы стояли на балконе с Ольгой, его женой или теперь уже вдовой, «святой мученицей», как он ее однажды назвал, горькой, замкнутой, не умевшей радоваться женщиной, и в нашем общем молчании участвовал он, почти видимый и беспримерно легкий. Ольга держала в правой руке пепельницу, которой поочередно касались ее сигаретка без фильтра и моя стиснутая «беломорина», и между нами возникал какой-то новый договор на все предстоящие дни.

— Ольга, — сказал я и удивился, как это странно прозвучало, будто я ни о чем не спрашиваю, не обращаюсь к ней и не собираюсь продолжать. Я сказал «Ольга» и поставил точку. И тотчас же эхом на мое названное предложение раздался в моих ушах ответ, словно из глубины квартиренки пропел Осип таким дурацким пародийным тенором: «Ах, О-ольга, я тебя-а люби-ил, те-бе единой посвяти-ил рассвет печальной жизни бурной...» Бывало им и хорошо вместе.

— Зачем ты... — спросила она и не окончила вопроса. — Он уезжал от себя.

Какая-то унылая монотонность была в ее голосе.

Я пошел домой.

14

Кого он любил в действительности? Можно ли его романы считать любовью? Да и что она вообще такое, наконец, эта невидимка, без которой многие прекрасно обошлись, исполнив детородные ритуалы и уступив место следующим отрядам? Узлов, Узлов смутил меня, он заставил заново увидеть свою жизнь и жизнь окружающих; его слова и дела — в основе моих новых представлений об аномальном и роковом приключении на бытовых отвалах истории.

Сегодня я убежден, что все случаи любви, кроме узловских, так или иначе представлены в мировой литературе; все типы и роды даны, а все смешения и смещения вполне поддаются исследованиям. Хотя нельзя забывать, что есть еще и неоткрытые архивы.

Он перенес всякий эпизод и любую случайную встречу из бытовой и постыдной сферы в космогоническую, начисто исключив из названия и оглавления все браки, все длительные сожительства, с ведением совместного хозяйства, все благополучные адюльтерные уродства, мирные скрипы пружин и договорные оргазмы лишенцев обоего пола.

Как в централизованном распределении товаров повышенного спроса, здесь царит несправедливость; мировые запасы любви хищнически исчерпаны, любить нечем и некому, в дело пошел суррогат, и миллионы голодающих жадно приникают к десятку сюжетов, чтобы подразнить ущербную прапамять и снова увериться в том, что их предки были гениальны.

Любовь всегда доставалась только пришельцам, и только пришельцы могли ее воплотить. Луч нисходящий, Оська Узлов, что ты оставлял в счастливых лонах? Что заронил в сокровенные копилки всегда готовых, вымытых наших провинциалок? Зачем ты успокоился в жадной Москве? И, если это так, кто тебя везет в закрытом футляре, со звездой во лбу, по нашей тряской дороге?..

— Не оставляй детей моих, старче, — сказал он мне однажды в

минуту счастливой попойки, и в семи городах бесконечной России нахожу я прекрасных сирот, длинноногих птенцов, с дорогими глазами Узлова, несмышленных носителей звездного света, золоченых славянской и богоугодных двукровок...

Что я могу для них сделать, нищий и связанный, как моя родина? Только собрать однажды над книгой об их отце, которого они не знают, только защитить его от наветов, только открыть им большие глаза на тайную правду.

— Слушайте, друзья мои, слушайте, побочные дети Узлова: ваш отец...

Остановись, успокойся, рассказчик!.. Ты еще не исполнил условий...

15

Я шел домой и не заметил, что автоматически сворачиваю к театру: на углу Таманской в меня воткнулся Кошуков с кошелочкой.

— Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, — сказал он, покачивая круглой головой, — какая потеря, Сережа, какая утрата! Какой артист, давно мог быть народным!..

Я молчал, глядя на него, и ждал: этот вывалит все, что собрал на утреннем спектакле.

— Тебе на базар не надо? — перебил он себя и сам же ответил. — Ну да, ты не ходишь... Сначала думали, что это все Гюзель, так, а оказалось, нет, — торопился он, — оказалось, что баб было трое, так, и все три, понимаешь... Нет, нет, нет, не думай, по одной, по очереди, так, одна за другой... Ну! Разве можно, а? Ай-яй-яй-яй-яй!.. Ну, не железный же, так?.. Одна — немка, представляешь, женщина-немка, так, другая — Глухова Лена, представляешь, опять! У нее же вообще бешенство, так... А третья вообще... Московская, инкогнито, темнота, так... Из кругов, ну, из самых... Теперь... все трое хотят сопровождать... Гроб сопровождать... А тут?.. А Ольга?.. А Гюзель, представляешь?.. И наши до одной?.. Что предпринимать?.. Тур пришел, так, закрылся в кабинете с Дулеговым, так?.. И у секретарши параллельный — динь-динь-динь-динь-динь... По междугородке, так, два часа по срочному тарифу...

Я смотрел на него и думал: вот еще одна Божья нелепица. Ведь он радуется, скрывает, но радуется, теперь он — самый талантливый; обсасывает новость, хочет побольше интимных подробностей. Ну можно ли при таком даровании быть таким ничтожеством? Оказывается, можно.

Кошуков кругленький, быстренький, заводной. Росточком он маленький, такой бегущий пингвинчик, а талант у него природный, настоящий, большой.

— А ты что знаешь, Сережа? Тебя кто поставил в известность? Ну ладно, потом, понимаю, тяжело, так... — он погладил меня левой ручкой по локтю и, еще чего-то выжидая, продолжал с короткими паузами: — Надо на сцену. Да-да-да-да-да-да... Надо со сцены, так, чтобы зритель отдал дань, так сказать...

Кошуков — сладострастник. Девочек ласкает взглядом, как лысинку ладошкой. Вот и сейчас, говоря о похоронах товарища, не пропускает ни одной девочки, мимо идущей. Когда служил в соседней области, у Забродова, преступил закон, совратил малолетнюю; открылся скандал, хотели отдать Кошукова под суд, но отцы города любили посмеяться и велели замять дело, а то не над кем было бы смеяться лет семь или десять. А прокурор у них в руках. Как и суд. Как и след-

стве. Родителям девочки Кошуков денег дал сколько-то, и они, пьяницы, забрали заявление.

Старик Забродов, по прозвищу «Протез», сам, в сущности, известный срамник, ни разу, однако, не пойманный за руку и умевший гасить скандалы, телефонного звонка сверху охотно послушался. Но спектакль устроил. Сделал вид, что ужасно негодует, сыграл роль благородного отца и не без удовольствия выслушал от виновного все интимные подробности. Кошуков ползал у него в кабинете по текинскому ковру, целовал руку, плакал настоящими слезами, возвысился в этой сцене до настоящей трагикомедии, и вскоре ведущим было объявлено решение: сохранить тайну, чтобы не пачкать театр.

Прощтрафился он и у нас, — на этот раз подвела клеptomания — и у нашего Турина ползал по туркменскому ковру, и ему целовал руку; за талант и усердие простили и у нас, дали роли деда Мазаю и все-народного старосты Калинина, звание заслуженного, делали вид, что никто ничего не знает...

Однажды на гастролях в Донецке Кошукова поселили между мной и Узловым; свернув шейку, заглядывая через стоечку смежного балкона, он наблюдал при полной луне, как Осип ухаживал всю ночь у себя в номере за юной красавицей, внезапной своей местной подругой. На другой день он сделал Узлову неосторожный комплимент по поводу его мужской удали. Осип поставил его в гостиничном коридоре лицом к стене, дал коленом под зад, подпер плечом, так, что Кошуков захрипел, и велел стоять два часа не оборачиваясь. «Отойдешь раньше — сплющу», — сказал Осип и ушел гулять по Донецку с отважной красавицей, а Кошуков остался стоять. Сделал вид, что задумался, и отстоял... И вот он говорит мне про Узлова, которого нет в живых, а я его слушаю...

И тут к нам подходит Иван Куртанов и говорит мне: «Здорово, Сержант», — а Кошуков убегает на базар за восточными приправами. Ивана я люблю и ценю, он — большой, белокурый, открытый, настоящий «игрок», ну, не в том смысле, что в карты играет, а так у нас говорят о самых крепких, опорных артистах. В то же время Куртанов не стесняется подрабатывать монтировщиком сцены, попробуй прокормить семью, если в городе недостает актерских халтур. Местное радио Лисицкий оседлал...

— Серега, — сказал басом Иван, — если я тебе гожусь, бери в разведку. А то ведь они... — и покрутил белой головой.

— Ладно, Ваня, отдыхай пока, — ответил я и, пожав ему широкую кисть, повернул домой. По одному из условий, узнав о смерти Узлова, я должен был на первое время воздержаться от любых действий.

16

В лесу «дворянину» Левченко стало неудобно: ни секунданта, ни врача, ни своего свидетеля. Они шли по заметной тропе навстречу рассвету. Осип впереди, «Халдей» поотстав. Когда стало невозможно двигаться плечо в плечо и надо было принять решение, кто ступит на тропу первым, а кому идти вслед, — Узлов взглянул Левченко в глаза и увидел в них жесткую решимость во что бы то ни стало контролировать ситуацию. Двигаясь по коридорам власти, парень прочно усвоил волчьи законы. Осип усмехнулся и шагнул вперед. Теперь они заходили все глубже в лес, и он чувствовал спиной, как вибрирует трезвеющий Левченко.

Они вывалились из сторожки с уговором: незаряженное оружие — в правой руке, патроны — в правом кармане, чтобы неудобно было

тянуться и ни один не мог без общей команды получить упреждающей выгоды. Дело было осенью, и поверх пиджаков, вместо своих плащей, оба натянули утепленные брезентовые куртки, которые ждали высоких гостей в запасливом охотохозяйстве. В отличие от Узлова, Левченко здесь бывал не раз и эти места знал.

Сначала в лесу было тихо, потом стали перекликаться рассветные птицы, и в какой-то момент, приняв острый сигнал опасности и резко оглянувшись назад, Осип увидел, как «Халдей», несколько скособочившись, старается незаметно опустить левую руку в правый карман. Он замер, пригвожденный уличающим взглядом, его левая медленно появилась на свет, неуклюже повернутый корпус стал выпрямляться, и ладонь, как бы защищаясь от упрека, раскрылась в сторону Узлова, пальцы напряженно растопырились: смотри, мол, патрон остался в кармане.

— Перекурим? — спросил «Халдей».

— Давай, — согласился Осип и прислонил тулку к кедровому стволу.

В пиджаке у Левченко были сигареты «БТ», и он потащил нашкочившей левой рукой пачку из правого внутреннего кармана (в левом — партбилет, в правом — сигареты) и, не выпуская ружья, протянул белую коробочку Узлову:

— Будешь?

Не отвечая, Узлов достал из верхнего кармана куртки заранее переложенный сюда «Беломор», спички, вкусно закурил. Теперь Левченко нужно было извлечь откуда-то свою зажигалку, и он тоже, поставив приклад на землю, дал незаряженной тулке опереться о ближнюю елочку.

Курили не спеша.

Откуда у командующих товарищей такая тяга и тайная любовь к ими же уничтоженному, рассеянному по свету дворянству? Через поколение, правда: начинали-то с ненависти. Откуда теперь это самозванство? От чувства неполноценности, что ли, доставшегося им генетически? Или от жажды узаконить ворованные привилегии? Своих законов мало, нужно еще, чтобы на них работала даже сама природа и, уж конечно, история. Передавая теперь и по наследству богатства и должности, уважаемые товарищи (Левченко — не первый и не последний случай) ищут установить кровное родство с потомственным дворянством. Засыпать непереходимый ров, полный трупов, сделать подчистки в краденых документах, присвоить чужие памятники и кладбища, ловкой подменой обмануть народную привычку к подчинению — вот чего хотелось бы некоторым выдающим себя за дворян предводителям.

«Халдей» имел выбор: поступи он согласно партийной морали, и ни о какой дуэли речи быть не могло — зови милицию, обвиняй в хулиганстве пьяного артиста, и вся недолга. Но ведь поди ж ты, хочется ему еще и перед женщиной предстать в сиянии лучей. Здесь слабина, за которую придется так или иначе расплачиваться, и чем трезвее он становился, тем больше это понимал.

17

Пятнадцать шагов между дулами — случай чисто русский. Тут было угадано. Французы дрались на больших расстояниях, и дуэльные их представления отдавали чаще опереттой, нежели трагедией. Немцы предпочитали шлягеры, то бишь рапиры, и с удовольствием записывали пивом благородные царапины на щеках. Узлов же, думаю, назвал условия по наитию, хотя вполне мог помнить и Пушкина: вы, мол,

французы, очень учтивы, вы деретесь на тридцати шагах, а у нас чем кровавее, тем лучше . . .

Если разбирать по кодексу, то в конкретной ситуации оскорбление чести нанес как будто Узлов: «халдей» звучало пощечиной, следовательно последовало от него. Порой действия, обязывающего к ответному вызову, играет всякое слово, письмо, рисунок, жест, удар, оскорбляющий самолюбие, деликатность или честь лица. Левченко самым фактом своего наглого самозванства первым оскорбил русское дворянское звание: И все же юридически более ответственным оказался Осип, так как условия кровавого поединка в лесу ставил он.

Чем больше я думаю об этой провинциальной дуэли, тем больше убеждаюсь, что настоящих правил не знал и Узлов. Он, как и все остальные, помнил одни только хрестоматийные случаи и, обсуждая условия, доверял своему чувству справедливости. Впрочем, и в прежние времена дворяне и офицеры ориентировались больше на литературные описания, взяты хотя бы чеховскую «Дуэль».

Да, оскорбленному, кажется, полагался первый выстрел, но кого здесь считать оскорбленным, если все в русской жизни давно так круто сдвинуто и скособочено, а левченки, сидя под красными лозунгами, ежедневно нас оскорбляют мнимым своим старшинством и думать забыли о провозглашенном когда-то ими же социальном равенстве и недобитом в людях чувстве собственного достоинства. Узлов просто ставил на место наглеца, дело шло скоростное, горячее, и участникам сцены не сразу стало видно, как они-то сами, сведники или просто свидетели, спасаются его парадоксальным поведением от подлых ролей. Он и у нас всегда каким-то особым способом проявлял, вскрывал любую ситуацию, привычно затушеванную, незаметно лживую, и это тоже было его коренным отличием от остальных.

Тартуские ученые целую науку основывают на тонкостях человеческого поведения, на привычках, правилах и условиях, бытующих в разных слоях общества в те либо другие времена; по этой науке, кодексы чести и моральные правила — живая плоть истории, а биография художника — такой же творческий акт, как создание книги или картины. С этой точки зрения все, что я собираю об Осипе Узлове, — фрагменты главного его создания, распыленного по дорогам времени в семи городах не знающего ему цены отечества, и если я не смогу их скрепить воедино на дорожающей бумаге, то хотя бы оставить как материал — для тех, кому будет видней из третьего тысячелетия.

А в эпизодах вызова и дуэли, которые я пытаюсь реконструировать, преждевременным и даже демократическим выходило то, что соперники сговорились не брать и не давать друг другу никаких преимуществ. Здесь Левченко на одну возвышенную минуту все же приближался к человеческому образу и подобию, и ему давался судьбой значительный шанс на какое-то другое продолжение . . .

18

Вот они курят в лесу, прислонив тулки к стволам деревьев, а я смотрю на них издали и чувствую, как собираются вокруг несправимые силы темени, дают одного и ничего не могут сделать с другим. Может быть, и дуэлянты в эту минуту вместе со мной пытаются разглядеть задымленные ристалища впереди, новых участников расходящегося кругами поединка — женщин, детей, таборных гадалок, фальшивых экстрасенсов, судейских, глупых и умных начальников, лагерных сук и воров в законе? Может быть, и они прислушиваются к эху еще не раздавшихся выстрелов? И не место ли здесь приобщить к делу уличающие свидетельства белок и птиц, кедровых листьев и елочных игл? Во имя чего было нам попущение проявить свободную волю

в решающий миг? Или не было ни воли, ни попущения? Не знаю я, ничего не знаю. Но эта минутная пауза сообщается у меня с дорогой, по которой я иду домой, мостом Завилейского, трусливо дрожащим от безумных грузовиков, старыми деревянными перилами по левой его стороне и новыми по правой, колдобинами и асфальтовыми заплатами под старыми моими румынскими подошвами, привычным острым переходом от древней части города к новой, где он теряет себя и просит снисхождения у будущего.

Дашь ли знать о себе, Осип? . . Я машу рукой знакомому инженеру, который хотел бы со мной поболтать о городской сенсации, — нет, не могу — мимо остановки, от которой разбегаются в разные стороны четыре трамвайных маршрута, мимо нотариальной конторы на улице Михайлова (черт знает, какого именно Михайлова, всю жизнь забываю узнать), мимо тоскливого суда, набитого бракоразводной рухлядью.

Интересно, как вели себя там и тогда товарищи судьи и народные заседатели? Куда им было заглядывать, кроме «Уголовного кодекса РСФСР»? На что упирали прокурор и адвокат? Ведь не на графа же Шатовильяра и не на работы Таганцева и Швейковского о русской дуэли, где им! В моральный кодекс строителей коммунизма привычно косили они.

В нарсуде Ленинского района К-ва дела мне не выдали, отнесясь с подозрением к моему интересу и ко мне самому. Так ведутся дела, что всякий секретарь первым своим профессиональным долгом считает показать фигу просителю. И хорошо еще, если фигу сопровождается сухим текстом, а то ведь могут его и размочить. Секретарь суда была, как обычно, женщина разведенная, нервная, пергидролевая, а высокомерием не уступала и самому председателю, который был сиамским близнецом нашего знаменитого собаколова Бондаренко и, разумеется, послал меня за письменным разрешением в юридический отдел. Да пропадите вы все пропадом! . .

— Глупо, — сказал Левченко, когда они докурили. — Попадешь ты — сядешь. Попаду я — меня оправдают. Глупо.

— Как посмотреть, — сказал Узлов.

— Ладно, — сказал Левченко и бросил окурок.

Узлов поплевал на свой бычок и, посмотрев себе под ноги, спрятал его в карман куртки.

Тогда и Левченко надумал затоптать свой и первым взял тулку, положив ее по-охотничьи на руку. Осип потянулся за своей, и в ту же секунду «Халдей», прыгнув назад и отступая за большую ель, стал ломать стволы и рвать из кармана патроны. Осип еще стоял на месте, медленно перекладывая ружье в левую руку, когда Левченко, обогнув дерево, уже выскочил с другой его стороны; черные, близко посаженные глаза двустволки метрах в семи от цели притягивали взгляд.

— Бросай оружие! — приказал Левченко.

— Дурак, — сказал Узлов. — Поплатишься.

— Ну ты, паяц, падла, — повысил голос «Халдей». — Считаю до двух . . . Раз . . .

Стоя спиной к кедру и держа в правой руке незаряженную тулку, Узлов смеялся.

— Бросай, — взвинчивая себя, с горловым клекотом и наигрывая ярость, повторил Левченко и прицелился Осипу в лицо.

— Ну ладно, — мирно сказал Узлов и, сделав успокаивающе обманное движение правой рукой, исчез, как показалось «Халдею», за кедром. Качнувшись влево, тот выстрелил; оторванный вместе с волокнами кедрового мяса, полетел сквозь листья подлеска кусок коры; с паническим криком взлетела на крону белка . . .

— Дурак, — сказал невидимый Узлов.

Левченко в хищной позе перепрыгивал от ствола к стволу . . .

Тихо было дома, пусто, и есть нечего, и негде искать. Кому позвонить? Анне?.. Но в прошлый раз она принесла с собой котлеты и очень разволновалась, когда я отказался от них наотрез. Это уж последнее дело — женщину объедать, если не думаешь на ней жениться. И вообще нехорошо чем бы то ни было одолжаться у их сестры. Да и Анна тоже... Не могла ничего лучшего придумать. В нашем городе испокон века за каждым столом затвержено: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Много у нас таких мудростей. Господи, что же это за пошлость бессмертная и как я мирился с ней до появления Узлова!..

Но звонить меня тянуло не из голода, а от пустоты. Мы часто пугаем эти состояния.

Я запер за собой дверь на все задвижки и лег на диван. Вот любимое положение русского артиста. Во всяком случае, мое.

До появления нашего героя был я женат и жил со своей законной половиной, тихим мальчиком и приходящей тещей в государственной квартире, которую выслужил десятилетней пахотой, терпением и общежитской тюремной поднадзорностью. Но летом, накануне нашего с Осипом знакомства, жена моя, как стало известно впоследствии, удачно завершила свою потайную атаку на одного богатого армянина, вдовца, и, сманив сына, исчезла, продолжая чего-то выжидать и держать меня в неведении. Но лето, но отпуск, но призрачная воля сделали меня, вопреки событиям, временным счастливецом, и ко мне заглянули две-три случайные подружки, в том числе и Анна со своими котлетами.

Квартира, на которую имели все права мои отошедшие в сторону родственники, принадлежала мне, таким образом, с известной долей условности, и я в любой момент мог ждать неожиданного визита или возвращения. Но деться было некуда, так и жил... .

Надеюсь, читатель простит меня за дурацкие подробности мизерных моих обстоятельств, которые все же облекаются новым смыслом в том плане, что судьба уже готовила меня к встрече и расчищала пространство обобранных комнат и сиротеющей души. Это прежде я пустился бы расписывать свои анкетные пункты и скучные подробности, как всякий приуроченный зануда, но малая толика их, как я чувствую, все же нужна для того, чтобы обставить пришествие в мою жизнь О. С. Узлова, от которого я, в свою очередь, почти никогда не мог добиться даже простейших биографических справок о прошлом. Рассказы же о его романах, связях и даже мимолетностях мне от него доставались, и тут я чувствовал какое-то намерение, но сведения о пожилых родителях Узлова, о соседях его — супругах Солдаренковых, их трагической дочери и еще кое о чем я собирал с трудом и постепенно... .

И Анну я вспомнил здесь не случайно. Если бы она догадалась принести мне съедобный подарок в те поры, когда я Узлова еще не знал, я бы, пожалуй, умилился, развежился, умял бы гостинцы за обе щеки и смиренно повлекся бы на котлетной наживке за ее нехитрым удилищем. Но теперь... . Теперь пара этих пухлых, ровно поджаренных, пахнущих чесночком дирижаблей совершенно потрясла меня, как грубейшее посягательство на мой суверенитет, я реагировал неадекватно и неврастенически. Анна, прости меня. «Если можешь, прости, если можешь, забудь», — пел какой-то довоенный тенор. И Осип вслед за ним... .

Диван, на котором я лежал, стал в городе знаменит с тех пор, как им начал пользоваться Осип, мгновенно оценив выгоду моей соло-

менной ситуации. Часто после спектакля мы, бывало, ехали ко мне с какой-нибудь его взволнованной очередницей, и после изящных переговоров втроем за бутылкой портвейна с яичницей я уходил в «спальню», запасшись чтивом и куревом, а Осип принимал даму в «гостиной», не более чем через двадцать минут после моего ухода раздвигая чудо советской мебельной промышленности, издававшее при этом характерный сигнальный щелчок.

Здесь радовались и Леночка Глухова, и Любаша из реквизиторского, и Гюзель, и рыжая Минна, и звезды без имен, которых мы забывали, и Валькина Сонечка — Софи, Софья Степановна Кочар, интеллигентная примороженная красавица гордых кровей, с пепельными волосами, умница, замдиректора областной картинной галереи, решившая, наконец, отомстить своему наглому хорьку и надеявшаяся, что с помощью Узлова Бог пошлет ей долгожданную беременность.

20

В ту ночь я божьем маялся на парковой скамейке, создавая для С. С. Кочар видимость полной тайны.

Назавтра она разрешила Осипу вернуть меня в дом и замерла на диване, укрывшись с головой зеленым пледом, когда я среди ночи на цыпочках протыривался к себе. Где-то под утро меня разбудили изнурительные, обжигающие, горловые ее возгласы. В тридцать лет в оськиных точных руках впервые в жизни узнала бедная баба, во имя чего множатся во плоти неистовые роденовские тесные мизансцены. . .

Утром она собственноручно поджаривала нам докторскую колбасу и с обезоруживающей открытостью просила меня быть их конфиденнтом и телохранителем. Да, так и сказала: «Конфиденнтом и телохранителем». Спасение души ее не заботило. Супруг ее, «король исполкома» Валентин Саввич Кочар, находились в братской стране по обмену опытом (только чего: бесследной мокрухи или хищения в особых?), и, сняв дома телефонную трубку, — «занято», «занято», «фиг», «фиг», «фиг» — четверо суток провела она на моем беспримерном диване под благодатной опекой Осипа Узлова.

В срок она родила большеглазую девочку, защитила в Москве диссертацию и тихо развелась с Валентином Саввичем, что, однако, стоило ему годовой задержки в продвижении по службе прикрытия. . .

Замешан Кочар в том, что случилось в Москве? Замешан, замешан. Разве зря он появился у меня перед глазами в тот самый миг, когда я получил известие? Разве не Узлов учил меня больше всего доверять своему предчувствию? . . Замешан, но как? . .

А Гюзель? . . Нет, не замешана. В смерти — нет, в жизни — да.

Женщина, жизнь, женьшень. . .

Меня лихорадило, и я никак не мог успокоить дыхания, уйти в глубину, уловить точный сигнал. Все, что не задумываясь сделал до этого момента: принял удар, не отвел ни боли, ни ярости, забыл условие, позвонил по двум телефонам, снес два, нет, три разговора, вернулся домой, — еще куда ни шло, не в моей власти было избежать мелких ошибок. Теперь следовало привести себя в полное бездействие, чтобы найти след. . .

Но тут зазвонил телефон, и я кинулся к трубке. Сколько раз приказывал себе хоть на миг отрезвляться, считать, представлять великое течение — нет, не созрел. Мало я нарывался на дешевые проверочки, раскрываясь, как дурень, подставляя опытным фиксаторам безоружную открытость тона. И снова цапнул серую держалку не в форме, не вовремя, не по готовности! . .

— Да! . . Да!!! Алё?! Слушаю! . .

Молчание... Гул — как из провала... Беззвучный смех... И вот какая-то шуршащая зона... Шуршит выползень... Надо швырнуть на рычаг — поздно!.. Щелчок и гудочки: «занято», «занято», «фиг», «фиг», «фиг»...

Теперь я не успел. Что же это он, гад, отвечает мне, что ли? Возвращает симметрически мой первый удар?.. Какие страшные гулы за ним и за ними!..

Дело поставлено: по три зарплаты не наших шкал, холодное и огнестрельное, грузовики, фургоны, кормленые культуристы, спортивная база биатлона... Стоп. Не это страшит, другое, то, что клубится на других уровнях. Я еще не умел управлять сознанием и только просил его изо всех сил выйти на меня, помочь, подсказать.

— Что же мне делать, Осип, Осип, одному не справиться, ни с кем и ни с чем не справиться, Осип, Осип, Осип... .

Звенела тишина, и, стоя посреди комнаты, я все повторял мысленно его имя, все реже и безнадежнее, — «Осип, Осип, Осип!» — и погружался, наконец, в плывущий туман, оставляя почти отчужденное тело на призывол вечного потока.

— Будь ребенком, скользи, — узнал я его отдаленный голос.

Господи, только не вспугнуть, не разомкнуть связи!

— Осип!..

— Скользи... Скользи, не бойся...

— Хорошо, хорошо... Я не буду бояться, скажи...

— Ты не будешь бояться... Сержант...

— Не буду бояться...

Из такого далека тянулась легкая нить, что казалось: мы оба — мальчишки...

— Осип, Осип, ты жив?..

— Ай лив... Олл райт, Серджент...

— Что с тобой?.. Кто тебя... Он?..

— Ай эм элоон...

Однажды мы с ним брались заново учить английский и вспоминали школьные уроки...

— Сережа, Сережа, — раздавался во мне его красивый голос. — Никому... Ничего... Никому... Ничего... Сережа... Сережа...

Камень влетел в открытую балконную дверь и разбил застекленную картинку на стене, по телу розовой модильяниевской женщины, по левой груди пошли густые трещины. Я рванулся на балкон, но никого внизу уже не было; мой подъезд — первый с угла, и, пока сбежишь с пятого этажа, поймаешь один сквозняк между спальных коробочек...

Случайность?.. Предупреждение?.. В тени его смерти никто не заметит моей. Камень был с голубиное яйцо, серый, обкатанный галечник. Прервали!..

Да, я говорил с ним. Он отозвался из-за слепых стен. Что доказывать? Чем? Я делал лишь первые шаги в его нездешней науке. Но он отозвался, и я с ним говорил. А камень что, мелкая уголовщина, вот он, остался на память...

21

Его уже убивали однажды, убивали умело, всерьез; исполнителями были назначены железные урки на осенних работах в Пермском лагере; кололи заточками, сбивали с ног, топтали в четыре ноги, скачивали в ложбинку под листовницей, присыпали желто-бурым ворохом: «Лежи, артист, отдыхай до второго пришествия».

Ольга почуяла беду за четыреста верст, к тому же заглянул участковый с разведкой: «Давно ли писем нет, не навевывался ли сам»,

— и рванулась к лагерю, чтобы искать от печки. На девятый день после исчезновения или гибели, в тот самый час, как она появилась у жестоких ворот, выполз к ним по просеке живым мертвецом и был ею поднят с земли Узлов и доставлен в больничку с помощью нерадивого караула. Сам Осип об этом сказал как-то вскользь:

— Люди прикончат, дерево спасет. . .

Думаю, что об этом. Я тогда ясно увидел чужой лиственный лес, покореженный трейлерами, убитые кроны на земле и глухой нетронутый угол с ложбинкой, в гуще которого прижилась неродная той округе орешина из нашего парка, а под ворохом желто-бурых и ярко-желтых безо всякого крапа ласковых листьев оживает Осип. . .

Исполняли урки, а кто приговаривал?

Как они друг с другом повязаны — белые воротнички, плюс сынки и соратники первого пахана любимой области, плюс торгово-складская беспорочная братия, плюс непьющие творцы общепита и автосервиса, плюс рафинированное утильсырье, умножить на нежную теневую подельщину, поделить с Нашлагом, с большим обшачком, а еще — с семьёю зонами, псами и суками. Дьявол, дьявол у них общим вдохновителем! . .

Не забегаю ли я вперед? Ведь это только вслед за Осипом я стал под серым цветом замечать и черное. Ведь это он открыл мне глаза на многое, от чего прежде для спокойствия души я умело отворачивался.

А он открывал для себя схему типовых связей еще до нашего города, еще до лагеря. А в лагере, на нарах и на общих работах, сумел, видимо, дорисовать для себя и общую картину. Поэтому так небрежно и ловко набрасывал он у меня на кухне объясняющий чертеж. Он-то знал эту пьеску и за вора, и за сыщика. Потому так мощно и мог представить на сцене противоположные стороны.

Кто ходил в те времена в театр, — а тогда все ходили — тот видел, как феерически играл Узлов урку «Бахаря», а в следующий раз — следователя Шалимова. На двух детективах театр почти разбогател и стал бешено популярен как в тех, так и в других кругах. . .

— А первая пуля, а первая пуля, а первая пу-у-у-ля попала в коня, — пел Узлов-Бахарь, сбросив на лоб короткую русую челку, лаская и дергая струны, прикрывая блестящие воровские глаза. — А вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пу-у-у-ля ранила меня. — И вдруг, отбросив гитару шестерке, брал за грудь «Томочку» — Лену Глухову.

— Клубыничинка мая, сбацим? Сбацим? А? . . — и шел, сперва медленно, а потом убыстряя ее до головокружения, в многоколенную, образцовую, документально расписанную по семи фазам фольклорно-лагерную чечетку, словно хотел, чтобы таким и запомнили. . .

22

Левченко перезарядил опустевший ствол и, сделав перебежку, снова выстрелил в потемневшую зелень, где ему рисовался Узлов.

— Поплатишься, — повторил совсем с другой стороны Осип, и, резко обернувшись на голос, «Халдей» опять нажал спуск. Теперь оба его ствола были пусты, и он хотел было снова их зарядить запасными жаканами, но голос Узлова из-за плеча заставил Левченко замереть.

— Я здесь!

Получалось, что, заставив его повернуться вокруг себя, Узлов опять оказался у кедра и теперь выходил из-за дерева как ни в чем не бывало. Приблизившись вплотную, Осип приказал:

— Веди к полянке.

Снова двинулись рядом, и со стороны могло показаться, что «Халдей» утратил всякую волю к борьбе.

— Я понял, кто ты, — сказал Узлов, когда они вышли на открытое место, с редкими низкорослыми кустиками, — ты не дворянин, ты — дворник... Все вы — дворники... Ладно, заряжай.

Стоя друг к другу почти вплотную, они одновременно вкладывали патроны в переломленные стволы тулок. Узлов сказал:

— Спрячься — убью, будешь играть честно — раню. Пошел, дворник, считай. Громко считай.

Они повернулись друг к другу спинами и, не поднимая до щелчка стволы, сдвинулись с места. Левченко старался шагнуть шире и прерывающимся голосом считал:

— Раз... Два... Три-и...

Стрелять полагалось, приведя оружие к бою, на счет «восемь», но уже по шестому счету «Халдей» стал разворачиваться и, протянув «се-емь», защелкнул стволы и стал целить в Узлова.

Два выстрела шарахнули почти слитно.

... В дверях охотничьего домика, из которого ушли дуэлянты, показался егерь. Он курил, прислушиваясь к лесу...

Левченко, раненный в ляжку, бледный и потный, висел у Осипа на спине и сопровождал каждый его шаг стонущим междометием:

— Ы-и... Ы-и... Ы-и...

Осип волок и оба ружья.

Утро и лес входили в открытый сговор.

23

Вспомнить только этот рисунок на тетрадном листке, который он нарисовал и сжег у меня на кухне! Вспомнить во всех подробностях...

«Бур», «Пов», «Кор» было надписано наискось на трех квадратах. На четвертом и пятом не было ни имени, ни клички. Все они выходили синими гужами на два ромбика. В одном из них стояла буква «П», в другом — знак вопроса. Квадратики были зелеными (Осип пользовался старыми цветными карандашами моего сына), ромбики — фиолетовыми. От ромбиков вверх шли красные линии и утыкались в шпалу, в синюю шпалу; над ней красовалась буква «М», от которой расходились черные лучи, с булавочными круглыми точками... Да, так... А у каждой точки, как названия городов, были выведены подчеркнутые и закавыченные заголовочки... Теперь заголовочки... «Главбанка», «Утсыр», «Плодов», «Трест с. и р.». Еще что-то... И еще...

«Главбанка»... Узлов развеселился, объясняя мне механизм сбора, подсчета, оплаты, уничтожения и простого оформления несобранных, неперевазанных и неуничтоженных банок. Место в пунктах приема ценилось очень высоко.

— Две гадавые зарапалаты — и можим исделать.

— А меньше нельзя?

— Низя, дарагой... При всем уважении...

— А после... послезавтра можно?..

— До завтре ждем...

Узлов улыбался. Я был вынужден подхватывать его импровизации, наобум Лазаря, как Бог пошлет, а те, кого он изображал, были вполне конкретные ребята, которых он видел в деле. Если он «босс», берущий меня на работу, значит, я — «искатель» теплого места.

— Банычка, дарагой, ни глупея пивнова ларька!..

— Понимаю...

В качестве «взятки» я выставил на стол бутылку молдавского

«Хереса», и «деловик» Осип удовлетворенно и наставительно пропел: — Это — другая дела... У чем драгоценная свойства банки? Баночка имеет свойства разбица па дароги.

Я взял тетрадный лист и те же карандаши, вышел на кухню и стал чертить копию узловской схемы.

24

Премьеры у нас, как во всех театрах мира, принято отмечать с выпивкой, и всякий банкет частично перенимает характер и темперамент новорожденного спектакля. Если случился «кикс», то застолье идет застенчиво, тосты звучат осторожно, молодежь уходит поскорей и понезаметнее, чтобы где-нибудь в общаге отвести душу и рубануть правду-матку на тесной кухоньке в кругу доверенных лиц. Среднее поколение, костяк, высиживает в верхнем буфете чинно, дипломатически оценивая общую ситуацию в разных регионах неспокойного мира, вопросы нашей экономики и внутренней политики, новости московской и питерской сценической и закулисной жизни. Тут уместно бывает мастерам напроситься на роль в следующем спектакле или, наоборот, обеспечить необходимую паузу, прощупать вопросы возвышения зарплаты, распределения квартальной премии, поделиться опытом застройки садового участка и скромно разойтись по домам, философически довольствуясь судьбой и сохраняя надежды на лучшее будущее.

Если же премьера удалась и зал откликнулся душой, то и посиделки идут легко, импровизационно, а самое главное — искренно; артисты ставят словесный памятник мастеру, говорят о счастье, выпавшем на долю каждого, занятого в премьере, хвалят друг друга, как дети, в приступе взаимной любви, забывая на время о суровых законах борьбы, подначивают признанных юмористов на шутки и разные капустные номера. Тут удачно или неудачно — это все равно — вставляет слово кто-нибудь из наших «шефов», законный или незаконный — и это все равно — представитель рабочего класса, тут пожинают плоды своего напряженного труда по созданию премьеры руководители областной культуры из исполкома и комитета партии, а как же, от десяти до семидесяти пяти замечаний учтено художниками в пылу творчества. Наконец сам Турин скажет в благоговейной тишине славную речь, напомнив о традициях коллектива и отмечая степень участия в успехе особо выдающихся исполнителей: художника, заведующего постановочной частью и представителей цехов, из которых на банкете присутствуют не только заведующие, но (за отдельным столом) и рядовые — монтировщики, осветители, костюмеры — весь безмолвствующий театральный народ...

Затем чиновные и посторонние гости уйдут, щедрее прольется волшебная влага, возникнут какие-нибудь домашние неожиданности, совпадения, всплески, братания и отчуждения; теперь пойдут по одному к буфетчице Антонине, добавляя к общей складчине дополнительные бутылки, проявляя широту натур, предельную открытость, чувство горячего патриотизма, жажду нового праздника, новой свободы и новой любви. Здесь мужьям и женам надлежит быть начеку, но, в то же время, снисходительно разрешать своим половинкам тесные танцевальные па и поцелуйные поздравительные излишества их с молодыми артистами и артистками, которые на этот раз останутся в буфете позже всех; и какие у них выйдут случаи и эпизоды, мы узнаем уже на другой день, заглядывая к той же Антонине, чтобы поправить пошатнувшееся вчера здоровье.

После своего дебюта, то есть после историко-революционной льесы, где он беспримерно и страшно сыграл моряка-братишку, Узлов

ушел почти сразу, хотя от него и ждали какого-то слова по поводу вступления в славный коллектив. Спектакль, приуроченный к такому же историческому, не помню номера, съезду, собрал много важных гостей, и все его уход заметили, что же это, мол, такое? . .

Женщина, женщина его ждала! . .

Кроме остального, он покорила на сцене тем, что сам играл на гармонии, а не выделял лживые штучки головкой и пальцами под придушенный аккомпанемент спрятанного за кулисами соловья; надеялись, что Узлов сыграет и споет еще и на банкете. К тому же и Тур отметил его выдающийся дебют и необычно яркое дарование, ответный тост новичка, по нашим правилам, безусловно, должен был воследовать. Нет, ничего не сказал, не спел, пренебрег театральными приличиями, укатил к какой-то одной . . .

25

И снова ударил телефон! Нужен кому-то, нужен! . . Я посчитал до пяти сигналов и снял трубку.

— Сиреш, дружочк, ты меня помнишь, Павил Николаич гврит, Алейникав! . .

— Помню, конечно, — ответил я.

— Ну, молодец, ну отлична . . . Да, Сиреш, да, задал нам урок Иосиф Прекрасный. — «Иосиф» он произнес четко и медленно. Я молчал. — Слуш, дружочк, тут сичас к тебе подскочт адин чилавечк ат миня, ты уж ево прими, поговори с ним, ладна? . . Если што найдешь — атдай! . .

— Не понял . . . Что отдать, кто подскочит? . .

— Самому бы надо, да вот зарес, обстановк ни пазваляит . . . Ну, свой, свой человек, наш, провериный . . .

— В чем дело-то, зачем? . .

— Он тебе доложит. Зовут Василь Василич, фамилие — тоже Василив, кругом адни васильки, такой букет, Сиреш, с доставкой на дом. — Чувствовалось, что он не один в кабинете.

Алейников — это милиция, о нем позже; но тут я сообразил, что домой его протеже пускать не следует, и спросил:

— А завтра нельзя? . .

— Нильзя, нильзя, драгой, тут дела оперативная . . .

Я секунду помедлил:

— Ладно, встречаю у магазина, — и положил трубку, чтобы не дать ему возразить.

Я мгновенно накинул пиджак, выскочил на площадку и, запирая за собой дверь, услышал повторные звонки телефона; очевидно, такая встреча не вполне вписывалась в их план.

Если свернуть за угол дома и пройти наискосок сквозь наш безалаберный квартал, со скачущими номерами, через пять минут окажешься у магазина, не рискуя нарваться ни на какую встречную машину, подъездная дорога идет по дуге. Здесь, под стриженными липками, всегда ошиваются искатели портвешка, пересчитывают мелочь, секретничают друг с другом в постоянной заботе о том, как поддерживать высоту духа. Здание типовое: по центру — «колбаска, сырок, все наискосок», т. е. «Гастроном», справа — предусмотрительно обособленный винный отдел, а слева — «Кулинария». Во втором этаже строения — «кафешка», а точнее — обычная столовка, которую вечерами сдают под свадьбы и товарищеские ужины. И здесь держат вино, и там разливают . . .

Я ходил по краю тротуара, чтобы загодя заметить серую «Волгу» Алейникова или милицейский драндулет, на котором должен

подскочить неизвестный мне Василь Василич, и не обратил внимания на бежевый «Жигуль», но именно из него вышагнул невысокий лысоватый человечек в бежевом, прямо под цвет машины, костюмчике. Он пошел прямо ко мне.

— Здравствуйте, Сергей Алексеевич, — доброжелательно сказал он и подал пухлую, но крепкую ладонь.

— Здравствуйте.

— Василий Васильевич — это я.

— Я понял. — Этого человека я никогда прежде в нашем городе не встречал.

26

— Садитесь в машину, покажете, как проскочить, — в «Жигулях», не глядя на нас, закуривал молодой водитель.

— Куда? — спросил я.

— К вашему дому.

— У меня, знаете ли, не убрано...

— Ну, чепуха, — прощающе усмехнулся он.

— Да нет, не чепуха, — сказал я потверже. — У меня свои правила.

Он взглянул на меня бесцветными глазами.

— Иосиф Святославович Узлов у вас ведь тоже живывал? — ненавязчиво уточнил он. «Странно, что он говорит вместо «Осип» — «Иосиф», — подумал я, но ответил без комментария:

— Да, ночевал иногда.

Он оглянулся. Завсегдатаи нашего магазина осторожно подтягивались к нам и, встретившись со мной взглядом, вежливо здоровались; иногда я выручал их и, как единственный артист, прописанный в округе, пользовался известным уважением.

— Сергей Алексеевич, я, конечно, не имею права навязываться, но очень хотелось бы вас навестить...

Чувствовалось, что к отказам он не привык.

— Вы ставите меня в неловкое положение, — сказал я.

Он еще подождал и, еле заметно кивнув головой, предложил:

— Ну что ж, тогда сперва погуляем?

— Мы уже гуляем, — ответил я и показал ему в сторону Волгоградской. По Волгоградской шла двухполосная трасса к центру, а между полосами была заложена аллея, с совсем молодыми липками, скамейками и засеянным газоном.

Мы перешли дорогу. Водитель «Жигулей» не повернул головы в нашу сторону.

— Сергей Алексеевич, день нелегкий, я постараюсь не отнимать у вас много времени. Расскажите немного об Узлове...

— Задача, — сказал я.

— Неожиданный человек, да?

— Неожиданный?.. Может быть... А может быть, ожидаемый...

— А вам не показалось, что он на что-то сильно обижен, ожесточен?.. Извините, что я так прямо...

— Нет, — сказал я.

— Хочет отомстить?.. Ведь у него биография боевая...

— Нет, совсем нет!..

— С вами каши не сварить...

— Да уж, я не кашевар...

— Ну, расскажите хотя бы вкратце о ваших последних встречах... Пожалуйста!..

— Не понимаю, что вас интересует?

— Ну, о чем говорили, как он себя чувствовал, как выглядел... Он ведь от вас уезжал?

— Меня еще никогда не допрашивали, но это был допрос, я чувствовал.

— Нет, не от меня.

— Не от вас. Откуда же?

Ольга сказала, что он уезжал от себя; что, они не заезжали к Ольге?.. Да и кто они сами-то, интересующиеся?..

— А вы у жены не спрашивали? — задал я ему вопрос.

— У жены спрашивали вы, — твердо ответил он.

Я всегда догадывался, что Дулегов не на одной работе. Есть у него такая манера: подходит к беседующим, становится к ним спиной и что-то озабоченно высматривает в отдалении, поводя ушами. Вообще-то говоря, надо было бы спросить у этого «Васваса» удостоверенные личности, не постесняться, но слишком большая моя настроенность не пойдет на пользу. Ни Осипу, ни мне. В конце концов, звонил-то Алейников, человек более чем известный, из милицейской верхушки, что же я буду лезть в бутылку. И Дулегов, может быть, ни при чем, а все это — мои собственные страхи и актерская мнительность...

— Узлов уезжал от себя, — сказал я.

— Так... От себя... Значит, из «комнатухи»... Ну и...

— Что?..

— Когда вы в последний раз виделись... Когда, кстати?

— Ну, может быть, две недели назад... Или чуть меньше... Он ведь на съемки ездил...

— Да, да, на съемки... Так вот, в последний раз он не показался вам... не таким, как всегда... напряженным, озабоченным?..

Мне показалось, что он заходит на второй круг, и я сказал довольно резко:

— Нет.

— А, наоборот, печальным, расслабленным? — он будто не заметил моей резкости.

— Вы его знали? — спросил я.

— Как зритель, только как зритель...

Я не поверил ему.

27

Среди театров российской провинции считаемся мы одним из лучших, а сами себя полагаем лучшим. Здание наше — белоколонное, голубое — одно из самых старинных в городе, со своим несколько старомодным уютом и верным домовым, прекрасной акустикой и дооборудованной по-современному сценой; есть даже гэдээровские «бабки» для контражурного света. Но главное то, что, выйдя на поворотный круг, перед краснобархатным, любезным тонкому купеческому вкусу залом, всякий раз чувствуешь себя включенным в непрерывную цепь актерских поколений, а те, кто служил здесь задолго до нас, глядят с колосников и прислушиваются к нашим голосам.

Старики наши твердо помнят уроки своих доморощенных мастеров и спектакли заброшенных к нам войной московских знаменитостей; они охотно и не жалея времени делятся с молодыми добротной традицией несуетливой правды и внятной русской речи. Разумеется, надо бы сделать скидку и простить нам большое количество дряни, которое пришлось переиграть в соответствии с подсказками подлых времен.

Главный режиссер — Виталий Турин, по прозвищу «Тур» или

«Яр-Тур», учился в Москве, в школе-студии МХАТ и, уехав работать в провинцию, успевал время от времени возвращаться в центр, чтобы поучаствовать в творческих лабораториях самых «больших» — Равенских, Товстоногова, Любимова, Эфроса. У нас он работал тринадцатый сезон и, с нашей и Божьей помощью, научился не только ставить по меньшей мере крепкие спектакли, но и держать труппу в руках и собирать ее по крупицам, прельщая иногородних зарплатами, квартирами и творческой стороной надежного дела.

Пил он умело и скрытно, так что за ним всегда оставалось право изгонять нарушителей закона «На спектакле — ни-ни», но, разумеется, только таких, кого несложно тут же заменить.

Стажируясь у мастеров режиссуры, успевал Виталий Авдеевич Турин удачно сфотографироваться почти с каждым из них, и в его кабинете встречал посетителя иконостас двойных портретов: наш и Гончаров, наш и Ефремов, а в центре, конечно же, большой портрет К. С. Станиславского вместе с В. И. Немировичем-Данченко. Были тут и снимки со знаменитыми артистами, и на репетициях Тур любил приводить примеры своих творческих взаимоотношений с Дорониной или Смоктуновским, называя их по именам — «Татьяна», «Иннокентий», а в запале — «Танька» и «Кеша»; то же самое и с мастерами режиссуры, которые снисходительно и по-свойски упоминались как «Гога Товстоногов» или там «Жека Симонов». Но эту слабость мы ему прощали, потому что дело, повторяю, было поставлено хорошо.

Бывали, разумеется, и провалы, бывали прогары, с задержками всех выплат, но случались и настоящие успехи, с приличными премиями, и выдающиеся спектакли, на которые съезжалась серьезная критика.

Особенно внимание уделял Тур поискам героя и героини, и раз в четыре-пять лет появлялись на нашей сцене новая красавица, или красавец, или на редкость удачная супружеская пара, или выдающийся комик, вроде Кошукова. Он справедливо считал, что в центре композиции на сцене должны утверждаться такие человеческие экземпляры, которые уже от природы заслуживают общего внимания, и цитировал Чехова и Достоевского — о красоте.

28

Узлова в первые сезоны Турин выжимал как губку. Мы ведь, в отличие от столичных, должны играть восемь-девять премьер в сезон, иначе нам не выжить. И, не успев приехать, Осип оказался заряжен на пять премьер подряд.

Все наши правозверные представления об актерском ремесле поначалу вполне совпадали с тем, что он делал: органика, действие, речь и так далее. Впрочем, на первых репетициях Осип больше прислушивался к нам, звучал под сурдинку, еле заметно «темнил»: да, видать, «игрок», да, пожалуй, потянет, хотя и ничего сверхъестественного. Но как только вышли из-за стола, — а Тур держал за столом не больше недели, пока сам на читках не сообразит, что к чему, — как только вошли в выгородку, тут мы, прошу прощения за вульгаризм, «отпали»...

Театр наш всегда гордился высоким уровнем профессии и тем, что знал своего зрителя, мог его привлечь и объединить. В одном спектакле находили кое-что для себя и интеллектуалы из педагогического института, и люди неискушенные, как их называл Тур, «тети Мани, дяди Вани», и военнослужащие гарнизона, и белые воротнички из Большого дома, где одной семьей уживались обком и облизполком. Но актерское дело, повторяю, город чувствовал, с театром считался.

И вот мы, можно сказать, мастера, сами, представьте себе, ничего понять не можем: все кончилось, все отменено, никого рядом не видно — на сцене один Узлов. То есть не Узлов, а тот, кого он играет. Вот даже так: он еще за кулисами, а те, кто на сцене, уже как-то теряются из виду от одного его голоса, а когда обнаруживается его рука, нога, — мы, остальные, превращаемся в говорящую мебель, со всем своим опытом, мастерством и обаянием. Описывать или пытаться передать это впечатление бесполезно. Я не верю, что задачка по плечу и профессиональному умельцу, потому что театр описать нельзя, он и без Осипа Узлова — мираж и мистика, а с таким актером, как он, вообще Бог знает что такое. Или, прости меня Господь, черт знает что. Я перечитал все, что о нем писали в местных газетах и в московских журналах, — чепуха, беспомощность, верхоглядство.

Поверьте мне, если бы я не встретил Узлова, я бы весь свой век пребывал в заблуждении в том, что занимаюсь все-таки достойным делом, учу зрителей добру, борюсь со злом в окружающей меня современной действительности, ну и тому подобная горделивая банальщина.

Нет, конечно, грех лицедейства, уловления нестойких душ в сети грубой пропаганды я всегда за собой и театром знал, чувствовал, а потому и каялся, и просил об отпущении, и постился, и причащался, и снова впадал в соблазн; но ведь были и есть среди нас те, кто, оставаясь христианином, умел трудиться по совести...

Ах, и тут противоречие! Но я к нему привык и приудобился... Согреших, Господи, согреших...

Но Осип Узлов безо всякого шаманства, или, как у нас говорят, «без понтов», совершенно выбил меня, да и не только меня, из колен.

Представьте себе, что костюм, грим, красивые декорации и прочие атрибуты серьезного театра были ему абсолютно безразличны, а может быть, даже и мешали. Вот он, например, выходил каким-нибудь революционным матросом еще задолго до премьеры на пустую сцену безо всяких причиндалов и бутафории, и мы мертвели от страха — ничего похожего ни на Осипа, ни на наши героические образцы и представления о революции. Как писал Сергей Александрович Есенин, «сумасшедшая, бешеная, кровавая муть». А он только и сделал, что порог переступил, включив за два метра от выхода свои тайные кнопки.

Мы, при всей своей кажущейся правдивости, исходили все-таки из штампов сознания, обворованных энциклопедией, сиюминутных выгод, причем вовсе и не наших, а черт знает чьих, мы как бы рисовали посильные иллюстрации на разные исторические и современные темы, а он вдруг упирался ладонями в стол, приподнимался с места и, двинувшись на площадку, самым этим простейшим движением тела выворачивал время, открывая сквозной зияющий канал в другую, неизвестную нам, опасную жизнь. Он был живой машиной времени. Он знал какую-то главную тайну.

Когда же на него напяливали бушлат, бескозырку, пулеметные ленты, когда на сцену навьючивали фанерные пушки, красные сатиновые стяги и прочую дребедень, острота первого впечатления несколько терялась, но без этой привычной сценической маскировки важные партийные господа, принимающие наши спектакли, несмотря на местное скудоумие и государственную малограмотность, дотумкали бы, что к чему, докумекались бы до художественной опасности и стали бы запрещать. Они и так, глядя на Узлова, впадали в напряженную задумчивость...

Как-то после спектакля мы засиделись в театре с девочками из режиссуры, и Осип показал нам эскиз своего Отелло — Тур включил постановку в план и сообщил об этом труппе; пять минут продолжался этот спектакль в тесной камерке, с недопитым «коленвалом», но

никогда никому из нас не увидеть больше такого Шекспира, такого театра, такого Отелло. Мы утонули все вчетвером, нас затянуло в вихрящую воронку и выбросило в черное небо с последней звездой.

— Душит он ее поцелуем, вот так, — сказал он, используя классический бытовой апарт* и не разрушая, а подчеркивая репликой в сторону цельное впечатление. И он бережно взял ладонями лицо Любаши, плавной блондинки с высокой грудью. Она затрепетала, приподнялась и, приоткрыв губы, подчинилась Узлову, готовая на любую жертву во имя искусства... Бог ты мой!..

А через месяц Турин вывесил распределение ролей, по которому Узлов в спектакль вовсе не попал.

29

— Вы его знали? — спросил я.

— Как зритель, только как зритель, — не тотчас ответил мне коверкотовый Василий, идущий в ногу со мной по молодой аллейке. Я ему не поверил и сказал сухим тоном, стараясь не оставлять без ответа любой его вопрос:

— Он никогда не бывал в одном настроении...

— Вот так, значит... Ну хорошо. А скажите, Узлов ни о чем не просил вас перед расставанием? Ничего не поручал?... Это — серьезная тема, Сергей Алексеевич.

— Нет.

— Может быть, что-нибудь передавал? Просил сохранить?..

— Да нет, ничего.

— Ничего... А вы у него такой зеленой тетрадки не видели?

— Зеленой? — купился я. — Нет, не видел...

— Значит, видели красную? — быстро поправился он.

— Да нет, и красной не видел. В тетрадях он не рисовал.

— А папочек, чертежиков каких-нибудь, эскизов, наконец, у вас не осталось?... Книжек записных, блокнотиков?..

— По-моему, ничего. Я бы хотел иметь его эскизы. Книги, может быть, какие-нибудь и остались... Я посмотрю.

— Посмотрите, Сергей Алексеевич, посмотрите, пожалуйста. В книгах бываю рисунки на полях, пометки, закладочки... Маргиналии, как их называют люди ученые... Может быть, все-таки заглянем к вам?.. Ну, нет так нет... Он ведь у нас был еще и художник.

Он сказал «был», и мне стало совсем тошно. Я шел справа от него, так, что, отвечая на вопросы, поглядывал в левую сторону, а «Жигуль», если не остался на месте, должен был двигаться по правой колее. Я не могу этого объяснить, но то, что называется тревожным «фоном», враждебным «полем» и еще как-то по-научному, катилось на меня с двух сторон; а теперь стало еще сохнуть во рту. Так я устроен, что, кроме пяти известных чувств, есть у меня в зачатке и то, что было мощно и уникально развито у Осипа, на что он учил меня ориентироваться прежде всего.

Однажды он посмотрел на меня во время репетиции и в перерыве сказал:

— Сержант, почему ты так себе не доверяешь? Плюнь ты на свои заботы, будешь играть как бог!..

— Хороший художник Узлов? — настойчиво спросил Василий Васильевич — и на этот раз не вставил слова «был»: тоже, видимо, умел почувствовать...

— Настоящий художник, — подтвердил я и приоглянулся невзначай: «Жигуль» катился следом.

* Апарт (фр. *aparté*) — сценические монологи или реплики, произносимые «в сторону», для публики... (сов. энц. словарь)

Хуже всего было то, что этот «Васвас» мог быть кем угодно и откуда угодно, а я ему почему-то заведомо подчинялся, отбирал слова для ответов, принимал его штампованную игру. Узлов с ходу послал бы его подальше или вообще не стал бы встречаться. Если бы не захотел сам. А я не хотел и все-таки встретился. И все же я оправдывал себя тем, что от этой встречи что-то зависит, а моя роль в неизвестных обстоятельствах кем-то явно повышена. Этот шанс нельзя было упустить.

— Может быть, все же вернемся и вы глянете, что там у вас есть? — в третий раз попросил он. — Машина — вот она...

Он заметил, что я заметил...

— Вы ко мне с разговором или с обыском? — расхрабрился я.

— Помилуйте, Сергей Алексеевич, за кого вы меня принимаете?

— Вы не представились, не знаю, за кого вас принимать...

— Я старший научный сотрудник Института теории запаса, имя мое вы знаете...

Спросить его о «теории запаса»? Но, судя по его интонации, интеллигентный человек не может не знать, что это такое, и неожиданно для самого себя я задал еще более глупый вопрос:

— А в каком звании?

Он усмехнулся и покачал головой:

— Я вижу, вы чем-то крепко напуганы.

— Напуган, сознаюсь, — сказал я. — Я генетически напуган.

— Вы-то чем? — наивничал он.

— Камнем в окно... Историей государства российского...

— Ну-у-у, — протянул он, — так далеко мы не поедem. А камень в окно — это символически? — Теперь усмехнулся я. — Когда?

— Сегодня... Вот только что.

Он вздохнул и остановился у скамейки:

— Что, если нам покурить?

Я, не прячась, взглянул на часы, и мы остались стоять.

— Сергей Алексеевич, что вы думаете о любвеобилии Узлова, что за легенды? Или правда, может быть?

— Что правда?

— Ну, что он был такой сверхъестественный мужик, такой вечный двигатель, грубо говоря.

Он вынул «Голуаз». Почему-то в наших магазинах появился тогда «Голуаз». Я достал «Беломор». Мы встретились глазами, и он щелкнул дорогой зажигалкой.

— Об этом надо спрашивать у женщин, по-моему, — сказал я, чувствуя, что сильно устаю от разговора.

— А вы не спрашивали?

— Я — нет.

— А сам Узлов ничего не говорил вам на этот счет?.. О своих, так сказать, запасах?

Я молчал.

— Хорошо, — сухо сказал он. — А где собака, тоже не знаете?.. Надо же кормить, выводить.

— Собака?

— Ну да, его собака.

Действительно, где Тоша? Взял с собой? У кого-нибудь оставил? Тогда у кого? Собака, собака...

— И где собака, тоже не знаю, — растерянно сказал я.

Он заметил мою растерянность.

— Так, последний вопрос. О съемках последнего фильма он что-нибудь рассказывал?

— В общих чертах...

— Где побывал?..

— В Норильске... В Таллинне... В ГДР...

— Рассказывал о Германии?

— Немного.

— Что именно?

— Так, смешные случаи...

— Очень смешные? О женщинах? Имен не называл?

Мне это надоело.

— Василий Васильевич, что происходит? Человек умер... Ведь он умер?

— Есть такие сведения, к сожалению, есть...

— К чему же эти вопросы?.. Не ко времени... Какое имеет значение?.. Вы бы лучше сказали, в каких обстоятельствах он умер... Что я могу...

И тут он достал из внутреннего кармана пиджака маленький — я такого не видел прежде — магнитофон в черном кожаном футляре, выключил его у меня на глазах и спрятал обратно.

— Сергей Алексеевич, когда вы будете откровенны, тогда и я с вами разговорюсь. Может быть.

Он резко свистнул, я вздрогнул. Господи! Кто еще так свистел? Свист был хулиганский, двойной, страшно знакомый, режущий воздух через нижнюю губу, разнесшийся на всю покорную округу.

Я замер на месте, а он, обогнув меня и не прощаясь, быстро вышел к проезжей части. Бежевый «Жигуль», оказавшийся впереди, броском сдал назад, остановился, как пес, у ноги, хлопнула дверца, шумнул газ — и след его простыл в воскресном прогулочном воздухе.

Господи! На всякий оставшийся час этого дня во всем наставь и поддержи меня...

Я стоял столбом посреди липовой аллейки и старался учуять, что за туча движется на меня. И вдруг подумал, что если бы я умел ответить себе самому и этому типу на все вопросы об Осипе Узлове, то у меня вышла бы целая повесть или даже небольшой роман о человеке, в потерю которого все еще не мог и не хотел поверить.

Господи! Открой мне волю Твою для меня и окружающих...

30

Клавушка Белова, та, за которую Осип заступился, из-за которой вышла дуэль, узнав, что дело кончилось нешуточно и с Узлова взята подписка о невыезде (старик Забродов сам ходил в тот обком, поручался лично и просил не сажать Осипа до суда), стала смотреть на него виновато, встревоженно и всякий раз старалась застегнуть свое пальтишко к тому моменту, когда и Узлову пора выходить на улицу.

История получилась громче обычного, начальство ярилось, но на все спектакли с участием Осипа билеты стали рвать по второму кругу, хотя и был пущен слух, что цветов ему подносить категорически не рекомендуется. Что же это, мол, он стреляет в члена обкома, а ему — цветы! В другие времена сочли бы терактом, мигом поставили к стенке. А тут грозило лет семь или пять, сам все-таки вынес раненого...

Так или иначе, героиней или предметом сплетни, не имеющей реального основания, стала и Клавушка, но здесь, в областном обществе, в отличие от облсуда, приговор был окончательный и обжалованию не подлежал, слишком одиозной фигурой выглядел в этом плане Узлов. И она, наконец, решилась, подошла и стала просить у него прощения в том, что невольно оказалась причиной его беды:

— У вас жена, ребенок, — повторяла она.

— Не бери в голову, — отвечал Осип.

— Ну как же, как же! . .

— А вот так же! — почти весело сказал Узлов.

Тогда она заплакала.

— Привет, — удивился он и стал прямо на улице гладить ее по голове и успокаивать. И получилось так, что он заметил, наконец, как она хороша собой и плавной статью похожа на русскую княгиню, и они двинулись рядом, а она неожиданно стала ему рассказывать свою нехитрую историю. Хотя между ними еще ничего такого не было, но Клавушка, сама не понимая почему, не побоялась в рассказе резких подробностей, включая и то, как отец разбился на машине, а мать стала пить водку и приводить пьяных мужчин, и как ее саму обманул молодой доктор, позвав праздновать Новый год и насильно сорвав трусики, и как руководитель курса в училище заставил задержаться с ним на дополнительные занятия, и к ним стала стучаться уборщица, и он струсил, а она сбежала без диплома, но все-таки закончила училище. Она говорила, что виновата, виновата перед ним и перед бабушкой, которая собралась умирать и звала ее к себе, а она не приехала, что никому не верит, что мужчины ей отвратительны, а она сама себе ненавистна, потому что ни с чем не справляется, особенно теперь . . .

— Зайдем к тебе, — сказал Узлов, и они среди бела дня поднялись в ее комнату на пятом этаже . . .

— Мало мужиков, — объяснял мне Осип, — ну просто в обрез! Сколько женщин испорчено! . . Не в переносном — в прямом смысле! . . Лезут без чувства, без знания, без радости . . Оглянись, вот они идут, приятные, хорошенькие, красивые, и все безрадостные, злые, почему, за что?! А вот навстречу и мужики . . Видишь? . . На лбах написано: «Не умею обращаться с оружием» . . В армии, как в зоне, пошла мода, зашивают себе шарики куда не надо, чего-то впрыскивают, гонятся за размером! . . Мужики нулевые, и девахам деться некуда! . .

— И тебе работы невпроворот, — посочувствовал я.

— А что делать, — по-блатному развел он руками, это снова был «Бахарь»: — Это ш — мое призвание! . . Это ш — мой долг перед обществом! . . А кто им откроет многоцветный мир? . . Кто введет в науку страсти нежной и одухотворенной плотской радости? Они ш могут одичать в ожидании, они ш могут зарости бурьяном и лебедой. Разве затем их в муках рождали мамочки? Разве затем они пели звонкими голосами в детских хоровых коллективах? И разве затем они вступали в коммунистический союз молодежи, чтоб их лучшие места оставались неухоженными и неполитыми, как дикое поле? . .

— Ладно, — сказал я, — уймись, что ж теперь будет с Клавушкой?

Она уже не раз приезжала из соседней области на свидания к Узлову, и я был с ней знаком.

— Клавушку я выдаю замуж, — перестав играть, сказал Осип.

Видели бы вы ее портрет работы Узлова! . . Красавица . . Красавица . . Княгиня и — в то же время — Русалка . . Редкая модель. И редкий художник . . .

От Осипа Святославовича Узлова должны были сохраниться, по моим подсчетам, в разных руках двадцать семь живописных работ (тринадцать на холсте и четырнадцать на фанерованных фрагментах разборной кухонной мебели), не говоря уже о нескольких десятках раздаренных эскизов, выполненных по импортному картону, в основ-

ном на ящиках-коробках из-под немецкого и чешского пива. Были времена, когда нищета подступала к нему особенно плотно, и тогда он писал свои письма в будущее чем попало и на чем угодно — карандашом, шариковой ручкой, 86-м перышком на тетрадных листках, оберточной бумаге, обложках брошенных скоросшивателей; часто он зашивал их в сложенные газеты, как в большие конверты, косой стежкой разноцветными нитками и складывал в угол жилия. Не подумайте дурного: газет Узлов никогда не выписывал, но любил их как бытовое условие современного существования, помогающее рождению огня или созданию сносной постели. Никто, как он, не мог обустроить свою временную берлогу так притягательно из ничего, из фу-фу, и каждая гостья в те поры получала особый заряд свободы и наслаждения от того, что обряд любви свершался на плотных пружинах вчерашних газет, под расписным потолком, среди старых географических карт и летучих эскизов по легким стенам экстатического жилища. (Из 3-ская получил любительские фотографии холостяцкой берлоги; снятые с разных точек, они дают полное представление об оригинальном характере тамошнего узловского угла.)

Надо иметь в виду, что время от времени Узлов выпадал из театра, испытывая другой вариант судьбы, судьбы художника, но никогда, кажется, он не пытался в одно и то же время совмещать несовместимое.

Мир, созданный его рукой, так необычен и сложен, что жалкое мое описание только повредит труду читательского воображения, но свидетельствую, как на последнем суде, что если бы нашелся настоящий «маршан», который собрал бы его наследие и решился устроить вернисаж в капризной Европе, скажем, в Лондоне или Париже, то успех его превзошел бы самые смелые надежды и отечество, не имеющее своих пророков, открыло бы сперва уши, а там и глаза. Я позволю себе только намек, только слабую попытку дилетантского комментария.

Дело в том, что всякий уголок местности, всякое событие, угнездившееся в неповторимом пространстве, волнуемое узнаваемой одежкой, родимой крепостной, меченной данной областью пропиской, в изображении Узлова оказывалось совмещенным с галактической картой и атласом неизвестных нам измерений, с книгой пророков и путями пришельцев; голова кружилась от счастья, если хватало мужества погрузить свое ограниченное сознание в этот запредельный поток. Да, именно поток, потому что обнявшиеся с пространством герои вовсе не были неподвижны; и стоило отвести глаза хоть на мгновение, как, вернувшись к картине, ты вместе с нею оказывался перемещенным, и опять, и снова, и так всякий раз при взгляде на полотно или коробку. Понимаешь ли, мой дорогой, это всегда было зрелище, спектакль, перспектива событий в Божественной режиссуре Создателя, и главную роль непременно играла Женщина, а ее партнером, если ему находилось место, был заgrimированный под какую-нибудь историческую знаменитость Узлов. Он ненавязчиво гостил либо в ее воображении, либо в ее постели. Ах, Боже мой, что, что я могу привести в подтверждение, если у меня не осталось ничего, если я сам терпеть не могу, когда словами описывают живопись или игру артиста, но в этих картинах, рисунках, набросках — ключ ко всей его и моей жизни. И к твоей. Я знаю, что тем же ключом открывается замурованная дверца к общей тайне творения, но боюсь на этом настаивать, чтобы не потерять легко исчезающего доверия, и ограничиваюсь только сдвоенным секретом, ибо на сей момент успел догадаться, что жизнь, труд, любовь и смерть Осипа Узлова приковали меня недаром, не просто так, не по капризу случайности...

В другой раз я, может быть, попытаюсь еще раз передать содер-

жание и смысл несбывшегося разворованного вернисажа и упомяну всех освещенных его гением красавиц, оставивших свои одежды за рамой, оставшихся лежать вдоль и поперек крылатых коек и межзвездных диванов, на клетчатых, полосатых, цветочных и гладких подстилках, в ожиданье золотого дождя, в ненасытном азарте игорной тревоги, всех до одной балерин и актеров, вагоновожатых и аспиранток, крестьянок и домработниц, интеллигенток, училок, партийных тихушниц и ушлых комсомолок, всех дорогих его огромным глазам русалок, которые резко теряли при нем свои дневные свойства и всю боль и тягу существования перемещали в еще раздвоенный, еще бесчешуйный, но уже горячечный хвост.

32

Тот будет прав, кто осудит меня за скачки в одышливость речи, за мое неумение выстроить четкий сюжет, за вставанье от белой бумаги к живому окну и предвзятость последнего года. Но из всех, кто собрался судить, дорог мне лишь вон тот, благородный и чуткий тростник, терпеливый молчалник, протак. Я и сам из таких и такому хочу передать, как умею, содержанье утраченной жизни...

Что предтеча рожденья и условие существования? Ну конечно, конечно, любовь...

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что даст мне сей день!

Тех граждан, которым достались случайно картины Узлова, рисунки Узлова; тех, кто имеет от него письма или открытки; у кого в руках документы — справки, квитанции, лицевые счета на его имя, — убедительно прошу сделать слайды, снять копии, разглядеть почтовые штампы; для меня драгоценны все штрихи и все даты...

Тех, кто видел его на сценах провинциальной России, обременяю долгом записать посылно свои впечатленья; кто же виновен в том, что слепая слава метит одних столичных, не мы ли сами, провинциалы?..

Я-то попытаюсь, я-то сделаю свое дело. Но здесь нужны коллективные усилия. Зрители семи городов провинциальной России, спешите к своему робкому перу!..

Женщин, которые живут в теплых семьях и чьи мужья благополучно не ведают о подлинном отцовстве вскормленных ими детей, я заклинаю прислать мне тайные вести. Клятвенно присягаю сохранить их письма в секрете. Дело жизни Узлова слишком серьезно, чтобы не проследить за потомством...

33

— Зайдем к тебе, — сказал Узлов, и они среди бела дня поднялись в ее комнату на пятом этаже. Дом был послевоенный, добротный, строенный с участием пленных немцев, потолки высокие, коридор просторный, а внутренние двери — балконного типа, с четырьмя прямоугольниками толстого рифленого стекла в верхних половинах.

С Клавушкой соседствовала только одна неизвестно на что существующая семья — постоянно нетрезвый муж с беременной женой и пятилетний пацан, привыкшие бесцеремонно толкаться к ней в любое время, и по этим свободным входам и бесконечным заглядываньям становилось ясно, что гости у нее, а тем более мужчины, не бывают.

По правую руку чистой и просторной комнаты стояла высокая, с кружевной накидкой кровать, по левую — книжная этажерка, в про-

стенке между окнами — телевизор, тоже завешенный белым и кружевным, а у двери — бабушкин шкаф, а в красном углу — бабушкины иконы.

Клавушка предложила чаю и вышла на кухню, а Осип встал у окна. Перед его глазами еле текла главная улица, с чудом сохранившимися старыми дубами и разбитым сто лет назад на другой стороне сквером. Люди шли мимо чиненой беседки и приспособленной под контору церковки Пантелеймона-целителя. Если не смотреть вниз, крона ближнего дуба исправляла картинку, благородно отбирая нужное, отрезая ошметки наглядной агитации, и часть города, которую он с этой точки прежде не видел, с дальними крышами и ленивыми голубями в верхних просветах, казалась выпавшей из времени.

Дубовая листва, как всегда, притянула его к себе, рисунок ветвей снова раскрылся, как линии на ладонях, солнце вышло из-за облака и серого купола, плотным лучом толкнуло в лоб и волну за волной погнало по знакомой дороге энергию полной свободы, которую должны были у него отнять непреодолимые на ближайшее время глухие стены. «Не отвертись, не отвертись ни от лагеря, ни от воли, не отвертись, не отвертись, не отвертись ни от почестей, ни от боли...» То ли это дубовая крона давала о себе знать, то ли просилась на выход будущая песня. «Дали бы гитару с собой взять», — подумал он и тотчас получил ответ от дерева: «Дали, дали... Гитару дали...»

Клавушка вошла, несколько минут простояла у двери, не мешая ему смотреть в окно, потом опять вышла, вернулась с чайником и подставкой, собрала на столик лучшие чашки с блюдцами, хрустальную сахарницу, белый нарезной батон в плетеной хлебнице, но Узлов спиной к ней протянул правую руку в сторону и показал кистью, чтобы она приблизилась, и она приблизилась к его правой руке. Осип раскрыл правую ладонь и провел ею по воздуху возле ее шеи и плеч, и еще от затылка вдоль спины вниз и вверх, вникая во что-то, развернул ее к себе, и сам повернулся, и еще раз провел теперь уже двумя ладонями перед ее лбом, глазами, грудью и животом. Клавушка во всем подчинялась и хорошо помнила, что еще там, на улице, оттого, что Узлов погладил ее по волосам, в ней возник слабый незнакомый гул, ощущение домашнего покоя, почти такого же, как тогда, когда еще жив был отец, и какая-то новая отчетливость действия и речи; потому-то она и рассказала ему такую свободную от стыда правду о себе, какой ни за что не открыла бы прежде ни сестре, ни врачу, никому на свете, — ведь, подходя к Узлову, она положила себе только одно, только одно: попросить и получить прощение на будущее.

— У тебя все будет хорошо, — негромко и медленно сказал Узлов, и она вдруг страшно испугалась, что он сейчас может уйти. Но он засмеялся и сказал, как будто услышал ее мысли, что уходить не собирается, и она хотела пригласить его к чаю, а он сказал: «И чаю пока не хочу».

Осторожно, как стеклянную, Осип обнял Клавушку и приблизил, прислонил к себе. От легких касаний к нему грудью, щекой, бедрами, от его посылающих тепло ладоней она не мыслью, а всем своим существом узнала, что становится не такой, как была еще утром, и сама себе чем-то понравилась и поверила, что все это правда: что он не собирается уходить, что у нее все будет хорошо, все без изъятий, и что потом они будут пить чай. И тогда среди бела дня она повела себя самой на удивленье: принялась спокойными, плавными движениями открывать нижний ящик бабушкиного шкафа, стелить новую простыню и надевать новые пододеяльник и наволочку из приданого, занавешивать шалью дверь в коридор и задвигать маленькую задвижку, с присохшей на ней горбиком каплей белой масляной краски.

Когда она пошла от двери, Узлов ее перехватил и обнял так властно и так нежно, как ей снилось по утрам, и тронул легкими пальцами перламутровую пуговку у горла.

— Я сама, отвернитесь, — сказала Клавушка, и от ее теплого выдоха, от невидимого облачка парного молока, Узлов угадал в себе могучий толчок знакомой воли...

34

В первые дни по приезде Узлов смотрел наши спектакли. Дамы напряглись, мужики старались показать, что не придают этому значения. Заглядывал и Тур, искося прицеливаясь в Осипа, которого главный администратор Фима Гибельман устраивал напротив его ложи. Обычно новобранцы наносят визиты за кулисы и к главному, чтобы сделать комплименты, наладить контакты, понять для себя, что к чему. Но Осип исчезал, не говоря ни слова. Наконец опытный Фима нетерпеливо и несколько вызывающе спросил его:

— Ну, как вам наши работы?

— Нормально, — ответил Узлов.

До первой своей репетиции он в театре не задерживался. И в городе его почти не встречали, так как Ольга с девочкой еще не подъехала, а Осип укатывал на Ближние дачи, где и терялся на втором этаже капитальной садовой постройки у своей вагонной попутчицы, дочки генерала Горжикова.

Кс мне Узлов подошел сам, но уже после того, как все поняли, с кем мы имеем дело, то есть какой он артист.

— Ты мне понравился, — сказал он, улыбнувшись. — Я на тебя ставлю.

Я был куплен с потрохами. В тот вечер, когда Осип обратил на меня внимание, я играл даже не вторую, а третью по значению роль, верного друга героя: реплик у меня было совсем немного, и это спасало дело, так как пьеска о трудах и днях местной пролетарской династии, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Героем выходил наддувающийся Лисицкий, а героиней — присмирившая Глухова, и то, что Узлов не сказал им ни слова, а меня похвалил, завязало на будущее тот узелок, который потом некому было распутывать.

Лисицкий верхней половиной туловища со сцены смотрится хорошо: вовремя стрижет волнистые волосы, чисто одевается, холит ногти, двигает желваками, скупко обозначая внутреннее волнение, накачивает плечики гантелями и очень старается быть похожим на героя американского боевика.

Вот только ножки его подвели: тоненькие и ободком. Трико в костюмных пьесах он всегда, как мог, избегал и тратил много времени, возясь со всякими штанами или сапожками: то подложит какие-то батончики, то подвяжет щитки, а если от трико никак не отвертеться, волочит из дому чуть ли не протезы, заказанные в харьковском ортопедическом институте, а в гультфик упрятывает что-то внушительное, чтобы никто не сомневался, какой он самец. Впрочем, иногда он ведет себя как парень вполне терпимый и даже общительный, показывает пародии, травит анекдоты, особенно если нужно для дела, но все-таки чаще всего — надменный и заносчивый.

С Туром у Лисицкого почти дружба: живут по соседству, подвозя друг друга на своих «Жигулях», держат связь с городскими снабженцами, медиками и кое с кем из высшего руководства области, но этих крайне мало: наши самые первые товарищи, в основном ориентированы на финские бани и художественную самодеятельность.

Был в театре случай, когда Лисицкий перенапрягся и у него сильно подскочило давление. Не знаю, по какой внутренней связи, но то ли от высокого давления, то ли от большого испуга он стал неудержимо мочиться и в присутствии «Скорой помощи» наполнил чуть не целое ведро, что произвело на медицинскую бригаду неизгладимое впечатление: герой-любовник и — на тебе! — ведро мочи. Он кинулся на консультации в Москву, всюду пробился, чуть ли не в Четвертое управление, ему дали рекомендации, и с тех пор Лисицкий бережет здоровье: соблюдает диету, пьет соки, грызет яблоки, морковь, варит себе в поездах картошку, готовит салаты и больше пятидесяти граммов водки не пьет.

До приезда Узлова Лисицкий поддерживал о себе легенду как о большом ходоке и для этой цели прихватывал что плохо лежит. Но, с одной стороны, хамство, а с другой — трусоватость превращали бывших его любовниц в воинствующих врагинь, хотя вражда быстро переходила в новое качество и женщины начинали его презирать. Иначе, как «Митька-Явно», никто из них его не называл, но Лисицкий был слишком хорошего мнения о себе, чтобы придавать этому значение.

Настоящая фамилия его действительно была «Явно», но к ней слишком легко подбиралась рифма, и он выбрал для сцены звучный псевдоним. Жена его — тихая и добрая женщина, не имеющая отношения к театру, — появлялась у нас крайне редко и была по неведению счастлива.

Получалось, что по всем статьям с приездом Осипа должно было возникнуть что-то вроде соперничества, но, разумеется, только со стороны Лисицкого: какой он Узлову соперник? Даже смешно.

А Глухова Лена — чудо, актриса Божьей милостью, хотя в частной жизни — путаница и распустеха. Она — настоящая красавица, и, что греха таить, я был в ее тайно влюблен когда-то, но к приезду Узлова справился с этим: слишком многое с нею случилось на моих глазах, и она привыкла в трудных ситуациях плакаться мне в жилетку, держа за «подружку».

Ее пригласили в театр на роль Анны Карениной, и лучшей Анны я никогда не видел: и хороша, и породиста, и простодушна. У нее возникли короткие связи сначала с Туром, потом с Лисицким, но она испугала их своей безоглядностью, безразличием к тому, что люди скажут.

Дело в том, что, когда Виталий Авдеевич Турин позволяет себе очерредное увлечение, Митька Лисицкий пасется поблизости: устраивает «хатку», приятельский антураж, «творческое» прикрытие; ну репетируют они, понимаете, репетируют — Анна, Вронский и господин режиссер. А когда приходит пора Турину «завязывать» с девушкой, Лисицкий тут как тут и выступает, с одной стороны, «другом-утешителем», а с другой — для Тура — мотивом ревнивого отхода и разрыва. Имейте в виду, что Турин, хотя и толстяк, и обжора, но мужик для провинции импозантный, жизнелюб, остроумец, умеет, вдохновившись в работе, увлечь женщину, особенно актрису.

Неожиданно для всех Лена Глухова вышла замуж за совсем уж плохого артиста Лишина, после чего он раздулся от гордости и стал требовать ролей и даже постановок, опираясь на свои режиссерские успехи в кружках художественной самодеятельности. Лишина поставили на место, и ему пришлось уйти из театра, а потом и уехать из города, оставив Лену Глухову на полной свободе.

Здесь она и пустилась во все тяжкие и стала на время совершенно неуправляема, вплоть до того самого случая, когда перед самым спектаклем потребовала к себе в гримуборную Ваню Куртанова, без свидания с которым она не выйдет на сцену.

Ваня сказал: «Не отменять же спектакль» — и вошел к Лене.

Турин сказал: «Искусство требует компромисса».

Лисицкий сказал: «Шлюха».

А Дулегов, посоветовавшись в райкоме, повторил чью-то мудрость: «Театр — большая изба, не будем выносить сора».

Я молчал, чувствуя себя таким же подлецом, как и все, но после этого случая мне удалось затащить Лену в церковь и познакомить с моим духовником, отцом Леонидом. Мне показалось, что она прониклась таинством веры, угомонилась, стала играть еще лучше, потом снова вышла замуж, на этот раз за военного, не то пехотинца, не то строителя, и прошлые безумства стали забываться. Но каждый из нас понимал, как непредсказуема наша героиня.

35

Нужно отдать вам отчет, что у нас в городе до самых новейших времен ходить в церковь было крайне рискованно. Все областные общественные институты рьяно держали идеологический фронт, а управленцы и обкомовские овчарки буквально тряслись и рычали от правоверного атеизма. Когда Турин ставил «Жаворонка» Ануйя с Леной Глуховой в роли Орлеанской девственницы и рискнул в качестве образа водрузить на сцене большой светящийся крест, приемная комиссия поднимала потолок и клала зубы, заставив его клясться Лениным, что он упразднит всю церковную атрибутику и вообще «больше не будет». Долго еще после этого случая Тур ходил в «вольнодумцах», долго еще «отмывался» в глазах обкома «Металлургами» и «Шахтерами» — публицистической диалогией во славу советского рабочего класса. Наконец простили все-таки, снизили к стараниям, дали искомое звание «Заслуженного деятеля». «Неужели вы не понимаете, что в нашей области нужно быть крайне, крайне осмотрительными в атеистическом плане!» — учили они Тура.

Что касается моих посещений храма, то они фиксировались и подсчитывались, и однажды Виташа вызвал меня, запер кабинет и спросил, думаю ли я эти хождения оставить или собираюсь продолжать. Я ему сказал, что для меня нет такого вопроса.

— Но, Сережа, — доверительно сказал мне Турин, — в этом случае я не смогу пробить тебе звание.

— Ну что ж, — скорбно сказал я, — вы мне роли лучше дайте.

— Ах, Сережа, — вздохнул он, — я ведь и сам православный, я тоже крещеный, но надо же понимать, в какое время и где мы живем.

— Я понимаю, — сказал я.

— Боюсь, что не слишком отчетливо... Ладно, иди...

— Тяжелое у вас положение, Виталий Авдеевич, — сказал я.

— Не говори, брат, — еще раз вздохнул он...

Вот так мы и жили до появления Осипа Узлова, вот так мы и работали.

— Я на тебя ставлю, — сказал мне Узлов, а на Лену Глухову даже не посмотрел, когда она нарочито медленно проплывала мимо...

36

— Я сама, отвернитесь, — сказала Клавушка, и в ее теплом выдохе, невидимом облачке парного молока, Узлов угадал в себе могучий толчок знакомой воли.

— Вот уж не обещаю, — ответил он и отошел так, чтобы она была ему видна вместе с окном.

Проживем паузу, через которую ей нужно еще переступить, попро-

буем преодолеть эту звучащую тишиной и близкими городскими гудочками и шуршаниями, сжимающую сердце неподвижность, набухшую скрытым сомнением и мятущейся речью, прочувствуем полновесную паузу — ее-то труднее всего найти и сыграть на запущенной сцене. Вот она длится, повышая тепло, продлевая на самое себя отмеренную преграду, откладывая еще на чуть-чуть проклятую радость, и наконец достигает своей вершины: вот мгновение, когда женщине пора сдаваться, кому же еще сдаваться, как не женщине, тем более что здесь пока и женщины нет, а только обиженный судьбой полурбенок, которому предстоит женщиной стать; а беспощадный Узлов, не выпуская ее из своей волны и воли, все длит колдовство, смотрит и смотрит на щемящее чудо — девушку вместе с окном — и снова не может привыкнуть к обновленному миру и своему долговечному дару.

Но вот она дрогнула, решила на первое движенье: тонкие пальцы трогают верхнюю пуговку и, чуть повернув ее, толкают к пульсирующей впадинке под горлом; и дуб замирает за окном, чтобы ее не вспугнуть, и комната с иконой и чистой белой постелью переполняется еще одним, забытым ею смыслом. А когда она, потупившись и чуть отвернувшись в профиль, перебрала остальные застёжки и медленным движением, вывернув рукава, стянула с себя голубоватую шерстяную кофточку, бросив ее на стул; когда чистая линия обнаженной руки скруглилась плавным плечом и до него дошло это пронзающее текучее смещение полудетской шеи по отношению к плечу и спине, то удивительное поющее смещение по боттичеллиевскому лекалу, которое могло бы быть названо легчайшей сутулостью, если бы не было сигналом пронзительной женственности; когда он вобрал в глаза неслыханно новые овалы уха, щеки и подбородка в новооткрытом единстве с шеей, плечом и рукой и такая же полудетская грудь обозначилась над прозрачно-матовым обрезом рубашки и ненужным ей предумышленным нагрудником, — тогда Узлов с новой силой узнал свое призвание, и великий долг, и счастливый голод.

Здесь, среди бела дня, как в фильме, идущем только однажды и только для одного, навсегда воссоединились движения робкого тела с тем, как просилось и брызгало солнце сквозь дубовую крону на старомодный паркет; а медленный поворот ее головы сжился с очертаньем окна, за которым — он знал — вне бедного времени живет городская душа, обозначенная чиненой беседкой и зданием церковки, верной своему рождению, несмотря ни на что.

В снопоподобном своем послушании она сняла, наступая себе на пятки, синие летние матерчатые туфли без каблука и отвела их ногой в сторону с дороги, по которой сейчас приблизится он; поводя вниз молнию, двумя руками она взялась за твердые бортики бережных джинсов, в извиняющемся полунаклоне пригнула их к полу и перешагнула через твердый обруч осторожными ступнями с выгнутым подъемом. Теперь и джинсы легли на стул, а она, без защиты от яркого света и пристальных, влажнеющих от нежности глаз Осипа, стояла в короткой дневной рубашке и белых носочках, со звоном в ушах и счастливым ужасом неизбежного отныне события.

— Иди ко мне, — сказал Осип, но она, вдруг метнувшись к кровати, нырнула под легкое одеяло, укрылась с головой и замерла...

Отойдите в сторонку. Кто посмеет пойти с ними дальше? Да, вы правы, здесь есть и такие. Дело, конечно, во мне. Не готов. Да, быть может. В сторонку. Минуту терпенья. Речь заходит о тайне Узлова. Минуту...

Нет, еще не могу. Не хочу. Позже, позже...

Что мешает? Ты знаешь сама. Назови как угодно. Робость провинциала. Безупречная бедность греха. Невозможность возврата.

Завтра. Завтра. До завтра. Пока...

Внезапный отъезд коверкотового Василия Васильевича и уголовного окраса выверт, который он позволил себе на прощание, привели меня в оторопь. Я задержался на липовой аллейке посреди Волгоградской, засиделся на длинной скамейке с чугунными ножками, задумался. Впервые государственная опасность подступала ко мне так близко...

Счастье, что у города еще есть зеленые паузы безделья, легальные возможности отказаться от спеха, привести себя в равновесие с блеклыми высевами газонной травы и стриженными деревцами, которые лет через сорок станут торжественно взрослыми...

Я старался уйти мыслью от первого в жизни допроса, откладывая посильный мне анализ на какое-нибудь «потом». Было хорошо, одиноко и страшно; во мне бродила та самая гремучая смесь, от которой особенно остро чувствуешь себя живым.

И тут — это случилось через полчаса или минут через сорок после того, как мы расстались с Васвасом, — перед моим взглядом мягко затормозил огромный черный «ЗИМ» и из него вышли сначала Анна, а за ней высокий полный кавказского вида человек в удобной заграничной куртке из серой замши. Они подошли ко мне.

— Это — Сос, — сказала Анна, — он хочет с тобой поговорить. — И отвернулась.

— А ты не хочешь? — спросил я.

— Как тебе сказать?..

— Так и сказать...

— Я его привела. — ответила Анна, подчеркивая местоимение «его».

— Ну, пусть поговорит, — сказал я.

Сос внимательно слушал.

Искательница верных путей к моему смущенному сердцу и автор-составитель роскошных котлет, — ни вы, ни я их не забыли — Анна была близкой приятельницей моей бывшей жены. Впрочем, почему бывшей? Мы еще не были разведены. На правах друга дома она и стала меня искренне утешать, когда Эльвира (так звали мою жену) переместилась под армянскую частновладельческую крышу...

Я не сразу догадался, что за человек стоит рядом с Анной, но он присел рядом со мной и, сильно волнуясь, стал закуривать «Мальборо». Наконец он справился с огнем, Анна с безразличным видом стала отступать к машине, и Сос начал говорить. И как только он открыл рот, я понял, с кем имею дело: это был армянин из пушкинского романа, или, проще говоря, мой «родственник» по жене.

— Вы малчите, — сказал он. — Понимаю вас, что бестактно мне гаварить. Но здесь такой, можно сказать, случай... Нильзя малчать...

И опять замолк.

Сначала я подумал, что этот уличный визит — они двигались ко мне по Волгоградской, и Анна успела заметить меня на скамье — связан с проблемами размена, разъезда, раздела; потом мелькнуло подозрение о том, что она продолжает свою матримониальную атаку и Сос представлен мне как зримое доказательство краха моей семьи; но и для первого, и для второго повода он был слишком взволнован.

— Излагайте, — поторопил его я.

— Я думал, может быть, мы... через ресторан?..

— Пить с вами я не собираюсь.

Он кивнул и как будто овладел собой. Во всяком случае, об этом свидетельствовал резкий переход на «ты». Очевидно, этот человек привык идти к цели прямыми путями: «через ресторан», «через деньги».

«через-«ты»... Интересно, как он спрямлял свой путь к моей жене?..

— Вообще, я перед тобой не виноват. Ты ее не любишь... Из-за мальчика терпел... Женщина такие вещи чувствует.

«Ну, вот, — подумал я. — Еще один наставник по женскому вопросу».

— Гара гарой ни сходится, — продолжал он, — чилавек чилавек — да... Мнацаканов, Сос...

Он встал и прошел несколько шагов в ту и другую сторону, внимательно оглядывая окрестности. Убедившись, что поблизости врагов не видно, Сос Мнацаканов снова присел на скамью рядом со мной.

— Мне сказали: иди Сергею... Большие люди сказали... Он знает, где бумаги лежат... Осип Узлов прятал, Сергею говорил... Горло мое держали... Пускай, говорят, скажет, где тайнык... Не скажет — будим применять... Я бы век твою сторону ни сматрел... Дениг мне не нада, квартиры не нада... Все мне есть... Эльвиру, мальчика всем абиспечу... Как мусчина мусчину тебе скажу: атдай им тайнык!.. Всем плоха будет, если ни атдашь...

Произнося свой монолог, он опять разволновался к концу, и, видимо, от волнения его акцент усилился. Особенно мне понравилось: «как мусчина мусчину».

— Ты где работаешь? — спросил я.

— Страительство, — объемно определил он.

— Архитектор? — уточнил я.

— Страитель, — ответил он успокаивающе.

— Инженер? — снова поставил вопрос я. — Прораб?

— Я тебе сказал: страитель.

— Ладно, — сказал я, — я понял: ты строитель коммунизма широкого профиля. Я тебя вот о чем попрошу: ты строй, в основном, с Эльвирой, а сына мне не портить, понял?..

— Понял я, — сказал он. — А ты понял? Скажи, где тайнык? Мне можно сказать. Тучи развеются.

— Как думаешь, если бы знал, сказал бы? — спросил я.

Он задумался. Потом сказал:

— Сергей, я тоже христианин. Вот тебе крест. Ни делай ашибку, атдай тайнык.

— Ехай, Сос, ехай, — сказал я. — Нет у меня ничего.

Он глубоко вздохнул:

— Ладно. Будим считать, познакомились. Адно тебе скажу на пращанье: тучи сгущаются, имей в виду.

— Образно говоришь, — отметил я и спросил: — А сам стихов не сочиняешь?

— Дурак ты, — сказал он и пошел к своей машине.

38

После криминальной премьеры поднялись, как обычно, в верхний буфет, выпили... Вежливый юноша Стологуров сбежал за гитарой, передал ее с поклоном по назначению, и Узлов не стал возражать.

Гитара повела себя как вольная цыганка, с которой Осип прежде не встречался и тут, на наших глазах, вступил в борьбу. Настройка — короткая, острая — была похожа на уличную стычку. Он сменил тон и вкрадчиво попросил: «Поговори-ка ты со мной, гитара семиструнная», — и опять небрежно отвернулся, перейдя к широким концертным испанским аккордам; снова успокоил ладонью струны и снова прикоснулся к колкам.

Гитара все еще чему-то противилась. Узлов посматривал на нее с удивлением: чего тебе надо-то?.. А ничего, ни-че-го, отвечала вольная цыганка, я сама по себе, ступай своей дорогой; ну и я сам по себе.

отворачивался Осип, но они были уже связаны роднящей любовью к полной независимости. И она стала напевать, постанывая, тремолируя вольным горлом, заводя, заводясь, приманивая его пальцы и сильную ладонь не только к струнам, но и к точенному смуглому бедру; а когда он взял ее в руки покрепче, вдруг опять попыталась отпрянуть, и от резкого движения открылось, что при ней живут и бубен, и кастаньеты, если пальцами по деревянному, и звонкие колокольчики, дайте только срок. Узлов еще и голоса не подал, и это был не Узлов, собственно, а все еще Бахарь, с которым мы сошлись на новой хазе, в верхнем буфете, где вор в законе, или, по-другому, «человек», продолжал отводить душу с драгоценной подругой.

— А первая пуля, а первая пуля, а первая пу-у-у-ля попала в коня... А вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пу-у-у-ля ранила меня...

Господи, Господи!.. Как же я раньше не догадался!.. Не видел ли он уже тогда туманными глазами две коротких черты в тесном воздухе, не тогда ли приманивал смерть?!

Пили за Осипа, нового члена нашей актерской семьи, за то, что он сумел остаться собой и войти в то же время в прославленный коллектив с четкими традициями и светлым будущим. Тур цитировал Товстоногова, Дулегов говорил о различных путях и примерах коммунистического воспитания молодежи, женщины, млея, пили больше обычного и не отрывали глаз от Узлова, а Ленка Глухова вдруг встала на другом конце стола и, показав полной стопкой на Осипа, громко сказала: «Это — мое!»

Муж-офицер в тот роковой час находился где-то на учениях, стало быть, сам виноват; бес не дремал, и скоро она, пересев к Узлову, потребовала от него полного внимания. Как это ни странно, Осип был смущен откровенным вызовом, между ним и Леной завязалась какая-то двусмысленная борьба, в которой Узлову приходилось играть оборонительную, чуть ли не женскую роль, а Глухова как с цепи сорвалась, вспомнила свое боевое прошлое.

Начальство плавно ретировалось.

— Поехали ко мне! — потребовала Ленка. — Все ко мне! У меня есть!

— Ну, повело стерву, — сказал Ваня Куртанов, уходя домой, — присмотри за ней, Сержант.

Поехали четвером: Осип, она, я и Люба из реквизитного. Любаша, верная ее наперсница, надеялась удержать Лену на краю, заслонить собой, если что; а я, как замороженный, предчувствуя беду, послушался чьего-то тайного приказа.

Черт знает что за сцена пошла у Глуховой дома! Она и пела, и танцевала, и навзрыд, как греческую трагедию, читала «Боевой устав пехоты». Потом вышел какой-то дурацкий спор, по которому мы с Узловым оказались в проигрыше и должны были раздеться до пояса, так и торчали за пьяным столом, на который она метала все стратегические запасы. Мне становилось то весело, то жутко, я таких сцен не терплю и избегаю, а тут сердце рвалось между ним и ею, срам, глупость, кураж...

Среди ночи я бежал навстречу покаянию, Любу прогнали со мной, а они вдвоем остались, чтобы дойти до конца, до единственной бешеной сшибки, до рваных простынь, до драки и крови, до черной постыдной легенды, которую я снова не смею вам передать...

Что же он все-таки učinил там, в Москве? Или не в Москве? Что там за женщины сошлись? И как могли оказаться среди них Гюзель

или Лена Глухова? Что за чушь понес по городу бесчестный комик Кошуков? И кому выгодно? В том-то и дело, что многим...

Замешана, судя по текстам и вопросникам, была фрау Шульц, красotka Гретхен. «Красотки, красотки, красотки кабаре. Для вас жизнь — сплошное развлечение»... Или «наслажденье»?..

Немецкая поездка, вот что! Здесь кроется...

Его ведь ни за что не хотели пускать: как можно, с судимостью, невъездной, однозначно, не о чем говорить, баста, баста, но уперся режиссер, судя по отрывочным рассказам Осипа, самодур и протыра, нужен ему Узлов — и трава не расти!.. Будем иметь это в виду...

Возвращаясь домой после встречи с таинственным «Васвасом», понял я, как сильно проголодался, и почувствовал, что сейчас должна наступить остановка, в течение которой я попытаюсь рассмотреть разные версии. За трапезой...

Я взял в магазине пять яиц, в пакете, два плавленых сырка, буханку хлеба, азербайджанского скверного чаю цыбик (сахар у меня еще оставался) и, стараясь не глядеть на алкашей, бутылку водки. Нерасчетливо, скажете? А если тоска звериная?.. Кроме того, семь рублей у меня еще оставались в брючном пистоне, свернутые как надо, — вот они и были на крайний случай...

Если всю жизнь готовить одну яичницу, то и самый бездарный кулинару чему-то научится. Кулинар я бездарный, но яичница у меня всегда отменная, хоть на сливочном, хоть на подсолнечном, и соль я сыплю по какому-то наитию, с гармонической соразмерностью, и один желток разбиваю, а другой оставляю глазуньей, чтобы съесть с одной сковороды как бы две разных яичницы. А когда найдется хоть какой-нибудь старой сосиски отмерок или полпомидора — конец света, пиршество. Попробуйте также бросить на сковороду несколько кусочков плавленого сырка, если нет ни колбасы, ни красного овоща, тоже разбавка. Такой именно и была в тот день моя холостяцкая трапеза в перерыве между телефонным вызовом и тем, что случилось позже. «Божий дар — не яичница!» — шипела моя сковородка, и, поверив ей, я выпил полстакана водки.

«А о съемках он что-нибудь говорил?..»

Вот-вот...

Весь соблазн, вся скверна и дьявольщина пошла у нас от этих съемок. Что «киношникам» удалось — так это смутить честных провинциальных артистов всесоюзной славой, легкой денежкой, другой жизнью.

Ну да, вы вправе меня заподозрить, что это я — из зависти, потому что сам ни разу в жизни в кино не снимался. Подозревайте. А я вам скажу, что были у меня не одно, а три предложения, все — с подачи Осипа, но я все три раза однозначно отказался. Ей-Богу!..

Вы спросите: почему? А потому, что я-то еще был хозяином себе и, прочтя эти пошлые повести в шитых блокнотиках, с жирно напечатанными глупыми репликами, где притеснители выведены героями, а люди со своей душой вовсе вычеркнуты из состава действительности, прочтя их с недоумением и чувством безнадежности, понял я для себя, что это бес меня смущает и собственной персоной передо мной является. Только согласись — и поучаствуешь за тридцать сребренников в прямом оскорблении жизни, и правды, и Господа!..

Конечно, в театре я и не в таком безобразии участвовал, так ведь тут — служба, обязанность, привязь; но по своей доброй воле влезать в грязное дело за лишние деньги и к неизбежным подлостям добавочное — нет уж, благодарствуйте!.. И увольте!..

Ты смотри, как я расхрабрился! Но ведь и эта храбрость у меня заемная, и она — от Осипа. Это ведь он так себя повел, впервые на нашем веку отказался от роли у Турина. Он отказался от участия в

очередной верноподданнической пьеске, и от него ушла роль Отелло. Как они все на него тогда кинулись!..

Но сейчас о кино, о кино...

Конечно, позови меня сниматься Тарковский — я бы к нему и в массовку пошел, но театра, своего театра, со всеми его безобразиями, не бросил бы и ради Тарковского. Здесь были у меня настоящие прощеты и бедствия...

А Узлов находил для себя что-то в дальних экспедициях, задвинутых девах, чокнутых молодцах, во всей цыганской безалаберщине киношного кочевья. Не только как артист, но и как художник, думаю.

Вот они — наброски и рисуночки. Но и сам он снимался немного, раз семь или восемь, и ролей настоящих было у него в кино штуки четыре, не более, а вот и ногу попортил на съемке, и из-за Тоши чуть не погиб, и с этой последней эпопеей вляпался...

40

Тоша был полукровка: помесь афганской овчарки и ездовой. Я никогда не слышал его голоса, он был слишком сосредоточен, охраняя жизнь своего хозяина от всего и от всех. На редкость терпеливый, он не выносил только повышенных голосов и городских склочных баловней на кожаных поводках. Металлический ошейник и цепь служили ему на выходах. Густошерстый, трехцветный, бело-бурый с рыжими вставками на боках и огромной башке, — Тоша, в отличие от всех знакомых мне псов, не совался к новоприбывшим, чтобы обнюхать; в шестиметровом прибежище Узлова, в театре, на улице — короче говоря, везде, куда ни брал его хозяин, ему хватало поворота головы, чтобы запомнить и выделить тех, с кем Осип входил в контакт, и определить для себя характер каждого контакта. Глаза у него были янтарные, ясные и не меняли выражения ни при каких обстоятельствах. Тоша, как и Узлов, был совершенно непредсказуем. Однажды в Левобережном парке на него с лаем и рыком кинулась немецкая овчарка, свирепый кобель, вырвавший поводок из рук своей хозяйки, очевидно, ревнуя ее к Узлову и Тоше. Смерть медалиста была неотвратима и мгновенна, а улаживание отношений с возмущенным клубом собаководства и безутешной владелицей стоило Узлову больших денег, долгих хождений в суровые полицейские органы и бессонной ночи с хозяйкой пса как последнего мирного аргумента.

Узлов привез Тошу с Крайнего Севера, куда он подрядился в «окружение». Так называют в съемочной группе несколько малозаметных персонажей, сопровождающих центрального героя. В ожидании прилетающих на день или на два «звезд» артисты «окружения», заключив аккордный договор, работают на общих планах, пьют водку, играют в карты, но обязуются быть всегда под рукой. Иной раз кому-нибудь из них удается «прочертить ниточку», то есть сложить на экране еле заметный характер, «запомниться» в надежде на будущую удачу. После лагеря строгого режима выбирать не приходится, а тут еще — честная возможность удовлетворить географическое любопытство по отношению к Байкалу, Средней Азии или, как в данном случае, к Крайнему Северу.

Для съемок этого фильма были куплены и срезаны в Отвальное четыре упряжки ездовых собак, и, когда песья бригада отработала свое, то есть «отснялась», дирекция подсчитала, что дешевле обойдется не возвращать их на место покупки, а тем более не везти в центр, а просто отстрелять на месте. Разговор между мужчинами вышел короткий, гуманисты было вступились, но начальство окоротило их просто: пожалуйста, кормите, мол, и перевезите за свой счет. Узлов

обсуждение проворонил, находясь в счастливой отключке то ли с гри- мершей, то ли с художницей по костюмам.

Собаки, не кормленные вторые сутки, ждали своей участи на за- дворках низкого барака, служившего гостиницей съёмочной группе и общежитием для аборигенов. «Стрелков» вызвалось трое — пиротех- ник, комендант барака и один «окруженец»; они были пьяны, плохо целились и устроили из грязной работы, за которую обещали им за- платить, подлое развлечение: охоту на привязанных животных.

Насколько я понял, в течение предыдущего месяца у Узлова с Тошей установились отношения взаимной избранности, и теперь, вы- скочив из барака полураздетым, Осип двумя ударами по затылкам сшиб двоих стрелков и полез под выстрелы третьего, закрывая собой и отвязывая Тошу, очередь которого уже подошла.

Собачий вой, громкий мат, выстрелы, бьющиеся в конвульсиях лохматые трудяги, кровь на снегу, молчаливый Тоша в человеческий рост, которого, подхватив под передние лапы и прижав к себе, несет к бараку полураздетый Узлов, — такую сцену увидел я в его скупой передаче и запомнил предупреждение: пса гладить ни в коем случае нельзя, он не поймет, не тот характер. Между тем то, что Узлов спас его от неминуемой смерти, Тоша отлично понял и не забыл до конца своих дней.

Выяснилось и то, что поводом или причиной для разрыва с Ольгой тоже оказался Тоша: когда Осип со спасённой им псиной появился в дверях (я уже не говорю о всех трудностях и унижениях, связанных с доставкой огромного пса в самолёте, а потом и по железной дороге), когда они оба появились на пороге, Ольга сказала:

— Ну вот что: или ты вернулся один, или выбрал собаку.

Осип посмотрел ей в глаза, вздохнул и вышел вместе с Тошей.

41

«Что же у него вышло на последнем фильме? — думал я и, как Гамлет, командовал себе: — Разберем...»

По рассказам Осипа, режиссер-постановщик Тузлук затеял нечто эпохальное и велел не обращать внимание на официально утверж- денный односерийный сценарий; мастер имел намерение снять целых три серии и, таким образом, поставить студию и начальство перед фактом. Выходила бы, по его словам, крупная экономия государству: тройной шедевр лудили за одни деньги. Получая тринадцать рублей за один съёмочный день, Осип должен был выполнять тройной объём работы. Тут какую-то аферу он почувствовал с самого начала — хитрости, бух- галтерия, дурман. Да, дело было нечисто. Но увлекательным Осипу показалось то, что вслед за великими мастерами кино Тузлук обещал свободу импровизации прямо на площадке и, действительно, изобре- тал, варьиовал, позволял сочинять отсебятину.

Предстояло коснуться многого: война, разлуки, встречи героев через двадцать лет, уголовщина, дружба народов, борьба за мир. Что еще? Берлинская стена, дети и взрослые, бдительность, первая любовь, чьи-то происки и, конечно, светлое будущее...

Почему Узлов? Во-первых, он показался Тузлуку удобным — хотя бы по той причине, что явился из провинции, не был «звездой» и пред- положительно не должен был капризничать; а во-вторых, выбор ре- шила фраза ассистента: «Алексей Николаевич (Тузлук), да он (Уз- лов) на вас похож!» Тузлук весил в четыре раза больше Осипа и дав- но зарулил на седьмой десяток, но, видимо, все еще полагал для себя достижимой феллиниевскую всемирную славу, честно добытую в нед- рах областной киностудии...

Итак, Узлов доставалась главная роль и функция «альтер эго» создателя, то есть как бы «нашего Мастрояни», и ему отводилась задача художественно представить зрителям незабываемую биографию товарища Тузлука...

«Похож» — вот что решило его судьбу...

Тузлук пять раз летал в Москву, ходил по кабинетам, пробивал Осипу утверждение на роль и право выезда в Германскую Демократическую Республику. И дал за него какую-то важную подписку...

Так, но ведь это все — лишь общая ситуация. Была ли тут припутана супруга Тузлука, сиятельная Татьяна Устиновна, о чем говорил Кошуков, — не имею понятия. Доказательств непредусмотренного адюльтера нет, Осип рассказывал мне только о немке, той самой Гретхен Шульц, которая уже упоминалась, а именно о том, как он был ею заблокирован в гостинице и обработан по первому разряду...

Но если для выезда в Германию нужно было брать разрешение и его добиваться, значит, было кому сопротивляться этому, было кому идти на компромисс. И давать особые поручения, и тщательно следить за имевшим судимость О. С. Узловым. Хотя что это за выезд, если там полно наших, а режим в ГДР еще хуже, чем у нас, и они следят за своими, как за заключенными. За неделю в этой застенной Германии Осип наслушался такой правоверной галиматии и демагогии, какой и у нас, при всем цинизме власти, все-таки уже стесняются. Но именно он выглядел белой вороной среди всего съемочного коллектива...

Имело значение и то, что в фильме по сценарию была задействована какая-то шайка бандитов и герой, которого играл Осип, должен был постоянно опасаться нападения, прятать документы, проникать в какие-то секретные учреждения и так далее в этом роде. То есть, с одной стороны, полотно творилось вроде политико-социальное, а с другой — криминально-детективное. «Черта в ступе там только нет!» — говорил Узлов, но, судя по тому, что происходило сейчас, черт был именно в этой ступе.

В его рассказе упоминались и дети. Может быть, это были те же герои в детском возрасте? Точно, точно, ведь опять-таки искали мальчика, похожего на Тузлука!.. И девочек искали, похожих на Гретхен Шульц... Итак, Тузлук должен был предстать в трех измерениях: ребенком, мужчиной средних лет и седым ветераном. Вот-вот, вспоминаю, речь шла о седом парике, оба взрослых измерения падали на плечи Осипа, а детское отходило к племяннику Тузлука. Про племянника Узлов рассказывал с подробностями.

Задумано было передать первую любовь: шестиклассник с Урала и немецкая девочка с Поволжья, пионерский лагерь, свет довоенного счастья, нежная привязанность под солнцем сталинской конституции. Верно ли? Да, верно. К началу войны они еще дети, воевать юному Тузлуку никак не пора, и на съемках детских сцен Осип оказывался зрителем. Искали шестиклассника, а нашли племянника, который только что окончил десятилетку и был, судя по саркастическому описанию, здоровенным темным коблом, которому дважды в день брили физиономию, а по утрам еще и кудрявую грудь, и шерстистые ноги.

А вместо немецкой шестиклассницы гэдээровские соучастники, уже по каким-то своим личным мотивам, прислали прямо к первому съемочному дню — отступать некуда! — другую кошечку в мешке, а именно — двадцатисемилетнюю жену какого-то функционера: какая, мол, разница...

Муж Гретхен... Кем он был?.. Во всяком случае, не киношником, а кем-то из более ответственных лиц. Может быть, военным или кем-то вроде военного? Скорее всего, кем-то вроде...

Нужные это подробности или ненужные? Как определить, какие

именно детали и обстоятельства могли сыграть свою роль в безвременной гибели Осипа? В тот день я не располагал ничем, кроме того, что мог вспомнить, и своих слабых аналитических возможностей. Я воображал, как перед камерой вместо хрупких шестиклассников появляются тотально выбритый кобёл и военно-спортивного типа женщина. Несмотря на твердые коммунистические идеалы, внешне Гретхен Шульц напоминала ээсовку, и эта ее характерность сыграла-таки свою роль в отношениях с Узловым . . .

Таким образом, исполнители детских лирических сцен на съемках оказались особями настолько сексуально мобильными, что их постоянно нужно было ставить в жесткие рамки и в кадре, и за кадром. Тузлук же снимал эти сцены, как задумал еще до появления реальных исполнителей, то есть под фонограммы проникновенных скрипичных пассажей, сквозь розовые дымки воскурений и на фоне родных полей. Он заставлял «мальчика» и «девочку» делать грустные глаза, совершать робкие прикосновения и прощальные шевеления кончиками пальцев. Осип все это показывал в лицах, выходило смешно и жутковато: не платоническая детская лирика, а откровенный эротический сюр, в рамках соцреализма, конечно.

С самого начала племянника от немки жестко отделили, а сам Тузлук в первый же вечер по приезде Гретхен Шульц вызвал ее на репетицию, имея далеко идущие намерения, и храбро отпустил переводчицу. Не зная немецкого языка в той степени, чтобы стать достаточно понятым, он прибегнул к помощи рук и так увлекся объяснениями, что фрау Шульц, сняв туфлю, ударила мастера каблуком по лицу. На этот удар, ставший достоянием всей группы через отпущенную переводчицу, с которой была откровенна Гретхен, Тузлук ответил жесткими санкциями. Каждый день фрау Шульц гримировали, затягивали на ней корсет и пионерскую сбрую и держали в полной боевой готовности весь день, не доводя, однако, дело до съемок. Международный договор был подписан двумя сторонами, стоила фрау довольно дорого, лишний день — лишние деньги, и, кажется, у Гретхен были мотивы терпеливо сносить тяготы безделья. Но, помимо творческого простоя, она была вынуждена терпеть еще и непредвиденную остановку своей личной жизни, нарушение регулярности, и это привело ее в благородную ярость . . .

42

Через неделю в номере Узлова стали раздаваться по ночам таинственные телефонные звонки, с придыханиями и похихикиваниями. Наконец в гостиничном буфете Гретхен шепнула ему:

— То делал телефон я, ви умный мусчин, Тузлук идыот, мой номер цвай унд цванциг . . .

— Русские не отступают, — рассказывал Осип. — В гостинице, сам понимаешь, колгота допоздна, спецназ начеку, и я ее спрашиваю: «Когда?», она говорит: «Поздно», я говорю: «Шнапс?», она отвечает: «Яволь, натюрлих». После двух ночи иду. Несу. Тишина как в зоне. Что получается? Я думаю исключительно о моральной поддержке. Гостя нашей страны, подруга по соцлагерю живет на положении военнопленной. Могут же возникнуть сложности среди участников Совета Экономической Взаимовыручки или Варшавского договора, не приведи Бог. Тем более, что все говорят, у нее муж — шишка. Может пожаловаться в ООН или самому товарищу Хонеккеру. В таких мыслях хромаю до номера цвай унд цванциг, что в переводе с немецкого литературного языка означает двадцать два, а двадцать два, в свою очередь, переводится как «перебор», и действительно выходит нечто по-

добное. Я осторожно стучу пальчиками, и, вообрази, Сержант, открывает мне дверь не жесткая баба, не военно-спортивная дамочка из дюралюминия и отнюдь не эсэсовка, какой она мне казалась в минуты нервической безработицы. Открывает мне дверь трогательное создание в ночном чепчике и длинной распашонке, полузаспанное и теплое, и вместо моральной поддержки и разговора на культурные темы выходит у нас довольно бурное и решительное мероприятие по спасению германо-советской дружбы.

Тут он задумался и продолжил:

— Достояна, достояна объятий. А главное — сильно нуждается. Выясняется по ходу дела и действия, что комрад Шульц ведет себя по отношению к ней, мягко говоря, преступно, так как навещает ее на двадцать минут раз в десять тире двенадцать дней, сходяв перед тем в баню и нажравшись пива до таких степеней, когда большой любви получить не может. И вот эта пунктуальная самоэкономия, эта педантичная попытка бедной женщины будит во мне, Сержант, какую-то генетическую благородную ярость и слова беспощадной атаки. И я бросаюсь вперед, закрывая своим телом амбразуру, палю по врагам рода человеческого, расстреливаю все обоймы, как будто беру рейхстаг, и в разряженной атмосфере ночного смертельного штурма нежная Гретхен безоговорочно сдается на милость победителя. «Русские не отступают», — произношу я где-то в пылу сражения, и фрау Шульц берет этот лозунг на вооружение. Ночь, скажу тебе, была летняя, и за окном летела тополиная пыль... Да... И вот среди этой ночи посетила меня одна пацифистская идея. Что, думаю, Сержант, если бы все конфликты между разными странами решались примерно таким вот способом, к какому прибегли мы с Гретхен, и женщины, отдав предпочтение бойцам той или другой стороны, сами присуждали бы беспспорную победу? А? Представляешь, тогда вместо неисчислимых человеческих потерь и прирастания кладбищенских пространств всякая война давала бы замечательный прирост народонаселения. Правда, смешанных кровей. Но именно тут было бы реальное основание приблизить райское время, когда «народы, распри позабыв, в единую семью объединятся»...

Мы сидели в гримборной после спектакля и не спешили уходить, потому что дома, у меня дома, его ждала Гюзель, портрет которой уже был написан, и оба мы представляли себе, как вернемся, и как она откроет дверь, и как она улыбнется. Он, развалившись в креслице, медленно снимал грим, лениво вставал, плескался у раковины, вздыхал, комкал вафельное полотенце, убирая последние капельки воды с длинных и сильных рук, медленно закуривал, отдыхая и добавляя к рассказу новые подробности.

— И так получилось, Сержант, что к шести часам утра я оказываюсь героем всех ее предшествующих сновидений. А после этой ночи она начинает преследовать меня по всему фронту, включая каждый обеденный перерыв. И тут, хотя возможности мои практически неограниченны, у меня возникают все же морально-нравственные трудности, потому что днями, а именно в обеденный перерыв, Гретхен стремится меня оседлать, не снимая костюма советской пионерки, с красным галстуком на шее, и позволяет себе вольные шутки типа: «Будь готов — всегда готов». Тут я кое-что пропускаю...

Это Осип сказал: «кое-что пропускаю»!.. Не интимные же подробности он стеснялся передать...

За ними следили! Вот что! Не могли не следить, если он посещал номер иностранки!..

И не подслушивать не могли!.. Конечно, подслушивали..

Или это все-таки опять — моя мнительность, а Узлов, щадя меня, выпускал именно нескромные подробности интимных сцен?..

Но нет, было, было еще что-то, было рискованное и опасное! . .

— Эх, Гретхен, Гретхен! — вздохнул он.

У Осипа была особенная манера вздыхать: он совсем по-детски всхлипывал, набирая воздух в легкие не одним разом, а в несколько приемов, так, что один продолжительный вздох состоял как бы из нескольких коротких . . .

Иногда в его рассказах появлялись такие острые, такие бесстыдные детали, которые я для полной правды должен бы передать, да рука повисает. Ему можно, а мне — нет. А почему ему можно, спросите вы? Вот если бы вы увидели его, то не спросили бы . . .

Я скажу вам, скажу, как умею, почему Осип Узлов — такой выдающийся мужчина, такой отечественный Дон Гуан и русский Казанова; я попытаюсь собрать его реплики и как бы случайные наставления на этот счет (да и вы не зевайте), но сейчас мне важно выловить другие подробности, плетущие криминальную связь, отобрать для себя единственную версию его преждевременной гибели . . .

Вся разница между теми детективами, к которым вы привыкли, и моими дилетантскими воспоминаниями в том и состоит, что в первом случае авторы все знают заранее, нанизывая на событийный шампур отвлекающие подозрения, бросая тень на непричастных и незамешанных, держа в руках итоговую разгадку, а передо мной вся эта карусель неясностей и случайных нитей, где следствия путаются с причинами и сам итог сомнителен, а герои достойны и суда, и сожаления. Только восхищение мое неуправляемо, потому что Узлов — во всех своих ипостасях — настоящий художник! . .

Что же я слышал о развязке этой истории? Что Гретхен была чем-то сильно испугана, перестала с Осипом выходить на связь и срочно уехала; что в группе назревал большой скандал, так как материал был отснят скверный; что стали в группу частить немецкие и наши контролеры . . . Что Тузлук рычал о происках сионистов и матерился уже и при всех . . .

И вот теперь, в Москве, когда оставалось доснять несколько сот метров и уже приступили к озвучению, теперь, в московской гостинице, когда Осип остался совсем один . . .

Да что же, что же теперь?! Хоть садись в самолет и лети! . . И тут я решил, что после похорон так и сделаю . . .

43

«Тайнык», «тайнык» . . . Достали они меня с этим «тайныком»! . . . Весь день то один, то другой, то третий нагревал телефон или возникал камнем преткновения на моих путях: «Где тайнык? Ты должен знать. Где тайнык? Почему молчишь? . . .»

— Речь не о Турине. Не о нас с тобой. Театр под подозрением. У театра могут быть крупные неприятности. — Это Лисицкий-Явно взялся меня лечить; он знал, что значило для меня наше беззащитное учреждение. — Узлов — отрезанный ломоть. Пусть земля будет пухом . . . Если знаешь что-нибудь, — а они уверены, что знаешь, — скажи, помоги театру . . .

«Каким ветром его сюда занесло?» — подумал я.

— Я мимоездом, — догадался объяснить впервые пришедший ко мне Лисицкий, — тут у меня прописан один человек. Между прочим, тренер по художественной гимнастике. Рядом . . . Ноги — вот отсюда, — он показал, откуда растут ноги у тренера. — Между прочим, там и подруга есть . . . Зайдем?

Никогда прежде он меня с собой не звал и ко мне не заглядывал. Даже «между прочим».

— Тренера уступаешь, — спросил я, — или подругу?

— Да бери кого хочешь, — обаятельно улыбнулся он. — Коньяк в машине!..

— Они у тебя что — согласны на все условия?

— А куда ж они денутся?! На мусчин у нас «дюффиссит», — он приподнял бровки и развел ладонями.

Здесь он не ошибался. И городу, и стране, и времени мужчин не хватало.

— Позови Турина, Явно, мне твоих услуг не надо, — сказал я. И добавил: — В этих делах я обхожусь без тренеров. Между прочим.

Он побурел и хотел немедленно уйти, но пересилил себя и остался выполнять чужую волю.

— Не знаешь ты, как тут все сошлось, — с трудом выговорил он и повторил почти задушевно: — Не знаешь...

— А ты знаешь? — спросил я.

— Не все, конечно. Знаю одно: театр будут гнобить, если тайник не найдется. Там и так уже...

— Что?

— Ремонт затевают. По стенкам стучают...

— А у вас связалось?..

— Что?

— Ремонт с тайником.

— У кого «у нас»?

— У вас с Туриным.

— «Связалось», — передразнил он. — Человек намекнул...

— Какой человек?

— Знающий...

Лисицкий помолчал и грустно добавил:

— И в туалете проводку меняют...

— Ну и хорошо, давно пора...

— Да брось ты!.. Стал бы я тебя уламывать...

— Я и говорю, не стал бы. Турин попросил?

— И Турин тоже. — Физиономия у него была кислая. Наверное, он выглядел так же, наполняя в тревоге пресловутое ведро...

Я никак не мог догадаться, кто его подослал, и Лисицкий нервничал: называть имена ему не было велено.

— Неужели Попов? Или сам Буркин, — я ломился в открытую дверь. — Неужели они?..

— О театре подумай! — сердился он. — Где узловский тайник, скажешь?..

Я послал его по известному русскому адресу и сказал, что это и есть узловский тайник.

44

Для отвода глаз, для отвода глаз, для отвода!.. Вот зачем задавал он вопросы про съемки!.. При чем тут съемки, если их интересовали рисунки, схемы, документы, оставшиеся от Осипа? А впрочем...

Да, в одном я прав, что-нибудь — по делу, а что-нибудь — для отвода глаз. И насколько Кочар связан с Алейниковым, гадать не приходится, связь прочная, настоящая...

Пока меня не напоили в этой баньке, я их понаблюдал, я ведь был вместе с Осипом в их теплой компании на спортивной базе биатлона, с надежной охраной и тугими холодильниками...

Вообще-то, разных банек в области немало, но две из них — осо-

бые: одна для первых лиц, другая для следующих за первыми. Я-то был во второй, а про ту, первую, мне рассказал Узлов, взяв клятву молчать до его указания. Он бывал там короткое время, но, видимо, недооценил значения допуска...

Сюда попадали после жестоких и всесторонних проверок и перепроверок номенклатурные папаша, у которых анкеты сияли идейной святостью и была чья-то личная рекомендация. Там «своих» отбирали по запаху чуткими носами, и каждый допущенный был не ниже «тайного советника». Обслуга здесь старалась спорткомитетская, а девочки поступали из Аэрофлота, из отборного отряда стюардесс международных авиарейсов. Девочек забрасывали на наш закрытый для иностранцев аэродром с двойным заданием на сутки или двое, небольшими группами, по пять-шесть красоток за один раз; в целях конспирации и мужики, и девочки пользовались чужими именами, и Узлов понял, что «Наташи» не знали, в какую область их завезли. Почему-то почти всех звали «Наташами».

Узлов запомнил в лицо немногих. В первый же визит он услышал, как один «кадровый» спросил о нем Вальку Кочара (через Кочара пришел вызов в баньку, но спрашивал не тот, кто вызывал):

— Не вякнет? — И в ответ на Валькины бормотанья холодно так: — Смотри.

Зачем им нужно было приближать Осипа, доверять ему банные тайны, питейные разговорцы в верхах, — трудно мне сейчас сообразить. Может быть, из-за роли следователя, который им показался своим мужиком? Седина на висках, талант, одиночество, роковая любовь к школьной подруге, вышедшей замуж за соперника. Как они сентиментальны, эти руководящие сволочи! Даже стишки пишут некоторые. А тут еще узловское умение пить и петь, тут дуэльная история, прилетевшая за ним...

А может, Валька Кочар поиздержался у них в роли шута? Не могут они без шута горохового, кого-нибудь заведомо ниже всех по положению, чтоб было над кем пошутить, покуражиться, от кого узнать новые анекдоты и побасенки. И Осипа они прочили на эту роль?..

«Наташа», которая «досталась» Узлову (щадя мою непродвинутость, он рассказал только об одной), была, конечно, длинноногая блондинка, и, как у них говорится, Осип ее «достал». В пьяных слезах она прокинула на рассвете свой воздушный гарем и погибшую молодость. Она спрашивала Осипа, где он был раньше и почему не повстречался ей на жизненном пути; с ней случилась неслыханная в таких заведениях истерика, и она исчезла с горизонта, как и вся элитная дача за крутым забором и семью поворотами закрытой стратегической дороги...

Чувствуя, что сбиваюсь со своих литературных намерений, не в оправдание, а в объяснение скажу: по ходу рассказа всплывают все новые, на первый взгляд, боковые мотивы и сюжетные отростки, непреднамеренные отвлечения, а я, вместо того чтобы экономно от них отказать, даю им волю. Но ведь они у меня возникли, то есть родились, и отказ от них — тоже грубая ампутация. А если вдуматься, в этих излишествах, может быть, на поверку больше смысла, чем во мне самом и моем дилетантском следовании строгим образцам. Так что пусть они ветвятся, эти случайные подробности...

Вот и «Наташа». Кажется, она сыграла свой эпизод и к дальнейшему ходу событий уже непричастна, но что делать, если она еще раз дала о себе знать, а я не успел и не сумел сообщить об этом Узлову. «Будет ей дальняя дорога, будет козырная судьба», — сказал о ней он.

И правда, после роковых проводов, через лет пять, кажется, я достал из своего ящика почту: в советский конверт с моим адресом был вложен другой, иностранный, а в нем — продолжение.

Оказывается, «Наташа» вышла замуж за пожилого швейцарца, шоколадного короля, владельца известной фирмы, и через три года стала вдовой, получив все права наследования. Она звала Осипа к себе, в Люцерн, обещая мирное счастье и верность до гроба; единственное, чего ей не хватало для осуществления своей благодарной мечты, — так это знания таких необходимых для оформления вызова пустяков, как дата и место его рождения, а также его отчества, которые никто в Швейцарии подсказать ей не мог. Презрев анонимные порядки закрытой начальственной баньки, Осип назвал ей себя и дал мой адрес. В конверт была вложена и небольшая квадратная цветная фотография, из таких, что появляются из хитрого аппарата готовыми: «Наташа» в скромном костюме стоит на берегу Цюрихского озера рядом со своей машиной. Пейзаж хорош, и машина, конечно, стоящая, но что за женщина, Господи-святые! . . .

Такая тоска охватила меня, такая двойная нестерпимая боль! . . . Что вы мне талдычите про утечку мозгов! Красота поруганная утекает из России, и скоро нечем окажется Богу ее спасти! . . .

45

Теперь, а не позже, есть резон рассказать о той баньке, второй по рангу, но первой по очередности, в которой вместе с Осипом побывал и я. Да, и я, как особа не приближенная, но уже приближающаяся к верхним слоям областной атмосферы. Это мне нужно сделать для себя самого, чтобы по ходу воспоминания присмотреться к лицам причастным, как у меня вырисовывается, преступным умыслам и криминальным действиям.

Важно иметь в виду — и вам вместе со мною, — что все эти вспышки, картинки и пунктирные продолжения шли стремительно и грамматически неоформленно в сознании человека, снова лежащего на одиноком диване с камнем, который сегодня мог ему пробить башку, в руке. А записывая задним числом течение того дня — двадцать первого мая, я и невольно, и предумышленно их раздвигаю и пересматриваю, чтобы выволочь дополнительные укромности на уровень теперь уже рационального сознания. Я ведь, попомните, не литератор и не детектив, мои улики самодостаточны безо всякого юридического оформления, а прибегать к известным приемам и глупо, и времени нет . . .

Кроме того, учтите великодушно, что я не имею возможности пользоваться отдельным кабинетом, письменным столом, пишущей машинкой и прочими льготами профессиональных писателей, не говоря уже о прославленных домах творчества где-нибудь в Пицунде или Дубултах, о которых мне порассказывали хвастливые товарищи. Я даже думаю, что льготы эти тоже явились причинами разврата нашей словесности, наравне с паническим страхом и ленинскими премиями.

Главное для меня — вдуматься и запомнить. Текст лучше всего укладывается в память абзацами. А ученическая тетрадь в косую линейку и свободный подоконник предоставляют мне условия ничуть не худшие, чем дребезжащий трамвай, недружественная палата или машина «Скорой помощи» . . .

Да, вот еще что! . . . Вернувшись домой после встречи с Василием Васильевичем, перекусив яичницей и выпив драгоценной водочки, я обнаружил, хотя и не сразу, что у меня дома кто-то все же побывал во время приведенного допроса. Аккуратно, аккуратно, но шмон провели! . . . И знаете, что исчезло? . . . Исчезла копия схемы, которую я чертил на кухне, вспоминая ту, другую, Осипову . . .

С чего началось? . . .

Началось с того, что один подполковник внутренних дел пришел к нам за кулисы с толпой своих товарищей. Вообразите, что во всех коридорах по двум этажам, во всех курилках и у рабочих сцены скученно топчутся старлеи, капитаны, майоры, подполковники и даже полковники, оперативники всех направлений, и среди милицейской сишневых немало военных мундиров того же ведомства. За их головами и погонами бедных артистов не разглядеть. Что такое?

Оказалось, что этот подполковник знает Осипа с юности, они ухаживали когда-то за подругами-одноклассницами. (Он же, когда Осип задержался в парной, первым пересказал мне историю Нелечки Солдаренковой, ее любви к Узлову и юношеского самоубийства.) «Ну да, — вспомнил Осип, — ты свою на мотоцикле возил». — «Было!» — обрадовался служивый и стал знакомить своих коллег с другом юности Осипом Узловым, напоминая кинофильм, в котором тот снялся на Захованской студии в роли матерого рецидивиста «Акулы».

Игорь Хлебанов (так звали подполковника) переехал на жительство в Москву, получил хорошее место и, представляя центр, инспектировал в нашей области большие милицейские игры, с привлечением представителей разных регионов, «операциями», «посредниками», «вводными» и т. п. Местные обэзэсовцы бесперебойно снабжали номер Хлебанова закуской и выпивкой, он перетащил Узлова, а тот и меня, в свой полулюкс, и началась пристрелочная погудка.

На другой день, по вчерашней договоренности, через нашу гримуборную прошло оперативное мероприятие: к нам явился в штатском спортивный такой, прикинутый московский старлей Толик, взял в качестве «похищенных ценностей» мой портфель, в который «для смеха» положили бутафорские цепи, старую коробку грима и поллитровую нашего «сучка», и смылся. Известно было, что после «кражи» Толик должен совершить «угон автомобиля», а вызванный посредником наряд милиции вместе со всем экзаменуемым составом районного управления обязан был как можно скорее «раскрыть преступление». Ребята влетели в театр через пять минут после звонка на центральный пост, где царил Игорь Хлебанов, со всеми сыщицкими снастями и начали изо всех сил шустрить: опрашивать, фотографировать, снимать с предметов отпечатки пальцев — ну, всё как положено. Мне стало их жаль, я отвлек начальника следственной группы в сторонку, бормотнул ему на ухо, что знал, и вместо того, чтобы еще два часа ползать по старинному очагу русской культуры, бригада двинула на улицу. Толика «взяли с поличным», как только он сделал первый поворот на краденом «Жигуленке». «Успех» райотдела милиции решено было отметить за городом, на спортивной базе биатлона.

Позвали только «верхушку», сами «раскрыватели» пили где-то отдельно, но героями дня были Осип Узлов и Игорь Хлебанов из Москвы, а Осип заявил, что без Сержанта, то есть без меня, никуда не поедет. Кстати сказать, он искренне удивился тому, как быстро нашли «преступника», не зная о моей неблагоприятной роли, а помощь оперативникам почему-то приписали ему.

И вот после часа езды через луга и урочища на черной «Волге» оказались мы за зеленым заборчиком, в тихом домике, куда, как мне показалось, ни один биатлонист сроду не заглядывал. Домик как домик, снаружи — ничего особенного, но внутри... Что?.. Хотя бы бассейн двадцать пять на пятьдесят, куда прямо из двух парных — русской и финской — ныряли купальщики. Кто из вас видел такой бассейн, который снабжен невероятной силы водопадным устройством: включаешь три красные кнопки — и с высоты двух с половиной метров из трехметрового патрубка на тебя обрушивается широкая струя искусственной Ниагары, мощно массируя и разминая уставшие члены? Допущенные войти в одну воду утверждали, что один такой массаж

ценней и целебней десятикратного курса под пальцами опытной массажистки.

Водка, коньяк, баночное пиво, финское, и чешское в бутылках, квасок и нарзан для трезвенников; без черной икры, но зато уж с красной, с печенью трески, балыками, сервелатами, рыбцом и севрюгой и прочими исчезнувшими из нашей биографии закусками. Что еще?.. Да, предусмотрены были по два польских махровых полотенца со знаком «Московская олимпиада» на брата и по длиннополному итальянскому халату с фирменным клеймом «Вива», похожим на аристократический герб; и то, и другое — в стерильных полиэтиленовых пакетах.

Но это — декорация, так сказать, а вот действующие лица в странном составе заставляли задуматься. То есть тогда все мною воспринималось просто, как новости нашей жизни, а сейчас...

И Буркин, и Кочар, и Попов, и брательники в шапочках...

Очевидно, московский подполковник Хлебанов имел еще какие-то внеслужебные связи, если в его профессионально милицеевской компании сочли нужным появиться и эти, подъехавшие чуть раньше нас...

46

Буркин — фиксатый, коренастый, причесанный. Тут, в бане, он выглядел уместно, но представьте себе уголовную рожу с гнусной улыбочкой, открывающей золотой резец, в белом воротничке, при галстуке, над гербовой трибуной, с первомайским докладом, перед всей городской общественностью...

Попов — белоглазый, холодный, неулыбчивый; этот все силы напругает, чтобы выглядеть значительным, не уронить достоинства даже в семейных трусах. Так ведут себя обычно плохие актеры в компании зрителей...

Ну и Валька Кочар, рубаха-парень, красавчик, своячок, друг молодёжи, зампред по жилью. По жилью...

Брательникам из общепита здесь полагалось помалкивать, но, как я понял, холодильники и стол были их постоянной обязанностью. Без лыжных шапочек, у воды, у стола, были они еще страшней, полупылые, кадыкастые; когда закусывали, виски у них ходили ходуном: вмятина — бугор, вмятина — бугор. А как водку глотали, удавы: берут тонкий стакан большим и указательным пальцами и выливают в рот, как наперсток...

Вы не видели этих людей, они на все способны...

Впрочем, что это я говорю? Видели, видели вы их, таких же самых, отштампованных нашей прекрасной атеистической действительностью, едоков своего счастья, пожирателей вашего благополучия, вы сами давно поняли, что от них всего можно ожидать, кроме добра и справедливости...

Спокойно, спокойно, пойдёте далее...

Скромным именинником вел себя капитан Алейников, начальник райотдела милиции. Его и звали Петей, как знаменитого киноартиста, и смотрелся герой ему под стать, и говорить старался в его манере. Бывший боксер легкого веса, потом — оперативник, а в будущем — заместитель и глава городской милиции, причем вся карьера совершилась у нас на глазах с головокружительной скоростью, Алейников чувствовал великую силу неслучайной случайности и был благодарен Узлову за незаметную, но оказавшуюся незаменимой подставочку, оттолкнувшись от которой он и вскочил на коня. «Друг юношества» Узлова, подполковник Игорь Хлебанов, Петю Алейникова выделил, похвалил; это не прошло мимо внимания Буркина и Попова, они сработали, где надо, и через полтора месяца после учений, получив повы-

шение, Петя заехал за нами в театр и сказал Осипу: «Ну, мой златой, есть интерес отметица». А «отметившись», обнял его нежно за плечи и проворковал: «Ты, Иосиф, сделал мне паблик-сити, это я не забуду по гроб...»

Да, вот что... В бане зашел интересный разговор об именах, и Узлова невзначай спросили (Попов спросил), как он «пишется» по паспорту. А по паспорту Узлов был Иосиф Святославович, и назвали его не в честь библейского Иосифа, а, как водилось в те победные времена, в честь Верховного главнокомандующего, гениального генералиссимуса. Вариант сдержанно одобрили собравшиеся и стали вспоминать аналогичные случаи.

— Это что, — сказал Буркин, — у меня друг, белорус, по имени Ивест, «И. В. Сталин» в сокращении.

— А у меня одноклассник — Изиль, — сказал Попов, — и тоже не еврей, а коренной русак, Изиль Иванович; а Изиль — значит: «Исполняй заветы Ильича»...

Но на этой теме не застряли, а стали говорить о женщинах, подначивали Узлова поделиться опытом, привлекая случаи из жизни и примеры из отечественной и зарубежной литературы. Были названы Гришка Распутин — в изображении Пикуля (тут, к слову, похвалили Пикуля), Дон Гуан в трактовке Высоцкого (по общему мнению, Володя с задачей отлично справился) и даже маркиз де Сад, единодушно осужденный купальщиками «извращенец».

Узлов в начале этого разговора был всего лишь внимательным слушателем. Но Валька Кочар, ускоряя движение и развитие темы, живописал интригующий острый сюжет, как он праздновал день рождения одного случайного приятеля, между прочим, финна по национальности; как пошли провожать гостей хозяева и разбрелись по параллельным улицам, а он на обратном пути оказался вдвоем с молодой супругой финна-приятеля, между прочим, молдаванкой по национальности; как он, ошалев от внезапной страсти, вспомнил свое бурное отрочество и затащил пылкую женщину в первый попавшийся парадник, а другой раз, уже в доме этого приятеля, — не друга, друг — святое дело, подчеркнул Кочар, а приятеля, — имея крайне мало времени, они с той же горячей молдаванкой заперли входную дверь и сошлись в крутом объятии, не снимая парадных одежд, обнажив лишь необходимые поверхности, и раздались мужнин звонок у входа как раз в тот самый момент, когда, ну, сами понимаете... Хотя, при всей остроте поворотов любезной темы, собеседники и в ней держались некой цензурной осторожности, как бы испытывая новых участников банной компании — московского гостя и нас, артистов, пришлых, а может быть, и чужаков, — по всему чувствовалось, что у них в запасе есть и другая степень откровенности и остроты.

Валькину историю Узлов выслушал не поморщившись, но по отвердевшему зрачку я понял, что он улавливает в ней те степени цинизма и распушенности, которые были и ему не по нутру. Одно дело рассказать о женщине доверенному другу, другое — банным собутыльникам.

Нет, нет, опять не так! Опять я хочу его приукрасить, опять мерю на свой аршин! Лживое время, лживые люди, и я самый лживый из них...

Разве не сносил я и страшных его историй, разве не погибал вместе с ним в сладострастном дурмане, не в силах остановить постыдных картинок?!

Вот она, мальчиговая Раюша из женского общежития ниточной фабрики со своей блатной песенкой, отрывная пацанка, к которой он лазал по водосточной трубе на последний этаж, вот и коечка узкая, одна из шести, и свальная случка, и поножовщина, и побег, и привод!..

Вот и Зойка-керосинница, которая вместе с керосином раздавала себя — как бесплатное приложение — и выкидывала разные цирковые штучки . . .

Зачем он рассказывал мне о своей мужской дороге?! Дьявол, дьявол и змей, знавший меня, как никто! . . .

Полно, Сержант, твой герой не святой, да и женщины здесь, на земле, проживут без прикрас. Ты их боялся всю жизнь, и недаром боялся: в них было чего избегать . . .

47

И Петя Алейников рассказал анекдот. И все пошли охладиться под водопад. А когда вернулись к столу, Попов, до времени молчавший, стал вдруг излагать содержание «Мемуаров» Казановы и сцены из фильмов Феллини, которые он просмотрел. В Австрии — вот где.

Бедная Австрия! Пришлось тебе потерпеть и Попова! . . . Показалось ему, то есть Попову, что у Феллини Казанова слабоват и даже скучен; что в фильме большая нехватка крутых сцен; что, когда он, Попов, учился в ВПШ или в каком-то другом аббревиатурном заведении, однако именно в Москве, он лично читал «Мемуары» Казановы, — и пересказал нам два эпизода: как автор, то есть Казанова, хотел одну, а его в темноте перехватила старуха, а он не разобрался и как он бросал на диван тринадцатилетнюю девочку, дочку хозяина гостиницы. Попова слушали с большим вниманием, а он, излагая, перемежал выражения протокольные с уличными и научнообразные с подлыми так, что получалась какая-то дикая смесь: «имеет место быть» и «точил» или, например, «контус» и «очко играет» — черт знает что! . . . В изображении Попова маэстро Казанова выходил ужасно примитивным бабником, кем-то вроде исполкомовского кудрявчика Вальки Кочара. Недаром Валька, аплодируя Попову, комментировал:

— Ну, наш человек! . . . Ну, наш! . . . Егерь-многостаночник! . . . — и эта похвала могла относиться одновременно и к Джакомо Казанове, и к белоглазому рассказчику, товарищу А. Б. Попову. (Учтите, однако, что слово «егерь» я передаю несколько неточно: В. С. Кочар вставлял в него другие буквы.)

И вот тут отозвался разогретый Узлов, тут он и вступил, обращаясь к Вальке:

— «Егерь» — ты. И он — вроде «егеря», — Осип кивнул на Попова. — Казанова — не «егерь» . . .

— А кто же по-твоему? — Кочар оскорбился: зачем так неуважительно говорить о Попове, что он себе позволяет, этот артист, сто шестьдесят чистыми в месяц, сказал бы спасибо, что кормят его тут и поят на халяву. — Ну, выступай, выступай, послушаем.

Узлов внимательно посмотрел на меня.

— Казанова — артист . . .

— Ну, — иронически поддержал его Кочар, — а я что говорю? Конечно, артист: егерь-исполнитель.

— Не суетись под клиентом, Валя, — улыбнулся Осип, в его улыбочке и тоне проскользнула полузабытая лагерная опасность. Он снова посмотрел на меня. — Казанова — я бы сказал . . . Посланник . . . Или проводник . . .

— Проводник? Ну, дает артист . . . Посланник . . . Чей?

— Еще бы ты понял . . .

— Постой, постой, — Валька оглядывал компанию, чувствуя, что попадает в невыгодное положение. — Ты что грубишь?

— Отдыхай, Кочар, — ласково вмешался Буркин, глядя на Хлебанова, — дай человеку сказать.

— Да, в общем, все... — И все же он добавил после паузы: — Таких в школе дразнят — «девчачий пастух»... Есть разница?.. Казанова — «девчачий пастух»...

Стоп. Буркин, Буркин. Он все время посматривал на москвича. И Вальку осаживал, как бы в угоду Хлебанову. Вот. Вот оно что!..

Они потянули Узлова в свой круг не просто так, не ради шутовства, не из любви к искусству. Они подумали, что Осип связан с Хлебановым по делу, что тот может Узлову доверять больше, чем им. Они могли решить, что Осипа можно использовать для связи, для темных поручений...

Они, может быть, в чем-то открылись Узлову потом, попозже. Недаром после отъезда Хлебанова Осип был приглашен на самую тайную дачку для первых лиц, и там гуляли «паханы» покруче Попова и Буркина.

А Хлебанов назвал как бы вскользь еще одно московское имечко... У Осипа приятелем Хлебанов, а Хлебанов накоротке с Дубановым, а у Дубанова в родственниках, страшно сказать, сам Бабанов...

Вот она, серьезная версия...

Да, все это были охотнички, стрелки, егеря. Егеря-многостаночники...

48

Вы, конечно, понимаете, почему меня тянет избегать подлых слов и точных имен. Но я-то сам, кажется, этого еще отчетливо не понимаю. Разберем, если получится.

Кто-то меня дергает, кто-то меня осаживает: «Не пиши «е-рь», а пиши «егерь», не пиши «Б-в», а пиши «Бабанов». Но ведь есть, есть разница. В первом случае стыдно, а во втором страшно. Значит, моими действиями и пером руководят стыд и страх.

Так ли уж плох в данном случае стыд? Появилось много подвижников от литературы, которые пользуются матом как художественным приемом. Хотя до Узлова им далеко. Я, в отличие от них, решаю только сообщить об этом, только намекнуть, хотя, переступив через себя, мог бы и наизусть привести глобальные узловские построения, в которых использованы традиционные материалы наряду с новаторскими приемами. Неслыханные его сочетания и необычные сдвиги известных форм всегда давали взрывные и неожиданные эффекты; в закрытом докладе серьезный ученый имел бы все возможности проследить в многоэтажных узловских импровизациях элементы гиперреализма, позднего модерна, а также сюрреалистической подкорковой освобожденности. Во всяком случае, наш общий друг, кандидат медицинских наук Алексей Викторович Зубнов, иногда просил Осипа открыть под настроение один-два выхода в черные дыры астралосигмаклизматика, или, как он выражался, показать «Сильву с разворотом». И Узлов показывал. Повторяю, я мог бы воспользоваться своей послушной актерской памятью и выдать несколько фрагментов развернутой «Сильвы», но это было бы насилием над собой. Когда я в пьяном виде, из меня еще можно выжать два-три выражения, от которых на другой день мучаюсь, доходя до комы.

Нет, бесстыдство не для меня. От стыда не хочу отказываться, он у меня врожденный и воспитанный матерью. Едва я слышу что-нибудь касающееся ее имени или образа, как вижу могилу ее, на которой вот уже три месяца не был, стиснутую со всех сторон, заросшую дикой травой и кровавой историей. Не смей ругаться, Осип!.. И ты, сынок, избегай подлых выражений...

Но страх... Впрочем, не всякий... Страх не однороден. И не

однозначен. Страх не один. Существует страх такого рода, без которого ты — не человек. Божий страх — такая же точно нравственная необходимость, как стыд. Есть спасительный страх небесного суда, чувство благородное и зиждительное, останавливающее на пороге преступления...

И есть рабский страх, липкий, как пот, собачий, бессовестный, тот, от которого я меняю буквы не в ругательствах, а в именах, темных и подлых именах, еще никем не названных. Это страх за свою шкуру, а не за душу. Это страх мужика перед урками, страх тюрьмы и лагеря в наказание за правду и веру. И этого-то страха мне еще более стыдно. Простите меня, если можете, и не бойтесь никого на земле, свободные дети Узлова!.. И ты никого не бойся, сынок. Господь вас храни.

49

... Взаимная доверчивость в банке росла, но каждый из «наших» старался как бы вскользь, как бы невзначай вернуть при москвиче, при нашем друге, при товарище Хлебанове, что-нибудь простецки верноподданое, что-нибудь восхищенно товарищеское по поводу нашего дорогого Дубанова, что-нибудь надрывно партийное в бабановском направлении; мы с Узловым перестали их смущать и сдерживать. Никто посторонний не мог постичь и понять их черного труда, кровавого усердия, которым только и дается настоящий, непоказной, единый и единственный порядок, порядок, порядок. Вот только волюшки настоящей нет, вот только руки — верные, надежные — не развязаны как следует.

В такой вот душевной открытости, взаимной дружественной приязни и оголенности и была, кстати, поименована вся та нечисть, что мешает жить нам и нашему прекрасному обществу, что напрашивается на железную частую метлу: и диссидент, между прочим, и подопечный контингент, то бишь «рецидив», «бомж» и «псих ненормальный». «Всякая шиза», как метко определил Валентин Исполкомович Кочар... Кочмар... Кошмар...

Да, всякая шиза, всякий псих ненормальный. За что зацепились? Отчего вышли на тему?.. Ага, тюрьма битком, сидят друг на друге, психушка тоже битком, посадочных мест давно не хватает. Какой выход? Либо строй новые корпуса, либо очищай замкнутое пространство. Приток большой, не сравнить с оттоком. В нашей «желтухе» тридцать семь корпусов, а тесно. Профессор Шелудяк, уж на что безотказный санитар, и тот жалуется. Приток никак не сравнить с оттоком. Вот если б отток был налажен не хуже притока. Хотя профессор Димергофт иногда мешает притоку. С бородой. Не Димергофт, а Дитергоф, между прочим, немец по национальности...

И Петя Алейников, протачок, обаяшечка, ненавязчиво так, к слову, в полушуточку пускает такой пробный шарик в сторону московского дорогого гостя:

— А что, Игорь Меркулович, может, насчет психически неполноценных, ну, всякой этой шизы вялотекущей, может, и не совсем неправ был Адик?.. Он-то их подбирал чистенько?..

Помню, что я не врубился, не внял этой мысли тотчас же, потому что не сразу догадался об Адике.

Игорь Меркулович Хлебанов отвечал как-то нечетко, уклончиво, хотя и не отрицательно, что-то вроде «как посмотреть», нет, не «как посмотреть», по-другому, но именно уклончиво, а не категорически.

«Что же это за Адик?» — думаю. Ни о каком Адике сегодня речи не было, и в компании никого так не называли. Может, Дубанова Адиком зовут или самого Бабанова? И пока я оглядываю багровеющие

лица пекущихся о благе родины серьезных людей, пока замедленно и пьяно размышляю о притоке и оттоке, разговор уходит дальше и вглубь, размывается теоретически, оклеивается социальной терминологией. Тут и Попов вставляет свой взвешенный абзац, и Буркин авторитетно буркает. И тогда с опозданием меня как кипятком обдаёт: Адик, Адик — ведь это он — о Гитлере, ведь это фюрер у него так ласково зашифрован, Адольф, Адик, гениальный и окончательный преобразователь вопросов национал-психиатрической помощи!.. Как же, он действительно своих психов ненормальных чистенько подбирал, он организовывал отток больше притока, он очищал больничные площади...

Я вижу Колечку, слюнвявого сына Вали Конопыровой, артистки второй категории, вижу тихого дебила шестнадцати лет, с которым она промаялась всю свою бедную молодость и будет маяться до конца; вижу, как он размазывает по губам коричневую конфету, готовый за нее руку мне поцеловать, и толстыми пальцами играет на казенном пианино первые гаммы, вот уже семь лет — и все первые...

Я вижу Мету Колбину, ребеночка сорока пяти лет, с детства круглую сироту, отмеченную Божьим клеймом аутизма и базедовой болезнью, которой я всю жизнь добываю, где можно, спасительный тиреоидин; вот уже в который раз она заканчивает свою школу: пишет дома в тетрадочках примеры и другие уроки, сама себе ставит отметки, сама переводит себя в следующий класс и сурово наказывает второгодничеством. Тогда она нервна, требовательна, ругает школьные учебники, пишет мне заявки на новые, читает газету «Красная звезда» и беседует, как с родным, со старым своим черно-белым телевизором; в редких письмах сообщает она мне о полученных по почте посылочках и о том, как провела день своего рождения: «Метик пошел в магазин, купил помидорок на 27 коп., огурчиков на 35 коп., купил тетрадок 5 штук, две резиночки и побаловал себя лимонадиком». Да, были такие цены, да, так она мне писала о себе, в третьем лице и в мужском роде. Окончив четвертый класс, она после каникул возвращается к нуликам и палочкам, и опять все сначала, и опять, и опять... Но стоит при встрече задать ей вопрос: «Мета, а какой день был 27 августа 1267 года?», как она незамедлительно ответит: «Четверг, неужели неясно?». И ступайте смотреть хронологические справочники и убеждайтесь, что так оно и есть, что названный наобум день был именно четвергом, и никаким другим днем недели не мог оказаться. Чудо. В цирке бы ей выступать с этой редкой способностью, да тяжела на подъем и не очень, мягко говоря, сценична. Но какая роскошная свобода в обращении с прошлым и будущим, потому что она так же быстро отвечает и о будущем, какое провидение темных для нас календарей: 22 апреля 2073 года, пожалуйста, воскресенье.

... День был легкий, продувной, к тому же воскресный, по церковному календарю Троица, со всеми вытекающими из этой даты долгами и ожиданиями...

Так значит, и Мету, и Колечку, и туманных сумеречных философов, и несчастных пугаников, и величавых шизоидов, и дрожащих самообвинителей, значит, всех выродившихся отпрысков подлой подворотни и униженного дворянства, всех их, меланхолически замедленных и маниакально ускоренных в речи и действии, истинных фантастов убогой действительности, в терновых венках паранойи и истерики, пролетариев непосильного умственного труда, зачатых во смраде, ужасе и безбожии, всех блаженных и нищих духом хотя бы наши товарищи, по примеру мудрого Адика, спасая здоровую наследственность и чистоту родины, сдать по акту в костлявые руки ведомства Морг, вручить отеческой глине, ради светлого будущего и прекрасной мечты поколений... ради здравого смысла и здравого быдла...

Я не помню, что я мычал им в красные глаза, что за невнятицу плел в сухой парилке, согретый их водкой, их каменкой, их торжеством. Помню лишь, что поскользнулся на мыле, ударился задом о желтые доски пола, всхлипнул спяна, вызвал глубокий и дружный смех и сам себе показался неполноценным психически, подлежащим вычеркиванию из списков обновленного общества здоровых и сильных, допущенных пользоваться внутренним покоем государства.

Я выдал себя, и цвет встречи переменялся, рискованные темы разом оставили, и Узлов сказал, что мне хватит, пора вон, что мне надлежит выступать сегодня, стоять с алебардой при Лисицком и Глуховой, и хорошо бы с немедленной оказией отправить меня домой. Я обиделся, уходя, сказал: «Прощайте, господа!», и была мне оказана нежная забота ефрейторами биатлона и старшинами банного ристалища, и в руках могучего водителя оказался я, а потом — поперек заднего сиденья летающей тарелки на вечерней заре бесконечно горького века...

— Ну вот, — сказал мне Узлов на другой день, — бери тебя после этого в разведку...

50

— Грешен, — сказал я отцу Леониду, и он понимающе кивнул красивой головой. Нужно было продолжить, но продолжать было трудно.

— Вчерашнее пьянство — на лице твоём, что далее? — сказал он. Я взял в ладони свои тяжелые скулы, судорожно вздохнул и спросил:

— Как быть с Казановой, отец Леонид?

Помедлив секунду, он отбил мой вопрос:

— А надо ли быть с ним?

— Так получилось, — сказал я.

Священник нахмурился, отвратил от меня испытующий взор и спросил:

— Прелюбодействовал?

— Завидовал, — ответил я.

Он встал и отошел от меня.

— Прочсть почти нечего... У Цвейга есть что-то умное...

Теперь он помолчал подольше и, что-то решив, вернулся ко мне.

— Чему завидовал? Жалкая старость. Скверная кончина, — словно утверждая диагноз, произнес он. — Кайся и ступай... Бог с тобою... Ступай.

До загорской учебы отец Леонид работал детским врачом, много оперировал, по примеру любимого им Войно-Ясенецкого, но, в отличие от прославленного епископа и автора «Гнойной хирургии», решительно оставил врачевание, принял монашество и целиком посвятил себя служению.

Каково было быть монахом красивому, рослому, сильному сорокалетнему мужику, в которого поневоле влюблялись честные прихожанки, а нечестные нагло бегали в церковь и стояли, не покрыв головы, только затем, чтобы на него посмотреть да себя показать; каково было отцу Леониду не замечать этого или делать вид, что не замечает, проплывая в молитве над липкой бабьей похотью, усмиряя ее духовной волей, — можно было только предполагать.

В гости он почти не ходил; если обещал, то долго откладывал, а уж если и наносил три-четыре раза в году светские визиты самым доверенным, то с наслаждением ел борщ с пампушками под чесночным соусом и все остальное, что Бог послал, а после трапезы, отводя душу, пел вкусным баритоном украинские народные песни.

Роскошным сольным номером выходила у него знаменитая «Ой, не ходы, Грицю, тай на вэчорныцю, бо на вэчорници дивки-чаривници...» В эти мгновения я, грешным делом, представлял себе туманное прошлое молодого медика, наподобие песенного Грица не пропускавшего студенческих вечериц и вовсе не чуравшегося чарующих участниц...

В дни моей семейной идиллии доармянского периода бывал отец Леонид и у меня, и тут за разговором мелькнуло, что он полтавчанин и рожден на вулице Петра Великого. Вот и все, что я знал о нем как о частном лице.

Священник он был одареннейший, и все, что делал: крестил ли, венчал или исповедовал, отпевал ли, причащал, читал ли проповедь или отправлял будничную службу, — он делал с таким умом, тщанием и любовью к обряду, с таким непоказным воодушевлением, что даже известные заранее слова становились на редкость живы и проникновенны.

Глядя на него и слушая его голос, я думал: вот великие тексты и вот единая роль, да простит мне Господь мою профессиональную ограниченность. И в то же время понимал, что мне такая роль по тысяче причин недоступна.

Случались дни, когда мой духовник прочно запирали двери своей прицерковной кельи (рядом с храмом, в окружении нескольких сохранившихся могил его прежних настоятелей, оставлен был в живых и маленький одноэтажный домик священника) и круглые сутки проводил в посте и молитве...

Церковь Всех Святых — памятник.

Пойти вниз от останковки двадцатого, обогнуть газетный киоск, свернуть налево к запущенному садику и обрадоваться главной макровке маленького изящного собора — счастливому знаку неоконченности дневных итогов.

Вдоль обводящей дорожки и чуть выше нее — кованый забор, а в нем — воротца, с крестом, с двумя калитками пообок, и надо всей входной триадой — полукруглый, широкий, укрывающий от дождя и снега козырек. Воротца поставлены почти вплотную к ажурному кованому крыльцу, над которым три окошка, а уж над ними, как бы третьим этажом, — еще один, малый куполок, с останковки еще не видный, но составляющий с главным братский союз. В малом куполе с облезлой позолотой прорезаны полукруглые оконца, и от этого неглавного притвора к главному ведет одноэтажная, всего в четыре квадратных проруба, переходная галерейка, а там, венчая еле заметную горку, сама башня с главным куполом, на которую привинчена доска: «Церковь Всех Святых, конец XVIII века. Охраняется государством»...

Вот так. Тысячи церквей порушило, а на тысяча первом досочку повесило: «Охраняется».

Полно вам, кочерыжки! Богом она охраняется, а не государством!..

51

Не знаю, какого рожна в тот легкий, продувной майский день, когда город проглотил вест о смерти Узлова, меня снова понесло из дома на улицу. Сначала — к магазину, где я в качестве третьего был угощен интеллигентными грузчиками. Потом — на Волгоградскую и в губернаторский парк. А после — и в театр.

Спрашивали о тайнике, как будто сговорились. Как будто все вдруг дали добровольную подписку играть глупые роли в криминальной пьеске местного автора. Как будто я взялся ее остановить...

Дулегов разоткровенничался и стал намекать на возможность

ежемесячных побочных вознаграждений, а потом пригрозил каким-то номером уголовной статьи «за недоносительство»: «Где тайник?»... Я ушел от греха подальше в нашу гримерку, заперся и сел за дулеговский столик. Это и было место Осипа Узлова, которое тотчас по его уходу поспешил занять новоявленный парторг.

Зеркало было тройное, старинное, мощного хрустального стекла, с потускневшими дожелта углами, трещинами и железной заклепкой на правой створке. Я не увидел в нем ни себя, ни Дулегова. Только Узлов смотрел на меня с привычной своей ухмылкой и ничего не хотел отвечать на мой вопрос о том, что же случилось в Москве...

В дверь стали усиленно стучать, и пришлось ее открыть, причем не кому-нибудь, а лично товарищу Азе Парамоновой, о которой я подробно расскажу позднее, а пока назову лишь ее высокую должность: третий секретарь обкома по идеологии и доверенный Бюст нашего Первого.

Аза огляделась по сторонам, махнула ручкой Дулегову, чтобы оставил нас вдвоем, и стала ворковать о том, что я давно уже заслуживаю звания заслуженного, а она не понимает, почему Турин не подает на меня документы.

— Вот вместе с Дулеговым дадим и тебе, — сказала она.

— Кто даст? — спросил я.

— Мы дадим, — твердо отвечала Аза.

— Вы о себе во множественном?

— А почему бы и нет? — игриво прищурилась она. — Сказала и дадим.

— Вы дадите мне с Дулеговым? — тупо переспрашивал я, стыдясь своего цинизма.

— Да, да, дам, — многообещающе успокаивала она.

— Я с Дулеговым не хочу, — капризничал я.

— Ну, Сережа, у нас своя политика, кому и с кем давать, это даже и не обсуждается. Так что ты не привередничай, а лучше скажи мне — как другу...

— Где тайник? — перебил я ее с армянским акцентом, — Вот и я думаю, где. — Я вышел из гримерки, не извинившись перед дамой.

У винного магазина, где под конфетку богатым наливали коньяк с шампанским, на фоне нарядной витрины с мягкой шляпой в нервной руке меня караулил Валька Кочар.

— Сергей, — сказал он, — от тебя зависит.

— Что? — спросил я, не отступая от предложенной логики.

— Все.

— И «Северное сияние»?

— Да, да, зайдем.

Мы зашли в магазин, и Валька внимательно и терпеливо смотрел мне в рот все время, пока я не допил свои, вернее его, «сто» и «сто пятьдесят». Себе он не позволил. Когда мы вышли на волю и я вдумчиво раскурил «Беломорину», он начал сначала:

— От тебя зависит все.

— Загадка, — сказал я, и он тут же начал раздражаться.

— Загадки нет, — сказал Кочар, крутя мягкую шляпу перед причинным местом, — тайник какой-то есть. С бумагами.

— Ну и что? — спросил я и отнял у него измученный головной убор. — Разве это повод к тому, чтобы так перевозбуждаться?

Я засмотрелся на себя в витрину, как в зеркало: шляпа мне шла. — Ну, ты Ваньку-то не валяй! — нагрубил он и снова взял себя в руки. — Ты послушай... Ты ведь все знаешь, начиная с баньки...

— Баньки, Ваньки, — повторил я за ним раздумчиво и предложил на полном серьезе: — Слушай, Кочар, поступай к нам в театр, мы тебя во вспомсостав зачислим, рублей сорок в месяц дадим...

Больше сдерживать себя он не мог и, взглянув на часы, сказал kloкочущим тенором:

— Не отдашь тайник, мы будем тебя карать.

— Кто — вы? — спросил я. — Кто персонально?

— Я, — железным голосом комиссара пообещал Валька.

— Как это — карать? Чем? — мои наивные вопросы приводили его в неистовство, но вокруг были люди — служащие, пенсионеры, домохозяйки, учащиеся, — и он обязан был считаться с этим, как государственному мужу.

— Ты, клоун, слушай сюда, — ласково запел он, держа улыбку и снимая с моей головы свою неуместную шляпу. — Я с тобой еще за Соню не рассчитался, береги себя.

— Соня мне ничего не должна, — спел я в тон ему. У нас получался вполне оперный рецитатив.

— Должна, должна, сука, и тебе, своднику, и твоему дон-жуану гребаному...

— Не надо уличных выражений, Валентин Саввич, не надо уличных слов на улице имени Карла Маркса, вождя мирового пролетариата. А то я тебя, гнида исполкомовская, сам покараю, не отходя от кассы.

И я произвел резкое обманное движение из блатного репертуара, как бы посягая на его обиженные органы. Валька присел, прикрывая оба своих паха мягкими руками, и тут же, бледный, выпрямился.

— Ну, паяц сиреневый, два часа тебе сроку, — сказал он. — Через два часа начнем карать.

Он сделал паузу, отошел на шаг и, повернувшись ко мне, сказал белыми губами:

— Не ему, так тебе пасть порву, лично...

— Беги, сука! — снова пугнул его я, и он побежал через парк, мимо часовни.

Я смотрел ему вслед, ища объяснения новым толчкам глухой тревоги. Во-о-от!.. Конечно... Подлым текстом, коварной повадкой, благопристойным обликом Валентин Исполкомович Кочар обращался в двойника партийного дуэлянта Левченко...

А я?

Я тоже сыграл чужой эпизод... Из роли артиста Узлова...

52

Снова задрезжал стеклами книжный шкаф, и на фоне дрогнувших занавесок появилась Гюзель Халилеева.

Разве я не запер дверей?.. Крупной дрожью ударил мне в спину диван, я вскочил, отбросив зеленый плед, и мимо нее выпрыгнул в коридорчик: входная была нараспах, отчего — думать некогда, я рванул ее на себя, прижал к раме, щелкнул замком, вогнал в ушко засов, утопил в пазу ключ и сдернул книзу цепочку...

Летний пыльник затоптаным белым кругом лежал на полу, светя вверх; она раздевалась, не глядя на меня, швыряя нарядные тряпицы, переступая тонкой ногой через темный подол; смуглые руки взвивались вверх, выворачивая наизнанку душу мою, как прозрачную блузочку, лишняя тесьма упала со спины. Лихорадка победила бедное мое жилье, запах чужого счастья ударил в голову, когда распался красный пояс и ничто постороннее больше не касалось звенящей струны между худых лопаток. Господи, за что мне это испытание?!

И вот уже схвачен зеленый плед, и пролетел перед моими глазами, и скрыл полудетские таинства, и — взошла на диван, и такие рыдания достались ему, каких я не слышал в прежней жизни ни от

одной женщины. Она целовала в слезах давленный валик, гладила лбом тертый ковровый ворс на битой стене, торопила гортанные строки татарских молитв, приглушая высокие ноты, чуя незащищенность жилья, где она стала женщиной...

Я направил на нее оба экрана ладоней и велел утихать, не насылая слов, посылая приказ протяженным усилием воли, отнимая горячую дрожь за два метра от бьющейся цели; сердце ее забилося ровней, и рыдания стали сходиться на нет...

Все случилось так быстро, что время хлестнуло назад, и я увидел Узлова, чей жест повторил инстинктивно...

— Подойди, — приказала Гюзель, и я сел на краешек рядом.

— Он был в Москве не со мной, — и взглянула в глаза.

Я молчал.

— Разденься. Ложись. Возьми меня, — сказала она.

Все на свете, что можно узнать про нее, про любовь и гордыню, про обиду и жажду тотчас отомстить и обжечься о новый огонь; все, что с ней случится наперед за мгновенную женскую жизнь, от девочки до старушки, — все мне открылось новым путем, от ладоней к глазам, и запало в душу, все... кино — про мужа, сына и развод — промелькнуло на тех скоростях, какие прежде были мне недоступны. Радость моя, зачем ты торопишься мимо?..

Я тесней завернул ее в плед и, боясь коснуться осиротевшего тела, тихо приблизил к себе. Темные стриженные волосы обожгли мне щеку, горячая голова легла на левое плечо, и Гюзель замерла, угадав свою позу и место. Мне достались все иглы, вся жуть ее ревнивого испытания; я устал, как от бешеной драки, но ей стало теперь легче.

Мы молчали. Двоем? Нет, втроем. Разве его не было с нами? И не он ли устроил нам такой день?..

53

— Есть женщины-табу, — сказал мне однажды Узлов. — На лбу написано... Прочел — уходи...

Слышать это от него было странно.

— Не говори загадками, — попросил я, — это интересно.

— Дозреешь... У таких на лбу написано...

— Ты уходил?

— Уходил, что делать...

— Ты?..

— Ну я... Прав не хватало...

— Каких? — Он молчал. — А теперь хватает?

— Теперь-то да...

Мы сидели на низкой скамье с тяжелыми чугунными ножками, вдавленными в свежую зелень старого парка, чуть поодаль от боковой тропинки. Бешено кустился жасмин, повитый диким вьюнком, каркали вороны. Угол был украшен и вечерами шел внаем солдатам, а по ночам — студентам, искавшим, где бы сдать зачеты по практике любовных бессонниц. Место охранялось орешинной чуть ли не в три обхвата, но такой высоченной и неиспорченной, так чувственно проникавшей могучими руками в летнее небо, что при одном взгляде на нее становилось легче на душе.

По утрам, после ненасытных схваток с приведенной на ночь подругой, отпустив ее восвояси, Осип торопил меня выйти пораньше, чтобы иметь возможность задержаться в парке и хоть четверть часа до репетиции побыть у орешины.

Он обнаружил ее ранней зимой, таская меня по первому снегу с улицы на улицу, из парка в парк, травя анекдоты и пересказывая

смешные случаи, но, в то же время, внимательно вглядываясь в подножья и лица деревьев. Как он обрадовался, найдя орешину, нельзя сказать. Словно породистый пес, Узлов принял стойку и тихо засмеялся. Помедлив минуту и забыв обо мне, он осторожно приблизился к стволу, раскинув руки в объятии, прижался всем телом и лицом к теплой даже на взгляд коре. Мне показалось, что он целовал ее. Потом он повернулся к орешине боком, левым, и прижался щекой, заведя левую руку, глядя ладонью дорогую кору. И еще постоял — спиной, прижав к дереву затылок, блаженно прикрывая глаза...

Я всматривался в дерево, стараясь понять, что привлекло Узлова именно к нему, и сначала ничего не заметил. Но поведение Осипа было так странно, что даже я, невнимательный к жизни природы, разглядел разницу между орешинкой и остальным древесным населением парка.

У ее подножья не было снега. Под каждым из окружающих стволов снег был, а под орешинкой не было. И не ветви защитили от белого покрова большой круг земли (под другие кроны снегу все равно нанесло), а что-то другое. Может быть, ореховое тепло. Назову это теплом...

Вот и теперь, оборвав разговор о женщинах-табу, Осип обошел скамью и, став вплотную к орешине, вытянул руки вверх. В эту секунду меня полоснул по глазам солнечный луч. Я подумал, что какая-нибудь девица пускает зайчиков в надежде на узловскую взаимность. Но от мгновенной слепоты до радужного прозрения в сознании запечатлелись три негатива.

Узлова под деревом нет...

Он в той же позе, но гораздо выше по стволу...

И опять Узлов — еще выше, медленно уплывающий в крону...

Я помотал головой, досадуя на чью-то шалость, пытаюсь отыскать взглядом прячущуюся девчонку или пацана с зеркальцем, но Осип был рядом со мной, у скамьи, и, коснувшись моего плеча, сказал:

— Пошли.

54

...Он владел секретом стремительного приближенья. И расставались с ним благодарно. В конце концов, пусть это была не любовь, а ее наваждение, игра в нее, напоминание о ней или предположение о любви.

Мы должны ревновать, мучиться, обливаться кровью, чтобы сказать с твердостью: да, это была любовь. Узлов обходился без муки. А я хотел обойтись.

Как прожить, если Бог обошел: ты — не Дант и она — не Беатриче? .. Он знал. Он учил спасаться от грязи в испарине здешних болот. Он учил легкому расставанию.

Кто же знал, что Гюзель — исключенье из правил, что она появилась на свет со своей неуступчивой ролью? Кто мог разглядеть, что она — тоже табу и на лбу ее невидимый знак, если даже он не прочел? ..

55

В третий раз крупно задрожал книжный шкаф, поехали стекла дешевого серванта, сдвинулись полки. Книги одна за другой шлепались на пол, раскачивая абажур. Что-то разбилось на кухне. Что? Электрический свет среди белого дня стал самовольно возгораться и гаснуть в прихожей и комнате. Загудел чиненый телевизор, не подключенный к сети...

Вы не поверите мне, но свидетелей было по меньшей мере двое, я и Гюзель. Нет, не землетрясение, другое.

Кто-то бил в стены снаружи, — пятый этаж! — за окнами раздавались глухие шлепки и ворчанье; включился звонок, я заорал:

— Кто там!

Ответа не было.

— Одевайся, Гюзель, — крикнул я, — одевайся скорей!

В совмещенке и на кухне с шумом полилась вода, я попытался ее перекрыть, но закрученные краны вертелись обратно, и у меня ничего не выходило.

Она была уже одета и, прижав пыльник к горлу, смотрела на меня широко открытыми обсидиановыми глазами.

В это мгновение распахнулась дверь чулана, или «тещиной комнаты», как у нас говорят, и большой деревянный чемодан, довоенная реликвия, с грохотом выпал наружу: никто его не касался сто лет; старушечьи боты, драные женские сапоги, скрюченные старые кеды, сношенные детские ботиночки, одинокие перчатки, сломанные замки и прочая домашняя рухлядь рассыпалась нам под ноги...

Вам легко, вы подскажите мне, каким иностранным словом назвать описанное явление, вы читали о нем в беспардонных газетках, но ведь это случилось в те дни, когда я не имел объяснений; и только тревожный гул в висках, морзянка нездешних сил, безумная подсказочка инстинкта внушали мне, что это для нас не смертельно и где-то есть путь к чудесному спасенью.

Домашний мир бунтовал, не щадя самого себя, и зрелище завораживало. Но когда резко перевернулся обеденный стол и по его изнанке наискось красным цветом проступили слова: «РВИ КОГТИ, СЕРЖАНТ!» — я поступил по веленью.

Схватив за руку Гюзель, я выдернул ее в тесный коридорчик и резко отомкнул запоры, оставляя на стеме только короткую цепь. На лестнице не было людей; мы ринулись вниз, и только на втором этаже я услышал, как защелкнулся там, наверху, на пятом, дверной замок в моей потрясенной квартире...

Жилмассив, жилмассив!.. Воскресный, слепополуденный, винный, доминошный, многодетный, колясочный, мусорный, блеклый!.. Мир тебе, муравейник любимой страны; не гляди ты на нас, на двоих, сумасшедших от страха, бегущих между домами, заблудившихся в спальном районе, возле редких деревьев и попранных клумб! Спрячь свои номерные значки, полукруглые, вниз головами, в идиотском порядке, спрячь поруганные автоматы! Мы спасемся, не надо за нами следить, мы прорвемся к мосту над железной дорогой, и у нас под ногами он гулко вздохнет и прогнется. За нашими спинами наберет скорость драная электричка, и наискось, через непыльный пустырь с крапивой, ромашкой и лютиком, мы выскочим к длинным заборам овощных складов. Все!.. Теперь к нам не нужно таскать потемну ворованную картошку пятерка мешок, мы уходим, ушли от погони, кто нам подсказал этот путь?..

«На последнюю пятерку, — пел Осип (ах, как он это пел!), — найму тройку порезвей. Дам я кучеру на водку. Погоняй, брат, веселей...»

У меня оставалось семь рублей, семь потайных последних целковых в глубоком пистоне брючат, и я отдал их полупьяному мальцу, водителю веселого «пазика», на котором мы понеслись до самой Боголеповки, где у Осипа была еще одна нора — шестиметровая глухая комнатуха в махровой коммуналке, а у Гюзели — и ключик от нее.

Хорошо мы неслись по воскресной дорожке, хорошо нас бросало в небо на гремучих рессорах, на колдобинах опасного приключения, потому хорошо, что я обнимал ее за плечики.

«Ой вы, кони, вы, кони дорогие, унесите вы меня, дайте грезы

мне золотые...» — Он и на сцене не разыгрывал песню, а пел, доверяя голосу, мелодии и словам... — «Кого-то нет, кого-то жаль, к кому-то сердце рвется вдаль; я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет; я вам скажу секрет другой: кого люблю, всегда со мной...»

Да, комнатуха, угол, шесть метров, пенал... Я и забыл про нее, как же это я про нее забыл?.. Не потому ли, что с тех пор, как ушла к армянину и притихла там моя благоверная, мы с Осипом зажили у меня, двое свободных, почти разведенных мужчин в полунашей распашонке, в блочной пятиэтажной хрущевской отдельности, да и отъезжать он стал от меня не в свой угол, а то в Москву, то к какой-нибудь алчущей любви даме, владелице жилой или дачной площади. Ничто его не держало, даже Гюзель. Любил он исчезать, пока не исчез окончательно, любил срываться с места...

«Там за белой пылью, в замети скользя, небылицей-былью — жаркие глаза. Былью-небылицей очи предо мной. Так быстрее, быстрее же, птица, шибче, коренной!..»

Пел — как жил; не разыгрывал, вроде некоторых, пел, влюбленный в саму песню, — со вздохом, внезапной паузой, с неотвратимым ускорением, разговорной перебивкой, с мольбой, с проклятием, с посвистом...

«Эх вы, кони, кони-звери, кони-звери, эй!.. Черные да серые, черные да серые, черные да серые да медвежий мех!..»

А комнатуха досталась ему через Вальку Кочара, и, конечно же, не без приказа «больших». Ведя свою игру, они пообещали Узлову и отдельную однокомнатную с улучшенной планировкой, как только он оформит развод. Как только пройдет у них последнюю проверку. Как только...

«А глаза сияют, ласково маня. Эх, не меня встречают, ищут не меня... Только жгут без меры из-под черных дуг. Эх, чубарь, чубарь мой серый, закадычный друг!..»

Я и сам пел, кажется, или это мотор с бездельным глушителем подбирал себе песни по нраву? Нет, я, я, не разжимая губ, давал волю Осипу быть нами сам-третей, а песня — четвертая...

«Я рыдать не стану, вожжи закручу, я тебя достану, я тебя умчу. Припадешь устами, обовьешь, как дым, в полынью с конями к черту улетим!..»

Приехали, приехали, выметайтесь!..

56

Тем и хороша была шестиметровая теснота, что дверца в ней почти при самом входе в коммуналку с длинным многоколенным коридором — таинственным, полутемным, темным, без просвета на черном ходу, в закордонной недосыгаемой кухне прорезанным; с отделением старух, взводом инвалидов и ротой солдат трудового фронта, пьяных по случаю воскресенья и в синих маечках...

Навстречу нам вышли и дети-ангелы, те, кого не пустили сегодня на двор ради домашней науки, — сопливые ангелы, грешные и несытые ангелы, все узнавшие про эту жизнь, а потому вдвойне любопытные...

Тут я и вспомнил, что утром, отвлекшись праздной мыслью, не успел до конца прочитать для себя любимую молитву последних оптинских старцев, не успел домолиться. Я отвлекся после слов: «Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя...» И, вспомнив об этом, я стал повторять слова следующие, в то время как Гюзель доставала из сумочки свой ключ и отпирала поганую

дверцу. «Во всех моих делах и словах — руководи моими мыслями и чувствами...»

Мы вошли и повернули изнутри ключик, несмотря на рьяные посягательства грешных ангелочков...

Может быть, потому Осип и не бывал в последнее время в этой комнатухе, что далась она ему незаконной льготой, дешевой взяткой за будущее молчание и будущее пособничество, на которые рассчитывали дающие?

У них было все, в том числе и права «давать» жилища в задыхающемся городе, где, казалось, нет ни одной свободной ячейки, а только бесконечные тоскливые очереди, умножающиеся за счет детей и деревенской лимиты, без которой давно встали бы ткацкая фабрика, оружейный завод и оба строительных управления. У них, местных прокураторов империи, были в загашниках и жилищные фонды, от шикарных многокомнатных апартаментов до таких вот нор и щелей, которые укрывались от общего учета с помощью жилконторских надсмотрщиков, вроде знаменитой Тамары Карданниковой.

Этой Тамаре Карданниковой было поручено подобрать что-нибудь артисту Узлову до развода и полной легализации среди избранных. И с ней мне пришлось знакомиться, встречать в администраторской у Фимы Гибельмана, следить, чтобы он выписал хорошие места для порученки с подругой, потому что Тамара дело свое знала и, выполняя указания, все же не хотела упускать свое. А что возьмешь со знаменитого в городе Осипа Узлова, нищего, по их представлениям, но богатого самим собой? Да его же самого для личной тамариной коллекции, и вот она тянула резину до тех пор, пока артист, бедняга, не догадается.

Надо отдать должное Осипу, потому что он в этом случае честно старался отделаться шоколадками и гвоздиками (полученными от других зрительниц), пока не был вызван в жилконтору на самый конец рабочего дня. Дверь за ним была хозяйкой тут же заперта, и полнотлая белокурая искусница, в чью задачу, кроме прочего, входило встречать и приветствовать гостей города из Азербайджана, Грузии и среднеазиатских республик, нежно воркуя, стала прижиматься к нему, гладить мягкой рученькой по гультфику и приглашать к высокому дивану; как же в ее кабинете и без дивана.

— Ах, — шептала она на ухо Осипу в интимный момент взаимного познания, — ах, как бывает хорошо двум людям!..

И этот рассказец я должен был от него выслушать, и выслушал, представьте себе, в то же время зная и помня, что до этого эпизода и после него, в тот же день, Узлов обнимал саму чистоту и радость, живой цветок, Гюзель Халилееву...

Господи! Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою...

Отпусти мне грехи мои, отец Леонид, прими мою исповедь и честное покаяние, потерпи меня, тебе на испытание посланного!..

К самой коммуналке подойти было просто, потому что, поднявшись на лифте в седьмой этаж, нужно было еще спуститься на полмарша по другой, спрятанной лестнице, миновать длинную галерею, застекленную с левой руки, потом оказаться в каком-то похожем на внутреннюю церковь обширном зале с остатками витражей — дом был старинный, единственный в этом районе, построенный в начале века купцом Тарбеевым, любителем модерна, — дальше еще дважды свернуть, оба раза налево, снова подняться на полмарша уже по третьей лестнице, и только тут после темного перехода — маленькая дверца в стене, прорубленная в безразмерную коммуналку.

Времена перемалывали хозяев, жильцов и нахлебников, вселявшиеся и сгинувшие учреждения, вахтеров, квартиросъемщиков, мебель

и лифты — вместо зеркальных, дубовых, с чугунным узорным литьем, — прямые запаянные гробы, неуютные и тесные, — времена унижали художественное строение, и все же в нем обитал какой-то много-терпеливый и всезнающий домовый дух.

Комнатуха радовала одним высоким потолком; окно выходило в два глухих простенка, сходящиеся под острым углом, в узкий закуток то ли второго, то ли третьего двора; и козырьком крыши, прятаяшим небо, сумрачным и неуютным положением и полным отсутствием хоть какого-нибудь вида сквозь раму производила угнетающее впечатление: бессветная, отрезанная от мира, тесная. Глядя в окошко, можно было подумать, что здесь, в углу, в последнем простенке двора, и сворачивается пространство, а время, смеясь над судьбой, меняет направление движения.

Я стоял у окна, раздернув шторы и открыв раму, упиравшись взглядом в глухую и темную щель, в острый угол с большой паутиной и ржавую водосточную трубу на ржавых скобах, а на ржавой трубе подбирал еле слышные мелодии ветер. «Сижу один я и-и-и скучаю, в окно тюремное гляжу. А слезы капают, братишка, незаметно по исхуда-а-лому лицу...»

— Здесь обыск был, — сказала Гюзель, — здесь был кто-то чужой...

«Еще бы ему не быть, — подумал я и ничего ей не ответил. — Нам повезло, что они здесь уже побывали, значит, до следующего прихода есть время».

— Есть время, есть, есть, — откликнулся снова далекий голос, — время, время, есть... «Да только скован я, братишка, кандала-ами, мне все равно-о не убежать...»

57

Я старался не смотреть на нее, как всегда, впрочем, а голос выводил, как тогда, на новоселье, когда мы встретились здесь вчетвером: мы с Гюзелью и Осип с Тошей. Да, но еще ведь и гитара была, и концертно. Значит, вшестером...

«Меня пойма-ют ча-а-асовые, не скажут раз, не скажут два, взведут курки они свои стальные и наповал убьют меня!..»

Господи, Твоя святая воля, что за сила у этих песен! И почему он выбирал именно эти, а не какие-то другие? Кто дал им такую открытость пророчества, такую крайность последней любви?.. В долгой паузе слово за слово текло у меня внутри, и я боялся только одного: что она услышит.

«Ах, зачем ты меня целовала, Дуня, жар безумный в груди затая, ненагля-адным меня называла и шептала: «Я твоя, я твоя».

Эту он пел, как будто шел в строю вместе с другими солдатами, не нашими, а теми, царскими, долгослужащими, длиннополыми, как будто шагал по бесконечному проселку, а проселок пересекал Россию. «Здесь забыл я слова и не знаю»... А!.. Вот... «Нету в сердце былого огня, я бы обнял тебя, дорогая, но скоро, скоро не станет меня-а-а...»

Взвод ли его, рота ли приближалась, разворачивалась, и хотя запевалы не было еще видно, но ясно уже было, что он — любимец, баловень судьбы и отца-командира, щеголь, красавец, гордость всего полка и храбрец отчаянный, русский, с пушистыми подусниками и неотразимыми усами... «Вот наступит осеннее утро, Дуня, будет дождик слегка моросить, ты услышишь протяжное пенье, Дуня, как меня по-несут хорони-ить»...

А вот и он сам, точно такой, каким представлялся, глаз огромный,

насмешливый, глянул и отвернулся — и уже мимо прошел со товарищи, мера свою неизвестную, опасную, — да что там — смертельную дорогу. «Из друзей, из друзей меня верных уж никто не пойдет провожать, только ты-и лишь, моя дорогая, будешь слезно над гробом рыда-а-ать...»

Уходит рота, удаляется от нас навстречу судьбе вечный запевала, чтобы остаться в памяти молодым и прекрасным, чтоб ни с кем не смогла сравнить его любимая за всю остальную некрасивую жизнь. «И в последний разок поцелуешь, Дуня, когда крышкой накроют меня, и уста-а мои больше не скажут, Дуня, что прощай, дорогая моя-а-а...»

Хорошо мы тогда посидели, деньги были откуда-то, был коньяк армянский, лимоны, сыр с колбасой твердого копчения, мясо сырое, предназначенное Тоше; всем было хорошо, хотя ни толковой посуды, ни мебели, а так, полувосточное устройство на полу, только карта двух полушарий земли подстелена была и радостно пестрела, играя роль ковра и, одновременно, скатерти-самобранки. Граненые стаканы сходились не со звоном, а со стуком, но воображение, но любовь, но заразительная молодость единственной нашей татарской музы звенели в ушах, а тут еще свеча на блюде, заливающая воском оба ключика от шестиметрового приюта. И Осип пел — как никогда прежде, как никогда потом.

Нет, я не завидовал ему, я его любил как друга и счастлив был входить в его окружение. А он был героем, как всегда, и у него, по закону драмы, все карты сошлись в руках: вот он, и вот — его девушка, его друг, его собака, его гитара, его концертино, его жилье, его праздник...

58

Так и стемнело, а опасная наша близость все не могла окончиться. В молчании, в перемене мест — от креслица к обезножевшей низкой тахте и обратно, в перебирании немногих его книг на единственной полке, в задевании друг друга, только невольном и случайном, в повышенном гуле веселых голосов за стеной: «Я люблю-у тебя, жи-и-изь!..», «Прими, всесвятая Троице честная...», «У низнакома-ва паселка...» — во всяком обрывочном воспоминании о нашем герое, тут же, как казалось мне, молчаливо подхваченном ею, все виделось, помнилось сказанное мне в тоске утраты: «Разденься. Ложись. Возьми меня!» Нарочное, детское, злое, но ведь было же, было сказано!..

Придвинулась ночь, голоса за стеной стали утихать, Гюзель свернулась на тахте, не раздеваясь; я прикрыл окно и зажег свет. От горящего абажура и дыма моей «беломорины» стало еще ближе к ней, еще оглушительней и безумней. Скоро затем нашла усталость, и оба мы задремали: Гюзель — там, а я — в креслице.

В пять утра мы очнулись, как от толчка, в один и тот же миг. Я взглянул в ее расширенные ужасом глаза, и меня самого охватил ужас. Что это? Что мы почувляли оба, как звери загнанные?

Не сговариваясь, медленно мы повернули головы к окну с незадернутой занавеской.

Сквозь комнатное отражение в стекле, под двойным абажуром, между нашими повторенными лицами в черное окно седьмого этажа смотрел Осип.

(Окончание следует)

Нонна Слепакова
«САБЛУКОВ» И ДРУГИЕ СТИХИ

ПОСЛЕ ЗИМЫ 1992

Лето пискнет в стручок акации...
Боже мой! Значит, есть пока
Зелень, гомон, теплынь, вакации,
Бархат, бабочки, писк стручка,
Голубая стрекозка-спичечка,
Жарко-жаждущее «жу-жу»
Да беспечная переключечка:
«Вовка, Валька, — что покажу!»

Как же крепко меня осилили,
Что забыла я эту чушь!..
Не меня ли уж, не России ли,
И не жизни ль не стало уж?

1992

ДЕТЯМ

Мальчик терракотового цвета,
Старец, убеленный, словно лотос,—
Дети, как опасны ваши лета, —
В пять, и в шестьдесят, ну и как Бог даст!

Мальчик кверху круто всчешет челку,
Чтоб вернее превратиться в панка.
Отчебучит ветеран чечетку
Под Кремлем, в День Армии, у танка.

Девочка с отцом, с мальчишкой — мама
Лягут в койку: из газет известно,
Что хранит от СПИДа лишь программа
Чистого семейного инцеста.

Можно все! Нельзя писать стихами
И рожать потомство! Да седую
Притчу о давно пришедшем Хаме
Реже поминать рекомендую!

Детушки, возросшие с незримой
Краснозвездной меткой на предплечье!
Чтоб Свободу понял край родимый,
Все позапрещайте человечье

И для нерушимости запрета
Перемажьте край в крови и в саже!..
Дети, как опасны ваши лета
Для отсталых взрослых!.. И для вас же.

1992

ФИЛЬМ «ЗОЛУШКА»

(1947, восстановлен в 1991)

Над сталинской оплошкой важной —
Над лентой, чудом разрешенной,
Над сказочной, хотя грошовой
Страной кондитерской, муляжной —
Реву одна перед экраном,
Под старость лет впадая в детство,
Перебирая грамм за граммом
Его пайковое наследство.

Финальный кадр. Сейчас Король
Чудаковато, мягко бросит
Почти евангельский пароль —
Что, мол, предъявишь, коли спросят?

Что предъявлю? Свой день вчерашний
В казарме школьной и домашней?
Им не спасешься! Он — тогдашний!
... Заносчиво сведя к нулю
Его морозы и угрозы,
Я только нынешние слезы,
Как чистый жемчуг, предъявлю!

Дек., 1991

ПОД ЕЛКОЙ

Женщина цветущая,
Статная да ладная,
Пьющая да льющая,
Щедрая и жадная,

С кем ты там под ёлочкой,
Плоть и сердце — взорваны,
Острый взгляд осколочный
Брызжет во все стороны? ..

Знаешь ли, победная,
Как под той же елочкой
Проползешь согбенная,
С клетчатой кошелочкой?

Макароны с брынзой,
Отдых с валидолиной,
С жизнью, вдрызг разбрызганной
И неизглаженной? ..

Взоешь в снежном облаке,
Отряхнувши веточку ...
Сумка ткнется об ноги,
Как собака в клеточку.

Дек., 1991, Комарово.

КУПАНИЕ КРАСНОЙ СУКИ

Время разделаться нам плетью, дрекольем,
Красная Сука, с тобой, римской волчицей.
Был на зубчатом твоём брюхе драконьём
Каждый наждачный сосок смазан горчицей.

Но, хоть убей тебя враз, бей хоть полвека,
Хоть методично лупи, хоть безрассудно —
Будет в крови нашей течь едкое млеко,
Коим вскормила ты нас равно и скудно.

Зрелые дочери твои в новое время
Вспомнят фамильный инстинкт, малых рожая:
Слабым прокусят, как ты, мягкое темя,
Выводок в силе блюда и — разрезаю.

Лучше отмоем тебя! Нежно белея,
Цвет свой природный забудь — копоть с кровящей!
Сукиным детям предстань в дни юбилея
Мудрой в свирепстве своём, щедрой, хоть нищей!

Красную Суку ведем — мыть к водоему,
Гейзеру, где кипяток бьёт, горячится!
... Вот, не сумевши вскормить нас по-иному,
Вымя пустое твоё важно влачится;

Вот — элегантен почти выгиб хребтины;
Тощих лопаток углы — крыл эмбрионы;
Красный ли Конь в тебе спит с давней картины?
Адский ли бодрствует зверь с новой иконы?

Красную Суку купнём, с берега скинем,
И, по инерции, всей стаей клейменной
Бухнемся вслед! Опадет белая кипень —
Чистые волны лизнут берег зелёный.

Декабрь, 1991

АВТОБУСНОЕ СЧАСТЬЕ

Сладострастно, тишком,
По весеннему свету —
Култыхаю пешком?
Нет! В автобусе еду!

Только двадцать минут
Прождала я — и села!
Не нарушен маршрут,
К довершению дела!

Есть бензин, есть тепло,
Даже окна промыты;
И мне кажется стекло
Реку, травку, граниты!

Кресло мягко томит,
Удовольствие множа.
Подо мной кожемит
Глянцевит, словно кожа,

Не изрезан ножом
Обувного вандала —
Чтоб, как за рубежом,
Я на нем восседала!

Я жива — в полусне,
В теплой качке, в покое...
Пофартило же мне!
И к чему бы такое?

Ты вертись, колесо,
Колыбельней и круче!
Ах, как *мне* хорошо!
Как бы не было лучше!

Апр., 1991

ПОПЫТКА К БЕГСТВУ

*«Жена же Лотова обернулась и
превратилась в соляной столп».
(Кн. Бытия)*

Город, где хнычет гармошка,
Город, где рычет резня,
Темечком чувствовать можно,
Но обернуться — нельзя.

Там огнедышащи купы
Вспухших церквей и домов,
Там освежеваны трупы
Нерасторопных умов.

Но, посреди геноцида,
СПИДа, бесстыда, вранья —
Синяя гроздь гиацинта
В хрусткой обертке — моя!

Боже, дозвошь уроженке
С Пулковских глянуть высот
Хоть на бетонные стенки
С черными зенками сот!

Как убежишь без оглядки,
Без оборота назад —
В том же ли стройном порядке
Мой покидаемый ад?

Так же ли кругло на грядке
Головы ближних лежат?
Так же ли в школьной тетрадке
Хвостик у буквы поджат?

Слушаться я не умею
И каменею на том:
Ломит кристаллами шею,
Сводит чело с животом;

Дальнего запаха гари
Больше не чувствует нос;
Губы, что вопль исторгали,
Оцепенели на «Госс...»

Не в назидание бабам
Солью становится плоть:
В непослушании слабом
Пользу усмотрит Господь —

Чтоб на холме я блистала,
Дивно бела и тверда,
Солью земли этой стала
И не ушла никуда!

1989

СКАЗ О САБЛУКОВЕ

Укрепил свой замок Павел,
Втиснул в камень свой альков.
Караул вокруг расставил
Царедворец Саблуков.

В гневе царь ссылал придворных,
Но, в делах раскаясь вздорных,
Возвращал — и лобызал
На паркетах аванцзал.

Впрочем, ничего такого
Не изведал Саблуков.
Нрав брезглив у Саблукова,
Честь — крепка, и ум — толков.

Он о заговоре ведал —
И царя врагам не предал,
Но не выдал Саблуков
И царю бунтовщиков.

Те монарху намекнули:
«Ненадежен Саблуков!»
И, сменясь на карауле,
Царедворец был таков.

Той же ночью Павла душат,
Заушают, на пол рушат...
Но к злодействам сих волков
Непричастен Саблуков.

Вот убийцы-супостаты
Ждут земель и мужиков.
К ожиданью щедрой платы
Непричастен Саблуков!

Вот неспешно, по секрету,
Александр убрал со свету
Всех губителей отца
И дарителей венца.

Саблуков же — в новой сфере:
Он — английский дворянин,
У него супруга Мери,
Дом, лужайка и камин.

Пламя пляшет, Мери вяжет.
Никогда ей муж не скажет
О расейской маяте
И злодейской клевете.

Но вдали, на пестрой карте,—
Блеск оружия, а не спиц.
Разъярился Бонапарте,
Заварился Австерлиц.

Саблуков, хоть был в отставке,
Объявился в русской ставке.
Удаль выказал он здесь
И побил с французов спесь.

Царь и знать герою рады...
Но, с прищелком каблуков,
Не приняв отнюдь награды,
Отбыл в Лондон Саблуков.

Пламя пляшет, Мери вяжет.
Детям папенька не скажет
Ни словца про Австерлиц
И про ласку высших лиц.

Годы мчатся. Бонапарте
На Россию прёт в азарте,
Напряженно взведено,
Боя ждет Бородино.

По привычке ль, по отваге ль,
Сквайр английский Саблукофф
Заявился в русский лагерь,
В строй кутузовских полков.

Тут врагов он покалечил,
Русским силам обеспечил
Несомненный перевес,
Ибо в схватку так и лез.

Говорит ему Кутузов
Простодушно, без прикрас:
«Ты, французов отмутузив,
Будь полковником у нас!»

Хоть почтительно и внемлет
Полководцу Саблуков,—
Назначенья не приемлет:
Отдал честь — и был таков.

Пламя пляшет, Мери вяжет.
Муж о битве ей не скажет,
Детям тоже не дано
Ведать про Бородино.

Лет прошло почти что двести.
Вот Российская страна
Без отваги и без чести,
Без войны побеждена.

Ей призвать бы Саблукова
Ради случая такого —
Но давно уж Саблуков
Отбыл к Богу, был таков.

Пламя пляшет, Мери вяжет,
Бог всё видит, да не скажет.

1992

Петр Алешковский
АРЛЕКИН, ИЛИ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
ВАСИЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА
ТРЕДИАКОВСКОГО

Роман

Часть третья
НА ЧУЖИХ ХЛЕБАХ

1

Входящий в предрассветной мгле в амстердамскую гавань немецкий торговый корабль «Медведь», идущий с грузом пеньки и воска из Ревеля, встречала превеликая гроза. Пассажиры, перенесшие нелегкое плавание по Северному морю, попрятались в каютах, и лишь немногие, либо из трусости, либо от сжигающего любопытства, как Василий, жались к палубным постройкам, крестились в ужасе, пригибая простоволосые головы при каждом ударе грома. Ветер тянул за одежду, осыпая брызгами сверху и снизу, драил потоками воды палубу. Море, казалось, поглощало низвергающиеся в него небеса.

Было страшно на палубе, но еще страшней было прятаться в углу тесной каюты.

Так продолжалось недолго. Окоченевшие и мокрые с ног до головы люди пробирались, держась за палубные постройки, к матросу, выкинувшему по приказу капитана на палубу бочонок с водкой, и алкоголь, растекаясь по жилам, согревал, и становилось легче на душе, и верилось, что Бог пронесет, не погубит с конца пути.

И вот начало стихать

Уже и дождик перестал. Тихий-тихий, не видный на воде ветерок нагнал туману. Дышалось легко и радостно.

— Приехали, — подумал Василий.

2

Судно уже стояло причаленным к берегу, к черной свае в ряду тяжело груженных морских кораблей. Ближе к берегу видны были корпуса лихтеров, снабжавших Амстердамский рынок и самыми обыденными, и самыми необычайными товарами. Вокруг вились плоскодонный флот-шуйтейны, разгружавшие трюмы, и негде, казалось, протолкнуться в бухте от маленьких штигеров, тоже плоскодонных, с косыми парусами, — корабликов или барок, заходящих прямо в город, в его многочисленные каналы-улицы.

Берег спрятался за мощным валом, из-за которого торчали острые церковные шпили и крылья ветряков.

Головкинские люди занялись грузом, повели переговоры насчет штигера, который должен был доставить их по длинному, безопасно-му каналу через Зандам, Харлем, Хилленгой в славный своим университетом Лейден. Оттуда уже недалеко было и до Гааги.

Продолжение. Начало см. «Согласие», № 8—12, 1993 г.

Предоставленный себе, Василий сразу же затерялся в городе. Жилые кварталы, кирхи, две синагоги — все, о чем рассказали попутчики, за отведенные четыре часа он оглядеть не успел. Один только порт и каналы, хлебную биржу, бесчисленные магазины, занимающие все нижние этажи высоких каменных домов, отдраенные до зеркального блеска стекла витрин, кузницы с выставленными напоказ якорями у входа, винокурни, пивоварни, маслобойни, ружейные мастерские, лесопилки и склады, горы драгоценной древесины: сасафраса, розового, сандалового, бразильского, дерева Святой Марии — все это показывал ему говоривший по-русски моряк с «Медведя».

Василий устал смертельно, но долго не мог успокоиться. Уже остался позади Амстердам, уже тянулся медленно по каналу их косо-парусный штигер, и мужики, довольные быстрой перегрузкой, завалились спать, а он все стоял на корме и смотрел на ровно расчерченные прямоугольники полей, на здешнее пышнотравье, на мелкорослых, но ухоженных коров, которые, как ему сообщили, считались самыми молочными в мире, на редкие, обстоятельные домики и мельницы, мельницы... По обеим сторонам канала все было такое чистое, словно вымытое: подстриженные деревья у низеньких заборчиков, красные клумбы с обязательными ранними майскими тюльпанами перед входной дверью — вот она наконец, волшебная Голландия, о которой рассказывал отец. Голландия кощунственная, ополчившаяся на своего государя и прогнавшая его, создавшая свою, устроенную по образу и подобию древнеримской, республику, зовоемую Штаты и управляемую верховным штатгальтером. Было удивительно, непонятно, за что же ценил и любил Голландию великий Петр? Наверное, ему сродни была ее торговая сила, ее корабельная мощь — деловая суматоха порта и торгова. Но страна действительно волшебная: чуть отдалилась от главных ворот и преобразилась — стала уютной, каменной, домашней, тихой, но богатой настолько, что коров здесь, говорят, держат на кирпичном полу, а по вечерам моют теплой водой и чистят щеткой, как породистых скакунов.

И вот, стоя на корме штигера, он наконец признался себе, что чувство, удерживающее его на палубе кораблика, вызвано не простым восторгом путешественника, а разъедающим душу стыдом. И стыд, странно сказать, породил нечто вроде ненависти, не злой, а бессильной, к этой, казалось бы, не знающей бед миниатюрной республике, блаженно почивающей на своей цветочной перине под неусыпным надзором деревянных постовых — крутящихся на морском бесплатном ветру мельниц, приносящих неисчислимый доход и без того богатому государству.

3

Лейден встречал их чинной и строгой планировкой улиц, как и надлежит городу-ученому, но был при этом миниатюрен и, как все голландское, картинно приветлив.

Два больших и претяжелых ящика, запечатанных с аптекарской аккуратностью, следовало нагрузить здесь и передать с объемистым посланием герру Бидлоо — знаменитому натуралисту — от его любящего племянника, содержащего в Москве, кроме хирургического госпиталя, еще и любительский театр.

Пока слуга распаковывал ящики, ученый беседовал с Василием в кабинете. Казалось, ничего лишнего не было в этом царстве науки: экспонаты, как и книги, расставлены за стеклами шкафов в очевид-

ной последовательности, но именно эта пунктуальность, именно эта четкость классификаций поразили воображение Третьяковского, он постоянно отвлекался от беседы, пожирая глазами содержание шкафов.

Говорили по-латыни. Господин профессор соизволил похвалить четкость речи своего собеседника, но при этом, кажется, взирал на юношу как ни один из экспонатов: он привык, что те немногие русские вельможи, и даже сам их великий государь, который проездом посетил его музей, сперва кидались к курьезностям, чтобы затем говорить и говорить о будущем расцвете знаний в их дикой Московии.

«Интересно, — в который раз подумал натуралист, — неужели племянника удерживает не только хартгульд, сиречь — звонкая монета?»

Профессор заметил, что посетитель в изумлении уставился на большую зеленоватую бутылку.

— Ты делаешь честь собранию, разглядывая редкий экспонат, — наставительно произнес тот, — это уникальный в наших краях образец педеканидэ, птицы...

— Я знаю, — прервал его вдруг Василий. — Я знаю, я держал в руках эту бутылку, — он был абсолютно уверен в утверждении, — когда мне было пять лет. У нас их называют птица-баба.

Бидлоо заметно оживился. Да, да, это удивительно, действительно удивительно, что стоящий перед ним юный секретарь русского посланника видел и помнит недавно скончавшегося Корнелия Лебрюна!

— Значит, ты родом из Астрахани? — так это кашлянуло в латинизированном кабинете. — Жаль, жаль, Корнелий был бы очень рад. А знаешь ли ты, что он успел издать свои путевые впечатления? Изволь, я ссужу тебя книгами, а ты возвратишь мне их при случае... Какое неудобство? Расстояния у нас в Голландии не как в России.

— Кстати, — причмокнул от радости губами профессор, поймав удачную мысль, — мне было бы очень полезно услышать твое мнение, как жителя тех мест, аборигена, так сказать. Ведь я собираюсь в ближайшем будущем переиздать сей капитальный труд вместе с дневниками, письмами и всем наследием моего талантливой друга-путешественника, и, если бы Российская Академия наук пожелала субсидировать издание и принять посильное участие в работе, возможно, дополнив своей вводной статьей или какой иной или приложив особую карту, я был бы признателен моим российским коллегам. Посему прошу тебя передать официальное предложение герру графу Головкину...

Василию ничего не оставалось, как взять книги Лебрюна, написанные по-французски, и благодарственно поклониться.

Расставались тепло. Слуга открыл дверь, и герр профессор еще раз повторил, что ждет скорого ответа — оценки книг. Верно, он и мысли не допускал, что Василий не разумеет по-французски.

Перед сном Василий листал тома и нашел гравюру. Не очень похожую, рисованную откуда-то издали, но понятную знакомому глазу. А то, что «ситэ» сродни итальянскому «читта» и латинскому «цивитас» и означает «город», он легко понял и порадовался своей сметливости — языки вообще давались ему легко.

Он смотрел на преувеличение острых шпилей, на неверные пропорции зданий на картинке и вспоминал свой полуденный город, жаркий и пыльный уже сейчас, в раннем мае, пышные сады за Кутумом, обсыпанные белыми, розовыми и пурпурно-розовыми цветами. Улицы, рыбный рынок, базары: грязные, шумные... и родные несказанно. Город не забытый, не забытый, но покинутый как будто навсегда.

Полномочному министру, тайному советнику графу Ивану Гавриловичу Головкину при его миссии нужен был отнюдь не секретарь, а канцелярист. Видимо, Коробов в Москве напутал с должностями, не точно поняв просьбу-приказ графа. Василия такое неожиданное обстоятельство нисколько не задело: о! он согласился бы на любую работу, лишь бы она задержала его в крепком двухэтажном особняке с множеством комнат, с пышным, но крохотным садиком, спрятавшимся за стенами посольской резиденции от каменной, не терпящей зелени улицы Гер-Гракх.

Дом на улице Гер-Гракх имел свое название. Здесь принято было давать домам имена, как будто были они живые, — дом прозывался «Благовест». Кроме семьи сиятельного графа, в нем обитали личный секретарь министра — Гейцельман, выкрест из малороссийских евреев, знающий, кажется, все живые языки Европы; иеромонах Иероним Колпецкий, вот уже полгода состоящий при устроенной возле дома небольшой православной церкви; «валедешамбр», иначе личный графов крепостной слуга; повар-немец, вывезенный еще из Берлина; портер-лакей, возглавлявший троих сотоварищей, лишенных, в соответствии с рангом, трескучего словца, открывающего «титул» их командира, и девка-судомойка. Кроме перечисленных, на верхнем этаже, где и Ваське отвели каморку, жили ученики: для архитектуры предназначенные — Борис Ларионов, Андриан Неплюев, Иван Мичурин, а для садов и оранжерейной науки — Филипп Пермяков. То, что поселили его рядом с учениками, их как бы уравнивало. Кормили молодых людей за общим столом в кухне. Секретарь и священник вкушали с господского стола, но не гнушались обществом «живописцев», как нарекли проживающих на втором этаже, присоединив к ним заодно и Тредиаковского.

Отец Иероним обрадовался встрече. Узнав о Васькином побеге, ругать не стал, трезво рассудив, что прошлого не воротишь, — видеть же ежедневно близкого человека здесь, в порубежье, было приятно. Колпецкий скучал по своему хору, по размеренной, простой жизни Заиконоспасской школы, а еще больше по родной Киево-Могилянской академии. Тредиаковский умолил отца Иеронима хранить от москвичей в тайне его пребывание в Гааге, и добрый священник клятвенно пообещался молчать.

Вечера здесь было заведено коротать в графской библиотеке. Беседовали, как водится, на самые невероятные темы: от возможностей выращивания в России тюльпанов до обсуждения статей «Меркюр галант» — самого распространенного в Гааге французского журнала. (Вообще, большинство книжных новинок имело обыкновение сперва появляться на свет в свободной Голландии, так что столица нидерландских Штатов находилась на передовой литературной и политической борьбы того времени.) Комментировал новости обычно Гейцельман, снабжая журнальные толки о королевских дворах Европы своими часто сбывающимися предсказаниями.

За всеми домашними делами следил неугомонный Гейцельман. Он же приносил Василию листы для переписки. Граф диктовал Тредиаковскому с голоса крайне редко, любил четкость, сам набрасывал черновики. До секретной корреспонденции его пока не допускали — на то годился только проверенный секретарь. Обычно рано поутру, пока господин тайный советник еще спал, Василий успевал перебить своим убористым почерком имеющиеся документы: граф требовал, чтоб было поменьше завитушек, так любимых российскими писцами, чтоб буквы выглядели округло и легко прочитывались.

Большинство официальных бумаг велось на французском и англ-

лийском (Иван Гаврилович был еще и поверенным в делах Великой Британии), и основной воз тянул все тот же Гейцельман. Василий поражался его работоспособности, относился к своему начальнику с чрезвычайным почтением. Гейцельман же, как выяснилось, оказался поклонником изящной словесности. Обоюдный интерес друг к другу сблизил их. Однажды, проникшись доверием интонаций, Василий открылся, рассказав про конфузный случай с Бидлоо, и испросил совета.

— Не волнуйся, мой дорогой. Твой отзыв не очень интересует Бидлоо — ему необходимы деньги на издание. О! Герр профессор, называется, ловкач, впрочем, охмурить молодого человека не составляет большого труда. — Он ухмыльнулся, но пообещал при случае доложить графу о Лебрюновых записках.

История эта натолкнула посольского секретаря на мысль выучить ТрEDIAKовского французскому. Вскоре он присоветовал господину министру дать деньги на обучение. Как вельможа просвещенный, Иван Гаврилович ценил образование, он внял доводам Гейцельмана и позволил оплатить уроки из государственной казны.

5

Амур любил Психею. Перенесенная волшебным Зефиром на высокую гору, в хрустальный дворец, жила Психея в царстве светлой любви, и одно лишь заклятье навевало на ее беззаботное счастье печаль — она не имела права увидеть лицо любимого мужа.

Как он читал сию нежнейшую книгу! Сколь изящно, сколь возвышенно записал древнюю историю великий Лафонтен, взяв в основу сюжет Апулея.

Галльские стихи, в которых чувственность ставилась всегда на первый план, напояли душу негой и томлением, тоской и воздыханиями, плавили лед московской стыдливости, нетерпимости, чопорности, отрешенности, показного презрения к той силе, что движет человеком и тварями. Теплый ток, разбегающийся по жилам, рожденный искрой галантной французской поэзии, Василий ощущал постоянно, читая или вспоминая и нашептывая изящные строки:

Как описать черты — они обитель всех
Амуров золотых, Желаний и Утех?
Найду ли для очей сравненье —
Они желанья врата,
Изобразю ли наслажденья
Родник — багряные уста?

Амур любил Психею, и ничто были все силы ада, все демоны зла перед их любовью, а испытания только усиливали страсть...

Василий снова начал писать стихи, пытаясь подражать французам, но как было достичь того звона, той разительной, нежной мелодии? Творения его выходили такими же убогими, растянутыми, как велеречивые вирши московских поэтов, где за описаниями терялся предмет, и проигрывали, как урод перед красавцем, в сравнении с полными божественного огня рондо Вуатюра, мелодичными мадригалами Шапеля, возвышенными песнями Буало — короля и наставника поэтов. Василий рвал написанное, он мучился нещадно. Быть может, русский язык и не способен вовсе к такому легкокрылому паренью, не раз задавался он вопросом. Но тщетны, тщетны были пока все старанья, и ни Гейцельман, ни отец Иероним ничем не могли тут помочь.

В отличие от родного языка, с которым он сражался на бумаге, французский давался ему легко — читал он почти свободно и очень скоро начал бойко беседовать с мадам Катрин и ее семнадцатилетней

дочерью. Они только поправляли его произношение, одинаково качая головами и кокетливо проводя пальчиком перед глазами. Василий был без ума от обеих — так легко и обходительно принимали его в их доме, так ненавязчиво говорили обо всем на свете, даже о любви, при воспоминании о которой мадам кокетливо опускала глаза долу, а пухленькая Жаннет улыбалась так мило, что ученик краснел и не находил места рукам.

Мадам Катрин поощряла их совместные прогулки, и Василий, вообразив любовь к Жаннет, выводил дочку на улицы Гааги «попрактиковаться в языке», когда уже во второй половине дня город, и не так шумный, совсем успокаивался и вытекал на воздух для предвечернего созерцания природы.

Он поддерживал свою юную спутницу под руку, и они шли по мощеным тротуарам, проходились у подножия стен мрачного Биненгофа, старого, уходящего ввысь, неприступного замка, посещали зверинец и кормили с руки диких серн и круторогих коз.

Но увлечение длилось не слишком долго. Он начал замечать, что Жаннет поэзия не интересует, что она жеманна и глуповата.

— Далась тебе эта мадмуазель, пойдем лучше с нами в «Веселого петуха», — предложил как-то Филипп, раскрывая тем самым место их частых вечерних отлучек.

Несколько дней Василий крепился, убеждал себя, что влюблен, но потом сдался, предпочтя общество удалых соотечественников. Мадам Катрин, казалось, не заметила перемены — она была дама галантная и рассудительная и, кроме прочего, нуждалась в деньгах. Вскоре он перестал брать уроки, решив, что дальше будет познавать язык по книгам сам.

6

Часто теперь, освободившись от дел, Василий заходил в оранжерею Биненгофа, где «живописцы» рисовали с натуры цветы по заданию их мастера. Они наблюдали, с каким кропотливым усердием здоровенные, крепкие молодые люди, казалось, созданные быть наемниками-ландскнехтами, выращивали нежные, тонконогие тюльпаны всех цветов и оттенков: от прозрачно-белого, до такого темно-красного, словно в его лепестках притаилась сама нимфа Ночь.

Филипп водил их по потаенным местам парка, показывая и объясняя построенную зодчими гармонию природы.

По вечерам они тайком сбегали к «Веселому петуху», что им на строго запрещалось, где было шумно, суетно, как-то бесшабашно весело. Кабачок кормился придорожным людом, а значит, голландская чинность была здесь не в ходу — его посетители ценили зычную глотку, сытную пищу и веселых женщин.

Они пили пиво, терпкое и тяжелое, и спорили, часто спорили. Начинал обычно Андриан, особо любящий пофилософствовать вслух.

— Я вижу в парке великую целостность искусства, — заявлял он важно. — Ведь в парке есть все: и архитектура лавильонов, беседок и гротов, и скульптура, а геометрическая точность плана, расчерченного циркулем и линейкой, лишней раз доказывает примат разума над всем, даже над чувством. Поэтому-то сады и парки и призваны давать, да и дают, наибольшее отдохновение и усладу для взора, радость и покой для пылкого сердца — они верх, сама красота искусства.

— Ну уж ты и хватил, — бросался в схватку Иван Мичурин. — Болтаешь о бездельной усладе, тогда как сегодня думать следует о

величественном. Примеры древних римлян, непревзойденных в житейской мудрости, тому свидетелем.

— Оставь Цезаря римлянам, — перебивал приятеля уничижительным смешком Андриан. — Пусть себе величавое гнездится в больших общественных зданиях и домах знати. Поэзия, как и живопись, разнообразна и кроме битв и сражений воспекает подчас скромную сельскую жизнь. Разве не радуется, не отдыхает глаз, замечающий красоты лесов и рек, гавань при косом закатном свете, когда дальние тоны покидает лодка трудолюбивых рыбаков; или беззащитную девственность укромных, в тени притаившихся купален; или игры поселян на лужайке, да и все вообще цветущее и зеленеющее?

— Ты уводишь от насущных нужд, — набрасывался на долговязого Андриана щупленький Иван Мичурин, — все мы живем в великие годы, и следует изображать только великое.

— Успокойся, не кипятись, — приостанавливал приятеля Андриан. — Я же говорил о парках и садах, а не о полотнах и зданиях. Вон, спроси Бориса, тот сразу станет говорить о строгости, ведь он словно аршин проглотил после знакомства со своим ван дер Вольфом.

— Ты все язвишь. — Подтянутый, всегда в темный бархат одетый Борис Ларионов легко попадался в ловушку. — Красота искусства должна быть строга, должна подкупать спокойствием, уверенностью в благородном воздействии на зрителя.

— Ну ладно, за сим пребывайте строги, а я пойду наверх. — Андриан поднимался и, лукаво щурясь, оставлял их.

Часто он специально подначивал приятелей и, доведя страсти до кипения, бросал их, но делал это не со зла, а ради всеобщего развлечения, и его любили.

— Я все-таки за усладу и за отдых для глаз, — добавлял он хоча и исчезал в дверях второго этажа.

Андриан был особо охоч до трактирных красавиц, хотя и товарищи его также отваживались подниматься на второй этаж — «Веселый петух» был еще и постоянным двором, или отелем, как их тут называли.

7

Граф Головкин, наслушавшись похвал Гейцельмана, поручал теперь Василию переписывать часть французской корреспонденции, но внимания на него по-прежнему обращал мало. Третьяковский стал спать по пять-шесть часов в сутки — иначе не хватало времени на работу и чтение, на «Веселого петуха» — на все, что наполняло его жизнь.

Зима пролетела незаметно, в лихорадке познания, в мечтах, в рассказах Гейцельмана о европейских странах и о чудесном Париже. За зимой последовала весна. Так прошел год.

В сентябре 1727 года, словно гром среди ясного неба, свалилась отзывная грамота: тайного советника ожидали в Петербурге. Следовало завершить самые неотложные дела и собираться. «Живописцы» были рады возвращению — они рвались в Россию, домой, полные надежд и жажды создавать, учить, строить, действовать. Для Василия же отъезд был равносителен краху, и он было впал в уныние, но выручил Гейцельман.

— Просись учиться в Париж, — уговаривал он Третьяковского, — я подготовлю графа, и он разрешит.

Молясь своей счастливой звезде, Василий вошел в кабинет к его сиятельству и упал ему в ноги.

Оценил ли граф картинность позы, или вспомнил российские нра-

вы, от которых поотвык за годы житья за границей; осознал ли жгучую натуру Василия к учению, или просто проявил снисходительность к своему канцеляристу, — но, так или иначе, он впервые за год имел с ним подробную беседу, которой остался очень доволен.

— Прав был Коробов, направляя тебя за море.

Он помолчал немного и спросил вдруг с неожиданной улыбкой: «А что, отписал ты Бидлоо насчет Лебрюновых путешествий?»

— Да, ваше сиятельство. — Сраженный всезнанием никогда и не глядевшего в его сторону дипломата, признался Третьяковский.

— Значит, ты хотел бы учиться наукам во Франции? Признайся теперь, не для того ли сбежал из Спасской академии, наставив нос всем ее педагогам? Платон Малиновский прислал тут мне гневное письмо, где весьма нелестно отзывается о тебе, но я вижу, что он ошибается. Сдается, я даже знаю почему.

Головкин сказал это с ухмылкой, и вконец сраженный Васька смешался и не нашел слов в ответ. Насколько же плохо еще знает он жизнь: ведь сообщить в Москву мог только отец Иероним, поклявшийся, что сохранит тайну . . . А граф, выходит, знал и про побег, знал с самого начала и смолчал, доверил государственную переписку и не прогнал . . .

Иван Гаврилович меж тем прошелся по комнате, словно что-то обдумывал, давая своему подопечному время прийти в себя.

— Я дам тебе письмо к его сиятельству князю Борису Ивановичу Куракину — нашему посланнику в Париже, а там уж по его усмотрению. Платить за учение я, разумеется, не намерен, а что касается дороги . . . — он помолчал. — Думаю, что последней выдачи жалованья тебе вполне хватит.

— Да, — добавил он, — а элегия твоя мне понравилась, как, кстати, и перевод «Аргениды».

Василий радостно благодарил. Он не посмел признаться, что жалованье почти все уйдет на долги: «Веселый петух» стоил денег. Но главное, в тот миг было сопроводительное письмо, паспорт, — главное, Иван Гаврилович отпускает его, а Париж . . . Он и пешком дойдет до него, долетит, как Меркурий в крылатых сандалиях, не чуя ног.

Так и случилось. Только вот башмаки терли и большую часть пути он протопал босиком.

Он шел в Париж.

8

В восемь утра князь Александр Борисович Куракин, проходя мимо красной лестницы, обратил внимание на заросшего, высокого и худого человека, яростно спорящего с лакеем. Молодой князь не стал бы вмешиваться, но Антон сам доложил: «Вот, ваше сиятельство, уверяет, что пришел, — он сделал упор на «пришел», косясь глазом на обтрепанный кафтан и помятые лоснящиеся штаны, — из Гааги от графа Головкина с письмом».

— Где же письмо? — Александр Борисович спросил строго, не выдавая любопытства, а надо сказать, странный вид, одежда, грязная, но не нищенская, будили интерес. Князь любил неожиданности дипломатической службы — он был осведомлен об отзыве графа из Гааги в столицу и предвкушал тайные известия, которые мог бы доставить сей странный посыльный.

На конверте был родовой герб Головкиных, письмо не подложное, сомнений не вызывало.

— Почисти немного и веди в кабинет, — бросил он лакею и поспешил предупредить отца. Послание было адресовано главе миссии,

и Александр Борисович решил, соблюдая таким образом этикет, попытаться пробудить у больного отца интерес к делам, да заодно повеселить видом столь необычного курьера.

Старый князь, слава Богу, проснулся в хорошем настроении: «Входи, каро мио*, я рад тебя видеть, — он трижды поцеловал сына, словно христосовался. Услышав о деле, разволновался, но, читая письмо, вдруг взглянул на сына лукаво: «Господин поэт к нам изволил пожаловать, это презанятно! Зови, зови немедленно! А вaledешамбр пуской пока меня побреет», — и стал насвистывать какую-то венецианскую песенку.

Александр Борисович сперва пробежал письмо глазами: Головкин просил помочь подателю сего — ТрEDIAKовскому Василию Кириллову, который, будучи на службе графской канцеляристом, проявил к делам способности и обнаружил склонность к познанию языков: сказано было, что знает итальянский, латынь, греческий и французский, сочиняет недурственные вирши и, желая получить европейское образование, поступает в Сорбонну.

— А! Каков? — вскричал старик. — Да где же, наконец, этот джиованне поэта**?

Борис Иванович Куракин любил почудить. В последнее время он все чаще и чаще говаривал с сыном на венецианском диалекте, каждый раз подчеркивая, что только он и может передать все оттенки чувства, вложенного в разговор. Любовь к Италии под старость превратилась у него в род каприза. Молодые, бурные свои годы, проведенные в Венеции, он вспоминал теперь почти ежедневно и, впав в мизантропию, любил попечалиться и даже всплакнуть о днях минувших.

Борис Иванович нарочито засорял речь итальянскими словечками, думая, будто делает ее изящней и изысканней. И в бумагах официальных вставлял итальянские выражения. Секретарь Куракина привык к слогу господина и тщательно вычищал из депеш особо непонятные обороты, а министр подмахивал беловик, словно не замечал этого, — подобная игра доставляла старику удовольствие.

Здорово проняло его тогда в Венеции, коль до сих пор для господина посла все итальянское было мило сердцу. Видимо, знание этим ТрEDIAKовским итальянского и настроило князя в его пользу.

Выспрашивал его посол дотошно: как шел, через какие города, кого где встретил... ТрEDIAKовский поначалу робел, но старался отвечать обстоятельно — боялся произвести плохое впечатление. Живописал он образно, умудряясь давать людям точные и цепкие характеристики, а рассказывая о себе, растрогал старика воспоминанием о посещении астраханских школ императором. Он не казался князю попрошайкой вроде промотавшихся купцов и всяких сомнительных лиц, которых иной раз приходилось отправлять в Россию за казенный счет, — здесь случай был иной: молодой человек желал учиться, а старый князь, да и молодой тоже, учение поощряли.

Старик, проверив и поверив, вдруг ткнул в заляпанный подол камзола и приказал с хохотком: «Уведите-ка его, по-э-та! Помойте, побрейте, выдайте одежду, а после еще поговорим. Что ж с таким чувелом беседовать?» После он сказал сыну, что ТрEDIAKовский напомнил ему героя итальянской комедии, этакго Арлекина, только что получившего затрещину, вывалянного в пуху, но явившегося по первому зову господина и усиленно делающего вид, что не замечает урона, нанесенного своей персоне полученной трепкой. Хотя, в отличие от уверенного и наглого Арлекина, юноша не изображал испуга, а на самом деле робел... Откушав, князь заскучал и приказал вернуть свое-

* Мой милый (итал.).

** Молодой, юный поэт (итал.).

го дживанне поэта — с первого взгляда старик уже мысленно причислил его в домашней кем-то вроде шута, до которых был охоч с молодости.

В китайчатом стеганом халате, в теплых туфлях, осунувшийся, утонувший в непривычном, с чужого плеча облачении, был ТрEDIAKовский более смешон, чем прежде. Вероятно, Борис Иванович желал позабавиться. Что ж, он достиг желаемого.

В первые мгновения физиономия будущего студента выражала недоумение, он с опаской взглядывался в лицо Куракина, словно ожидал подвоха, но, почуввав расположение, поборол испуг и отвечал уже спокойно и деловито.

Старый князь расспрашивал о Кантемирах, а Александр Борисович сидел в углу в креслах, приглядываясь к пришельцу. Юноша быстро освоился и постепенно набирался храбрости — старик жадно слушал и хохотал над московскими анекдотами: в первопрестольной он не был уже давно.

Как-то незаметно Александр Борисович включился в разговор и начал пытаться стихотворца о поэзии. Заговорили о комедиях, ставших популярными еще при Людовике XIV, и о трагедиях, коих многие вельможи не жаловали. Отец принадлежал к числу противников высокого искусства: шутовство и зажигательно-смешные проделки были ему понятней — от трагедий, как он сознавался, его клонило в сон.

ТрEDIAKовский поддержал старого князя, сказав, что он и сам обожает героев Мольера, а также Теренция и Плавта и что в Гааге ему случилось раз видеть выступление бродячих итальянских комедиантов и смеяться до слез. Тут уж Александр Борисович не выдержал: «Но ты, должно быть, знаешь, что еще Аристотель подметил происхождение слова «Комедия» от слова «село», а значит, это низкий жанр, недостойный истинных ценителей прекрасного?»

Теперь отец устранился от разговора и любовался их схваткой, наверняка находя ее преколичной. «Книга может быть хороша или скучна, а смокование и обсуждение жанров, стиля и прочее — пустое языка чесание», — любил он говаривать.

9

— Верно вы сказали, ваше сиятельство, — ТрEDIAKовский повернул к нему голову, — но все же как бы вы возразили на то, что гораздо приятнее, коли вас пытаются рассмешить, нежели чем когда вызывают слезы, повествуя о печальном? Удовольствие, приносимое весельем, гораздо сильнее наслаждения, вызываемого слезами.

— Да, да, — не утерпев, поспешил вставить отец, — недаром двор, дамы и кавалеры, да и простой народ — все более охотно посещают комедию.

— Нет, совсем с тобой не согласен, — отвечал ТрEDIAKовскому молодой князь. — Ты неверно ставишь вопрос и ведешь спор. Если уж затронул чувства, то, скажу прямо, сострадание — лучшее, самое благородное и самое возвышенное из душевных движений, а ведь порождает его только высокая трагедия!

— Не смею и вам противоречить, — нашелся ТрEDIAKовский. — В целом я придерживаюсь мнения Буало о первенстве и главенстве высокого стиха, но что-то важное скрыто в комичном. Поэтому и мечтаю я продолжить образование, ибо, попав за море, понял, как слеп и беспомощен, неучен и несведущ до сих пор. Я заметил, что их сиятельство, — он поклонился старику, — не склонен уважать трагичное, а посему хотел только подчеркнуть значимость и необходимость комедии как лекарства для жизни.

Ловко выкрутился, пройдоха, настоящий Арлекин... Но Александр Борисович уловил в его речи и неподдельное, от души идущее. — Ну-ну, философствуйте без меня, — оборвал их отец. — Я вижу, что тебе, — он взглянул на стоящего Тредиаковского, — говоренное не безразлично, а значит, учение не повредит. Я больше склонен к практическим наукам, но вот князь Александр убеждает меня в важности модной нынче словесной учености. А пока почитай-ка нам свои вирши, — без всякого перехода приказал старый князь.

В халате и туфлях, смешной и нелепый, вскинул он руки и принялся декламировать нараспев элегию на смерть Петра Великого. В самую точку попал — отец оценил, потому как любил покойного государя.

— Хорошо, хорошо, ступай, Антон покажет тебе комнату, — отпустил старый князь. — Будешь учиться, коль хочешь.

... Лежа вечером на диване, Александр Борисович поймал себя на мысли, что ему приятно думать о молодом человеке: и верно, приятно, а вирши у него получились высокопарные, схожие по силе слова с речениями Прокоповича. Впрочем, не зря же их учат сочинительству в академии. Конечно, до французских поэтов ему далеко, но отец прав, русский язык от природы лишен такой нежности и вкуса. Неплохо будет, думал он, взять Тредиаковского под свое покровительство: у французских вельмож это принято — помогать вечно бедствующим поэтам.

10

Старый князь мгновенно причислил Василия к любимчикам — требовал присутствия при утреннем туалете, сажал с собой за стол и отпускал потом на весь день с условием, что его собеседник придет на закате, развлечет беседой или чтением и скрасит пустые полуночные часы, — Куракин, часто дремавший днем, долго не мог заснуть ночью, уверяя окружающих, что страдает тяжелой и мучительной инсонниа, иначе российской бессонницей.

Париж был велик, многолюден и при этом радушен, полон цветов, ярких одежд и лент. Василий не уставал наслаждаться вольными парижскими чудесами: богатейшими книжными магазинами, крохотными каменными улочками, широченными зелеными бульварами, длинными зданиями церквей, с пугающе-притягивающей музыкой органов, с пышным облачением священников, игрой света, сочащегося сквозь мозаичные витражи в разбегающееся прохладное пространство соборов. Он не утерпел, взобрался на высоченную башню церкви Пресвятой Богородицы, или Нотр-Дам, откуда видно было все окрест. Париж лежал под ним, круглый, как тыква, заключенный в кольцо каменной стены. Маленькие башенки на ней обозначали ворота: де Витри, Д'Иври, де Шуази, д'Итали и многие еще, которые он не успел изучить.

Он долго стоял до заката, усталое малиновое солнце опускалось за горизонт, внизу, в сером городском колодце, фонарщики уже отправились в ежевечерний обход — зажигать все восемь тысяч немощно-желтых односвечовых уличных светильников. Только тогда Василий сбежал по крутой лестнице на улицу; миновал главный вход и заспешил домой. Город в сумерках был страшен: ветер громыхал жестяными вывесками, задувал испуганно моргающие фонари, но он не заблудился, память вывела к особняку Куракиных, а Фортуна уберегла от лихих ночных людей.

Как только вступил он за порог, лакей передал наказ старого князя подняться для беседы в зеленую гостиную. Старый князь уже привык к вечерним беседам и, мигом проглатывая отчет о дневных впечатлениях, требовал историй про Астрахань, про полуденные края,

где дипломату, много повидавшему, бывать не пришлось. Просил описывать подробно: верблюдов, ослиный базар, персов, индийцев — их товары, облачения, наряды. Василий красочно живописал рассказанное отцом шествие слона через Астрахань, когда Кириллу Яковлева чуть не примяли в толпе, стрелецкий бунт, умело и незаметно совмещающая детские воспоминания со сведениями, почерпнутыми из объемистых фолиантов путешествий Лебрюна.

Верблюды поразили воображение посла, он даже жаловался, что теперь часто видит их во сне.

Покончив на сегодня с Астраханью, он принялся читать князю французский роман, и лишь далеко за полночь старик позвонил в колокольчик, призывая заснувшего за дверью слугу. Князь сам поднялся и подал руки — Василий и вaledешамбр, поддерживая господина посла, проводили его до опочивальни; ТрEDIAKовский тихонько затворил обитую войлоком дверь, пожелав вельможе спокойной ночи.

— Покойной ночи, каро мио, спи хорошенько, зачисление на днях решится, — долетело напутствие князя.

11

«Верблюжье мясо есть — долговременная болезнь. Верблюда во сне видеть и с ним сидеть — значит смерть».

Из книги «Сонник, или Истолкование снов, выбранное из наблюдений Астрономических и Физических и по Алфавиту расположенное. Переведено с разных языков для увеселения любопытного общества».

12

Два письма из России пришли 18 октября вместе с очередными депешами, но так и остались лежать нераспечатанными и забытыми на столе в кабинете. Три дня, пока длился нескончаемый поток соболезнующих, Александру Борисовичу было не до политики. Старый князь скончался во сне с 17 на 18 октября 1727 года. Мертвого обнаружил вaledешамбр, пришедший утром, по обыкновению, брить господина.

Смерть отца не укладывалась в голове — даже для лечащих докторов она была неожиданной: ведь течение болезни приостановилось и князь начал выезжать и включился в плетение дипломатических интриг, успешно проводимых с его подсказки князем Александром.

Если бы не секретарь покойного, взявший на себя смелость руководить домом, да молодой ТрEDIAKовский, неотступно следовавший по пятам, Александр Борисович, верно, не вынес бы эти пронзительно пустые дни, — он любил отца и теперь, оставшись один, ощутил всю тяжесть одиночества.

К концу третьего дня поток посетителей заметно поуменьшился, и Александр Борисович взял себя в руки и заставил подняться в рабочий кабинет. Единственное, что он успел совершить за эти траурные дни, — послал курьера с известием в Россию.

Следовало начинать жить без руководителя. Сколько бы тайне ни сетовал молодой князь на медлительность и чрезмерную осторожность отца, он понимал, что все говоренное и совершаемое им даже в обыденной жизни — плод серьезных раздумий. «Поспешай не торопясь», — говорил покойный и всегда оказывался прав. Теперь, не имея во Франции официального статуса, Александр Борисович, привыкший

к действию, оказался вдруг с подрезанными крыльями. Пока еще доскачет гонец. Пока там решат, а там не любят торопиться. Как-то еще примут в Петербурге известие из Парижа? Вполне вероятно, если не заступятся верные люди, ему вообще не видать посольских полномочий. А возвращаться на родину князю не хотелось — там теперь Куракиных не жаловали, к тому же — сведения из столицы поступали весьма тревожные. После смерти императрицы Екатерины, последовавшей шестого мая сего года в девятом часу пополудни от лихорадки, как гласило извещение, на престол взошел внук Петра. Надежды, связанные с воцарением, быстро развеялись. Присягнув в Париже новому государю, отец и сын Куракины не клялись в верности Александру Даниловичу Меншикову, который и при покойной государыне был одним из самых приближенных трону, а теперь, как сообщали тайные корреспонденты, и вовсе прибрал к рукам бразды правления.

Вот и сейчас Александр Борисович медлил вскрывать письмо: скорее всего, ничего хорошего оно не сообщит. И верно — новости сообщались страшные: в столице начались гонения. Петра Шафирова, возвращенного Екатериной из ссылки и ею же утвержденному президентом Коммерц-коллегии, Меншиков при содействии Остермана отправил в Архангельск заведовать делами китоловной компании; правда, за бароном сохранили звание президента, но именно пустой титул и вселял ужас. Ягужинскому, посланнику в Польше, велено ехать в Малороссию, в армию. У Артемия Волынского отняли казанское губернаторство и задвинули его подальше — министром при дворе герцога Голштинского. Но и это, столь незначительное, место показалось Меншикову опасным, и вскоре Волынский был отправлен на юг, в армию, вдогонку Ягужинскому.

Пожалуй, узнай Александр Борисович про опалу Волынского при других обстоятельствах, он наверняка порадовался бы. Артемия он терпеть не мог. Они были приблизительно равного возраста, одинаково продвигались по служебной лестнице, но буйный, надменный и деспотичный характер Волынского всегда вызывал у Куракина неприязнь, а особое расположение Петра к дерзкому и напористому боевому офицеру рождало у князя острое чувство зависти. Астраханское, а затем казанское губернаторства — были верным путем наверх, так сказать, последними испытаниями перед ответственными постами в столице. Сколько людей прошли через окраины к вершинам! Это была проверенная дорожка — Салтыков, знатный родственник Волынского, недаром выхлопотал своему племяннику губернаторство. Петр, зная Артемия Петровича как человека преданного и крутого, подписал назначение, надеялся, что новый начальник наведет в расшатавшихся окраинах порядок, установит дисциплину. Но ведь не кнутом же, не кулаком, не кровью одной следует проводить реформы, — как человек просвещенный, Александр Борисович видел вред, наносимый стране чересчур ретивыми исполнителями. В этом и была главная, как он полагал, причина его ненависти к Артемию Волынскому. Князь причислял себя к сторонникам умеренного курса.

Получив известия об опалах, князь даже пожалел давнего недруга, ибо понимал, что личные счеты — ничто перед общей опасностью. Дайте волю — Александр Данилович всех сметет, и в Париже достанет...

Корреспондент предсказывал опалы многим — в том числе и Феофану Прокоповичу. Меншиков вынужден искать поддержки в противном лагере, коли поднял меч на главных вельмож государства.

— Значит, Александр Данилович начал прибирать Петровых сподвижников — свидетелей, — пробормотал Куракин. — Быстро действует и круто, спешит, а значит, есть еще надежда...

Нет, ехать в Россию — безумие. Дождаться курьера, и, если тот

подтвердит высокие дипломатические полномочия, включаться вновь в игру, вдалеке от опасной теперь отчизны, но на благо ей. И обязательно, обязательно заслужить одобрение Петербурга.

Он распечатал второй конверт — писал господин Шумахер, первый помощник президента Академии наук Лаврентия Блюментроста. Через Головкина до ученого дошли слухи о предстоящем издании сочинений Лебрюна, и он хотел бы просить сиятельного князя и его подопечного господина Третьяковского, еще лично Шумахеру не известного, но заранее глубоко чтимого, посодействовать с включением его статьи о калмыках в приложения к книге голландского путешественника.

Князь ухмыльнулся: вероятно Шумахер, не разобравшись, принимает Третьяковского не за того, кто есть он на самом деле. Как в фарсе с переодеваниями, сказал бы отец...

Он решил позвать поэта, но тот вошел сам, в печальные траурные дни разрешено было беспокоить князя без стука.

— Ваше сиятельство давно не ели, не изволите ли подкрепиться? Голод совсем обессилит вас, ваше сиятельство.

Он смотрел на юношу. Вероятно, отцу так же было приятно на него глядеть. Третьяковский подкупал мягкостью и незаурядным умом, был не льстив, но предельно обходителен, беседа с ним доставляла удовольствие.

— Это ты, каро мио, — отметил про себя, что назвал любимым словечком покойного. — На вот, прочти — тебе письмо адресовано.

Третьяковский от неожиданности отшатнулся, князь поспешил его успокоить:

— Не бойся, известия вовсе не страшные. Две смерти в три дня — многозато бы вышло, ты не находишь? Садись здесь же и читай, — приказал он, — а обговорим все после, на днях. Господин Шумахер человек ученый, библиотекарь, иными словами — управляющий всеми делами петербургской науки.

Пока Василий читал, князь поглядывал на своего «поэта» из-под полуприкрытых век. Уже два долгих вечера, томительных, как путь на Голгофу, коротал он с Третьяковским. Василий, по просьбе князя, рассказывал, о чем они говорили со старым князем. Оказывается, они не только читали, отец, видя, что нашел наконец благодарного слушателя, спешил наставить будущего студента на путь истины. Он ругал галантную щегольскую галльскую поэзию за пустые красоты слога. Обличая московских священнослужителей, он прославлял проповеди Прокоповича: меткие, понятные, простые и вместе с тем возвышенные, поистине поэтические. Надобно пример брать нам с италианского, ибо язык сей демократический, доступен и знати, и народу, и слугам Господа Бога, хотя последние и ведут службу на латыни.

Конечно, отец — горячий сторонник и сподвижник Петра Великого — пояснял юноше суть его нововведений, многим в России до сих пор кажущихся крамольными, чуть ли не еретическими.

— Бог — верховный судия на небе, — утверждал Борис Иванович, — но не на земле, где должность Фемиды отправляет совесть государя и его ближайших приближенных. Церковь призвана помогать им. Пагубно отделять ее, противопоставлять государству, как делают то католики, как мечтают ревнители древнего благочестия в России.

— Одно дело политика, другое — жизнь духовная. Нельзя думать упрощенно, что Синод есть уступка протестантам, как и отказ от патриаршества — неприятие католичества. У России свой путь, и следует, учитывая опыт окружающей Европы, беря самое передовое, самое лучшее, вести русский корабль по начертанному ему одному курсу. Все происходит от непонимания, нежелания отказаться от укоренившихся привычек, от боязни потерять мнимые привилегии. Новое всег-

да с трудом приживается, но сегодня, когда поворот пройден,— пути назад нет.

Оказывается, он много порассказал Василию такого, чем редко делился с сыном в последние годы. И было обидно, что именно к чужому человеку в предсмертные свои дни старик испытывал наибольшую приязнь.

Слушая отцовские рассуждения в пересказе Василия, Александр Борисович, заглушая ревнивое чувство, сказал:

— Российский язык темен и дремуч, как и стоящие за старину церковники, я согласен с отцом. Я теперь во всем с ним соглашаюсь, — добавил он печально. — Новый язык звучит лишь в проповедях Прокоповича, недаром возвысил его государь. Сей языкатый поп сумел уловить невидимое, но главное, нужное, поддерживающее и укрепляющее православную церковь — дух императора, дух новой России. Культура лишь зарождается в темной России, надобно ее питать лучшими плодами из прекрасной Европы — одним кнутом обновления не достигнуть. Петр Великий это понимал, но там, в России, больше уповают на силу, видят лишь одну сторону, и отца это пугало. Впрочем, говорят, и любимцы императора нынче не в чести в Отечестве...

Он проговорился, но Василий не понял, он ведь ничего о российских делах не знал и не ведал.

Куракин, по размышлении зрелом, еще больше укрепился в принятом решении. Нет, он затаится, переждет. Даже в свет перестанет выезжать — парижане поймут и припишут затворничество естественной скорби об умершем, ему и притворяться не надо.

13

Василий сидел в доме, как в заточении, — третий день подряд шел на улице дождь, меленький ноябрьский дождик, и он сидел за столом своей комнатенки и глядел на стену противоположного здания и на холодные, стекающие по стеклу капли дождя.

Неужели Куракины правы — российский язык темен и дремуч, тяжело звучен и не сравним с певучей французской речью?

Найду ли для очей сравненья —
Они желанья врата,
Изобразю ли наслажденья
Родник — багряные уста?

Что важнее здесь — мелодия, ритм или нежные и столь желанные слова?

Он вспоминал отцовские канты, вирши Симеона Полоцкого, хитросплетенные речи Феофана Прокоповича, заиконоспасские опыты — свои и товарищей: громоздки, хотя и не лишённые мерной тягучести, все они разительно отличались от легких, как крылья мотылька, стихов французов. Как перевести французскую поэзию на русский и сохранить ее обаяние? Поразительно: источником поэтов здесь тоже были наставленья древних, вобравшие в себя, как в свод законов, всю мудрость слова — Риторика, но как умело требованья их прятались в книгах — ведь задавая вопрос, как будто бы неразрешимый, сам Лафонтен следовал законам построенья искусной фразы. «Как описать черты?» — он якобы не знает, и, вопрошая, просит помощи, и тут же разбивает сомненья слушающих легкими, но сочными мазками, живописует красоту желанных женских губ: Родник

Наслажденья, Врата Желания — как часто шептал Василий эти сладкие сравненья.

Он пробовал описать свое чувство к Жаннет, но не смог — слова (все-таки как важны слова!), подобранные у французов, переводимые дословно, не ложились на бумагу.

Дождик все лил, и уныние, им порожденное, сменилось сладостными грезами, всегда недостижимыми, но необходимыми успокоительницами, поддержками встревоженных чувств. Он вспомнил бурю, полонившую корабль в Амстердамской гавани, и пришла ей вслед на память гроза, случившаяся в Гааге. Они с Жаннет, застигнутые врасплох непогодой, отсиживались в теплом винном погребе неподалеку от Биненгофа, куда ходили кормить зверей. Тогда еще он был влюблен в свою спутницу. Он пылко описал ей морское ненастье, а поскольку хлестал за окном ливень и бушевала гроза, то девушка, трепеща от ужаса, жалась к огню открытого очага. Васька вдруг явственно ощутил ее испуг, согревший его, покрывший щеки пунцовыми пятнами стыдливой горячки затаенного желанья, и силу, силу стихии, породившей минутную близость, а теперь смывающей жирную грязь с булыжной мостовой.

С одной страны гром,
С другой страны гром,
Смутно в воздухе,
Ужасно в ухе!

Холодно, мрачно; и бьют тяжелые ротные барабаны; и мчит ветер по степи клубок перекаати-поля; и вихрем мятется песок над солончаками, засыпая и без него буро-красные, непригодной для питья водой наполненные, озера и длинные лужи, и воет, и свищет; и, как длинноногие волки, враскачку бегут хищнопенные валы, обнимают корабль, сдавливают, бьют в борта; и солоноватые летят брызги и падают, словно с небес, оловянными слезами на палубу.

Набегли тучи,
Воду несучи,
Небо закрыли,
В страх помутили!

Кажется — вот мечутся звери в вольерах Биненгофа, люди бегут по полям, молитвенно заламывают простертые кверху руки, огненные перуны с треском, хладящим воздух, срываются с небес, и несутся с вышины дождевые потоки. Он писал, и сами слова несли перо.

Ночь наступила,
День изменила,
Сердце упало:
Всё зло настало!
Пролил дождь в крышки,
Трясутся вышки,
Сыплются грады,
Бьют вертограды.

Он так возбудился, написав это, что прочитав отважился не сразу, а перечтя, стал править, убыстряя темп и укорачивая слова. В конце, поняв, что читателю надо вынести урок из этой зарисовки, он дописал восьмистишие — просьбу о днях пригожих и о теплом солнце, необходимом всем: и трудолюбивым хлебопашцам, и беззаботным и прекрасным пастушкам. Стихи получились громкозвучные,

быстрые, а вместе с тем сильные той природной мощью, какую грозна гроза.

Князь Александр, которому он поднес «Описание грозы, бывшая в Гааге», сказал: «Ввижу, что ты действительно становишься дживанне поэта, как сказал бы отец. Французская школа может сделать из тебя нечто привлекательное, что не стыдно будет показать в России. Трудись и дальше, каро mio, мне это приятно!»

Успех окрылял, воображение рисовало радужные картины. Описывать следовало чувство — он понял тайну французов; теперь ему будет легко слагать вирши, с каждым днем все легче, ведь грудь постоянно раздрают чувства, самые-самые разнообразные.

Но последующие опусы не удались, и он их уничтожил. Князь был прав — следовало упорно трудиться дальше.

14

Только в декабре курьер привез депешу, утверждающую Александра Борисовича советником русского посольства. Князь снова пустился в дела политические, воспрянул духом, начал выезжать в свет. В начавшейся суеде он все же вспомнил о ходатайстве отца за Тредиаковского и сумел устроить так, что юноша был принят и приступил к занятиям богословием, минуя годичное ученичество на факультете искусств.

Преподаватели, надо сказать, содействовали разделению студентов. Кумиром «классиков» был декан — аббат Тарриот. Сухой, благостный на вид иезуит был исключительно умен. Он читал богословие и находил наслаждение в бесконечном цитировании античных философов, отцов церкви и Писания, где, выискивая мнимые противоречия, устранил их и таким образом показывал ученикам многообразие и величие самого Создателя, породившего словом столь разноликий и сложный мир. Аббат любил, выбрав термины, положим «свобода» и «несвобода», порассуждать об их потаенных смыслах и часто погружался в такие глубины древней мысли, что, кажется, сам изумлялся, находя под конец выход из лабиринта нагроможденных силлогизмов.

— Все дело в терминах, любезнейшие, все дело в терминах, — постоянно напоминал он, считая, что без этих «путевых столбов», как изволил он острить, невозможно постижение непостижимого до конца Божественного замысла.

— Все в мире познано и предопределено великими древними, — доказывал Тарриот. А потому любые нападки на античность вызывали у него немедленный приступ ненависти и ярости. — Это происки янсенистов, — кричал он с кафедры и рассказывал студентам, как в молодости громил монастырь Пор-Рояль — последний оплот этой «богомерзкой» секты, восставшей против католического учения и мечтавшей создать свою, обновленную и независимую, духовную общину.

«Новые» почти открыто заявляли о симпатиях к поверженным мыслителям Пор-Рояля, перенесших теперь свою основную деятельность в свободную Голландию, и поэтому филиппики Тарриота, конечно же, относились не к прошлым, а к нынешним врагам.

Жан-Пьер Меранж, негласный лидер «новых», как-то подсев к Тредиаковскому, объяснил, что янсенисты не так страшны, как их малюют декан и его приспешники. Члены братства ратовали за обновление церкви и мира, призывая вернуться к простым и чистым обычаям первоначальных христиан, выступали против воинствующего фанатизма иезуитов, против стяжательства и разврата священников и монахов, против богатой и политиканствующей римской церкви. Они хотели создать общество Разума: многие известные писатели и ученые,

как Фенелон, Мольер, Блез Паскаль и другие, приложили усилия в борьбе с иезуитами. Но Орден иезуитов оказался сильнее — Пор-Рояль пал, а янсенисты изгнаны почти из всех учебных заведений страны.

Третьяковский слушал внимательно, но мнения своего не высказывал, решил не спешить, понаблюдать, хотя поклонники янсенистов, требующие обновления, нравились ему — их схватки с иезуитами напоминали скрытую войну российских церковников, а лекции Тарриота очень смахивали на богословские штудии ректора Вишневого.

Тарриоту противопоставляли в Сорбонне грамматика Дю Шанле. После бурной янсенистской молодости и последующего «исправления» он замкнулся, на занятиях говорил только о тайнах языка и литературы, рассуждая о которой, он, по сути, объявлял войну Тарриоту — стороннику заранее предопределенного будущего.

— Сюжеты произведений следует брать из жизни, а не только из античного наследия, — говорил Дю Шанле. — Ведь мир движется вперед, а не стоит на месте.

Все споры в университете, по большей части вертясь вокруг этих разногласий, были по сути сражениями мировоззрений.

Прошло полгода его занятий, но на него мало обращали внимания, как на не примкнувшего ни к одной из сторон. И вот однажды, после утренней лекции декана, посвященной этике Аристотеля, разгорелся очередной спор: не сошлись в мнениях о сценическом искусстве.

— Барон стал так завывать и реветь, что вчера, слушая «Британика», мне пришлось зажимать уши. Покойный Расин вряд ли был бы счастлив, услышав его вопли, — колкий на язык Жак Леглие сказал это громко и таким пренебрежительным тоном, что ясно было, кому предназначался выпад.

Поль Шарон, изящный брюнет, не мог стерпеть такой наглости.

— Мишель Барон всемирно признанный драматический актер, и я сам слышал, как недавно ты, Леглие, восхищался его мастерством, — воскликнул он гневно.

— Даже если это действительно был я, — повысил голос и Леглие, — это не дает тебе повода учить меня, кто хорош, а кто плох на французской сцене. Я нахожу, что Барон стал петь свои монологи так, словно ощущает на плечах хламиду древних греков, а ведь это по меньшей мере глупо, — он саркастически рассмеялся.

— Именно его манера и приносит Барону успех у публики, — Шарон начал горячиться. — Трагедии и полагается пение, так требовал Аристотель. По-твоему, актеры должны лаять, как торговки на базаре?

— Лают собаки, — грубо осадил его Леглие, — вечно у вас Аристотель в защитниках, нельзя ли придумать адвоката поновее? Выходит, если Аристотель сказал, что следует петь стихи, значит, надо надирать глаза и выпучивать глаза, отставлять ногу и поднимать руки так, словно собираешься вознестись на небо?

— Аристотель не такой уж слабый авторитет, для тех, конечно, кто понимает его учение, — ехидно заметил Шарон.

Василий, оказавшийся в группе студентов рядом со спорящими, внимательно слушал. Он тоже был на представлении, и игра трагика показалась ему чересчур манерной. «А что ты думаешь по поводу пения Барона?» Неожиданно он понял, что прозвучавший над ухом вопрос относится именно к нему. Спрашивал Жан-Пьер Меранж. Василий повернулся к нему, и Меранж, утвердительно опустив глаза, хитро улыбнулся.

— Да позволено мне будет рассудить вас, уважаемые, — начал Василий, стараясь придать голосу спокойную твердость, — уж если затронули древних, я припомню свидетельство Птоломея. Сей ученый

муж также делит звуки на непрерывные, применяемые в разговоре, и мелодические, подчиненные определенному ритму, используемые в пении и музыке, подражающей инструментальной. Его учение развивает дальше Марциан Капелла, отмечающий еще и промежуточное положение, — он выделяет род звука, который не так прерывист, как певческий, и не так непрерывен, как разговор, и употребляется при чтении стихов, то есть при декламации. Тут-то и таится опасность для актера впасть в крайности. Поскольку начали с осуждения игры Барона, то я нахожу, что его декламация слишком приближена к пению и звучит неестественно. Недаром комики так любят высмеять в интермедиях своих высокородных собратьев. Если трагики будут петь, они превратятся в оперных певцов. Им не следует возвышать голос до пения, в том смысле, в каком мы его понимаем и в каком говорят о нем античные мудрецы.

Он сделал шаг назад, понимая, что сказал всё, но раздавшиеся одобрителльные хлопки «новых» только раззадорили Шарона, не собиравшегося так легко сдаваться.

— Это было бы верно, — Шарон повернулся теперь к ТрEDIAKовскому и произнес с вызовом: — Если не отбросить многие свидетельства, как Страбоново, например, что стихи пелись. А ведь в те времена литература вообще состояла из одних стихов.

Василию ничего не оставалось, как принять вызов и стоять до конца.

— Я думаю, что все они имели в виду декламацию. Ведь мы говорим сегодня не «петь стихи», а «читать стихи». Если быть точным, то Платон, упоминая рапсода Иону (то есть певца!), исполняющего Гомера, дает понять, что только в особо патетических местах голос актера поднимался до настоящего пения.

Кто-то попытался было вступить в спор, но послышались крики: «Диспут! Диспут!» — и Меранж быстро навел порядок: соревнующихся в острословии заключили в глухой круг. Теперь стало очевидным, что ТрEDIAKовский защищает «новых», и все горели желанием увидеть, кто же выйдет победителем.

Василий почувствовал поддержку, и это придало ему уверенности. Шарон намеренно оскорблял его своим высокомерием и уничижительными взглядами, и злоба начала вскипать в ТрEDIAKовском, но он сдержался.

— Всё дело в терминах, любезнейший Шарон, всё дело в терминах, я только это имел в виду, — говоря это, Василий придал своему лицу умильность и стал удивительно похож на Тарриота. — Цицерон сказал, что, когда он слышит разговор Лелии, ему кажется, будто он слышит исполнение произведений Плавта и Невия, а значит, исполняя Плавта и Невия, не пели, а говорили, ведь вряд ли Лелия пела в частной жизни. Тот же блестящий римский оратор в другом своем сочинении говорит, что комические актеры часто затушевывали размер и ритм стихов, стараясь приблизить их к обыденной речи. Если бы комические стихи пелись, это было бы невозможно, не так ли?

Но Шарона не просто было сбить с толку.

— Что и говорить о комедии, вы еще скажите о площадных фарсах! Искусство настоящей комедии безнадежно пало, а ведь Донат и Эвтемей говорят, что первоначально трагедия и комедия состояли только из стихов, положенных на музыку, и их пели под аккомпанемент духовых инструментов. Исидор Севильский одинаково называет «cantor», то есть певец, как комедиантов, так и трагиков. Ему, кстати, вторит Гораций. Нам остается только сожалеть о прошедшем, ибо сегодня мы зрим явный упадок искусств и актерского (настоящего, классического, я имею в виду) мастерства.

— Не плачьте о прошедшем, — съехидничал Василий, — мне кажется, вы слишком молоды, чтоб постоянно поминать старину.

В конце долгого спора Василий, показав себя эрудитом и лихим спорщиком, разбил в пух и прах аргументы противника и вежливо ему поклонился, но сесть ему не дали. «Новые» пожимали ему руки, выказывали восхищение. Жан-Пьер расцеловал его в обе щеки и тут же потащил в кабачок, где «новые» достойно отметили успех, одержанный в нелегкой битве.

Вино и комплименты лились рекой, ударяли в голову, и распалившийся Василий хохотал с ними вместе, вспоминая Шарона, такого сначала бравого — и несчастного, как побитая дворняжка, в конце.

Василий, шагая к особняку Куракина, не заботился, куда попадет башмак — на обочину или на тротуар, ощущал, что его поддерживают крепкие руки новых приятелей.

— Мне жалко Шарона, он хороший малый, — сказал он вдруг плаксиво, на миг очнувшись, и снова уронил голову на грудь.

У дверей особняка они обнялись и долго говорили в нерушимой дружбе. Затем Василий завалился спать, и почему-то диспут снился ему всю ночь — какой-то расплывчатый, темный и страшный.

Так началась полная событий студенческая жизнь.

15

Ах, это было счастливейшее время! Да! Да! Это было наисчастливейшее время! Тончайшая логика философских учений, сложные и столь интересные лингвистические загадки Дю Шанле не мешали им наслаждаться жизнью. Свободные часы, минуты, мгновенья, а их так не хватало, ведь время было счастливое! Они, сбившись стайкой, словно стараясь оправдать прозвище «стрижи», данное парижским студентам за их привычку проживать в верхних неотопливаемых этажах доходных домов, прочесывали Париж в поисках необычайного. Нет, не стоит думать, что учение страдало, было заброшено и книги впустую простаивали на полках, — янсенисты придавали первейшее значение знаниям, понимая, что разум — единственное средство в борьбе за нового человека против дьявольски изворотливых и начитанных иезуитов. Но, помимо священных книг и классиков, они с увлечением читали новую галантную литературу, хотя часто называли ее пустячком, годным лишь для развлечения. Стоило в Гааге выйти «Воспоминаниям знатного человека, удалившегося от мира», небольшой по объему книжице, на титульном листе которой по ошибке или с заведомой целью был проставлен грядущий 1729 год, как они уже обсуждали ее, передавали из рук в руки. Сентиментальный ТрEDIAКОВСКИЙ не скрывал восторга — так проняла его сердце любовь, описанная красноречивым аббатом Прево. Париж, не так еще давно казавшийся недоступным с высокой башни Нотр-Дам, распахнул наконец ему свои объятия, и Василий упивался городом, упивался свободой, упивался заботливой и преданной, галантной и деликатной французской дружбой.

Жизнь била здесь ключом. Театр и Опера! Опера и Театр! Ни одна, верно, премьера не давалась без присутствия «новых». Они осуждали с галерки постаревшего Барона. Особенно старался Леглие, заявивший, что объявляет войну отжившему классическому актеру. При этом француз сам превращался в актера: кричал, передразнивал трагика и однажды чуть не свалился в партер, перегнувшись через перила балюстрады. Его вовремя схватили сзади за полу кафтана — Леглие отбивался, комично махал руками и обратил на себя внимание всего театра. Они здорово посмеялись тогда. Были у них и свои кумиры, как

например, гениальная Лекуврер, которой аплодировали до изнеможения, надсаживая глотки до хрипа. Настоящая трагедия захватывала, и, затаив дыхание, следили они за причиняющими неподдельное страдание событиями в прадоновском «Регуле». Они присутствовали при пикантном конфузе, случившемся в Опере, когда представляли «Беллерфона» Люлли. В четвертом акте, когда на просцениум выехал дракон, у него вдруг, на радость публике, что-то испортилось в брюхе — чрево его разверзлось, и перед зрителем предстал совсем почти голенький мальчишка, приводивший в движение глаза и клыкастую пасть огнедышащего чудовища.

Галлы вообще были по-детски любопытны, до всего любопытны. С таким же невинным интересом, как они следили за действиями незадачливого актера, друзья выспрашивали у Василия подробности российской жизни, и часто ТрEDIAKОВСКИЙ развлекал их, живописуя Москву и совсем уж экзотическую Астрахань. Поскольку два мира мало были сопоставимы, у них вошла в привычку шутливая поговорка: «Спросите у Базиля, как это там у них в России делают...»

Василий не обижался. Он платил той же монетой, и обоюдные подтрунивания придавали разговорам остроту. Там, где бывали «новые», хохот не замолкал никогда.

Многое здесь удивляло Василия. Однажды он затащил приятелей на Гревскую площадь, где рукой главного палача Парижа был предан огню дерзкий памфлет на особ королевской крови.

Всё началось с юбок. Вошедшие в моду пышные непомерно благодаря каркасу-панье юбки принцесс, стоявших по обе стороны трона королевы, совсем заслоняли от двора его монархиню. Специальным указом кардинал де Флери — первый министр королевства — распорядился, чтобы принцессы стояли на определенном расстоянии от ее величества, и потесненные принцессы крови добились, чтобы в свою очередь были отодвинуты и герцогини, стоящие в тронной зале за ними.

Париж не прощал таких мелочей, подмечал их тотчас, рождал кусачие эпиграммы, памфлеты или злорадные песенки, распеваемые на всех перекрестках. Но когда дело заходило слишком «высоко», для остротки, как теперь, в истории с панье, одетой в красное палач расчитанно медлительным жестом предавал невинную бумагу жаркому огню, и по взвращающей на казнь толпе прокатывался шепоток. Громко заговорить на эту тему было теперь небезопасно.

Василий слушал барабанный бой и, вытягивая шею, следил за грозным палачом с неподдельным любопытством. «Новые» втихомолку возмущались произволом кардинала де Флери: «Варвары, так можно спалить всю литературу», — сказал Меранж.

— А как у вас в России поступили бы с подобной сатирой? — полшутя-полусерьезно спросил Леглие.

— У нас бы перво-наперво снесли голову автору сатиры, — ответил Василий, не поворачивая головы. — Но в России таковых не пишут.

— Хм! Значит, мы еще не такие варвары, как кажется, — не скрывая иронии, изрек Меранж и поспешил извиниться: — Надеюсь, ты не обиделся?

Что мог ему Василий ответить?

Уловив растерянность, друзья набросились на ТрEDIAKОВСКОГО с обычными вопросами. Как всегда, всё свелось к Петру — колоссальная личность российского императора, грозного и загадочного, вызывала у французов восхищение, но была им непонятна.

Но Жан-Пьер ревниво относился к чьей-либо популярности, а потому бесцеремонно влез в беседу, отвлекая всеобщее внимание на себя.

— Кстати, о царствующих особах, — начал Меранж. — Знаете ли вы последние новости о нашем ныне здравствующем короле?

Вмиг все слушали только ёго.

— У королевы, как вам известно, — безбоязненно вещал Жан-Пьер на всю улицу, — вместо ожидаемого и так молимого дофина родилась третья принцесса. «Не печальтесь, жена моя, — сказал его восемнадцатилетнее величество упрямо, — через десять месяцев у нас с вами будет мальчик!»

«Меранж сказал во всеуслышанье пошлость про своего короля, и все только рассмеялись!» — подумал Василий. Никакого преклонения перед священной особой монарха, как же можно так жить? Во что тогда верить?

А французы уже забыли о царствующих особах и принялись подтрунивать над юным Даниэлем Ури. Юношу бросила дама сердца, и он, кажется, серьезно переживал разрыв. Остальных членов компании это смешило — молодые люди не придавали мимолетным интрижкам значения. Среди смеха, подмигиваний и обидных жестов только Василий выразил шепотом искреннее сочувствие несчастному Даниэлю.

Придя домой, он вспомнил насмешки, более похожие на травлю, покачал головой, жалея юнца, и . . . не смог удержаться от шалости — начал на французском сочинять пасторальную песенку про пастушка Дамона, отвергнутого надменной Дафнэ. Слова легко подобрались, и «Басенка о непостоянстве девушек» изрядно позабавила приятелей. Даже Даниэль ничуть не обиделся. Но, что важнее, стишки пришлись по душе князю Александру, и Василий, не придававший сперва своему творению значения, осознал, что сумел написать сносное стихотворение по-французски.

По сему случаю князь подарил Третьяковскому праздничный костюм, и в нем, в небесно-голубом кафтане и камзоле, в башмаках с лентами, Третьяковский почувствовал себя настоящим парижанином.

Василий действительно был счастлив — парижская школа, небесный кафтан . . .

16

*Красное место! драгой берег Сенски!
Тебя не лучше поля Елисейски;
Всех радостей дом и сладка покоя,
Где ни зимня нет, ни летняго зноя.*

*Над тобой солнце по небу катает
Смеясь, а лучше нигде не блистает.
Зефир приятный одеваает цвёты,
Красны и вонны чрез многия леты.*

*Чрез тебя лимфы текут все прохладны;
Нимфы гуляя поют песни складны.
Любо играет и Апполон с музы.
В Лиры и в гусли, также и в флейдузы.*

*Красное место! драгой берег Сенски!
Где быть не имеет манер деревенски:
Ибо все держишь в себе благородно:
Богам, Богиням ты место природно . . .*

Из «Стихов похвальных Парижу», сочиненных в бытность там Василием Третьяковским.

Удивительная вещь — случай! Или, быть может, не бывает их в жизни, они — мираж, и всё заранее предрешиено фортуной? Но нет, видно, есть и случаю место в жизни, коли даже не верящие в фатум люди зачастую признают право неожиданного над собой, что уж и говорить о фаталистах. Если судить трезво, то случай и судьба — суть две разновеликие величины одного и того же явления, только первый настагает, как невидимая пуля, пущенная вспышкой порохового запала, а вторая, седовласая и неподкупная, неумолимо следует по пятам.

Видно, Василий создан был для одиночества. Постепенно (это копилось в нем месяцами — всю зиму и весну) он стал отдаляться от «новых». Временами любил их пылко, а временами ненавидел люто, настроенье могло смениться трижды на дню, а раздражение, рожденное лишь одной фразой, прийти или исчезнуть моментально. Всё поначалу захлестнувшая новизна приелась — они скакали по жизни, его приятели, и он завидовал им, завидовал их легкости — была в ней мудрость их бытия, неприемлемая, как видно, для Василия. Он снова засел за книги. Сумбур в знаниях соответствовал сумбуру душевному, требовал, взывал к упорядоченности, но самостоятельно разобраться во всём ему не удавалось. Ах, как часто вспоминал он отца Илиодора, всегда готового объяснить доходчиво то, что казалось непознаваемым и запутанным. Но теперь он сомневался в старом, а нахлынувшее требовало нового советника и духовника.

Посланцем судьбы явился маленький Даниэль Ури. Розовощекий и ясноглазый, нежный и впечатлительный, как Купидон, Малыш Даниэль, прозванный так за невысокий рост и неполные восемнадцать лет, полюбил Василия с тех самых пор, как русский приятель незаметно для всех пожалел его. Он тоже стал тяготиться обществом «новых» и, подметив схожие настроения у Тредиаковского, пригласил русского на лекции своего кумира — профессора Шарля Роллена.

В прошлом ректор Сорбонны, знаменитый педагог, историк и литератор, изгнанный отовсюду иезуитами, преподавал теперь в Королевском коллеже — в последнем месте, дарованном ему высокими придворными покровителями.

О, как он говорил! Сухой, в пышных локонах седого парика, профессор едва возвышался над кафедрой. В нынешнем 1728 году ему исполнилось шестьдесят семь лет, и был он очень еще крепок, а потому, верно, с первых слов завладевал аудиторией. Он читал лекции по древней истории, но кругозор его так был обширен, что, рассказывая о карфагенянах, вавилонянах или древних греках, он умудрялся делать ряд замечаний еще и о новой литературе, черпающей сюжеты из античных событий. Его сильный, с правильно рассчитанной интонацией голос рисовал портреты героев, полководцев и политиков так, что циклопические фигуры вставали перед глазами и как живые люди, и как богочеловеки, недосыгаемые обители Олимпа. История в лекциях профессора была в тысячи раз интереснее любой трагедии, любой басни и сравнима разве что с могучими эпическими поэмами по глубине звучания и соразмерности хорошего и дурного, злого и доброго и прочих и прочих двоиц, из коих когда-то давным-давно, как из мертвой глины, начала лепиться сама история человечества. Прирожденный Учитель и Наставник, вкладывал он подспудно в их голы примеры истинного поведения и морали.

О, как он говорил! Псевдоученые измышления «классиков» и легкокрылые афоризмы Жана-Пьера тускнели перед его простыми истинами, которые подавал он с чутьём и напором художника и проповедника.

«Человек». . . Произносил он это слово так, что вставало оно перед глазами только с красной киноварной прописной буквы.

— История учит нас, и, учась на ее примерах, познаёт наконец человек зло, его истоки познаёт и, руководимый свыше, создаст просвещенное общество Разума: знающий в нем откроет глаза незнающему, придержит за руку жестокого, и мудрый венценосец поведет народ свой к счастью, и это не мечта, любезные мои чада, а скорая будущность мира, — заверял их Шарль Роллень.

Вещания его (иначе их и назвать нельзя было), наполненные простотой новизны, повергали Даниэля и Василия в смятение, и если бы еще Роллень не был столь завораживающе гениален, если бы не умел так завлекать и перетягивать на свою сторону, с ним можно было б спорить, но старый профессор признавал только действие на пользу Человеку и, как ясновидящий пророк, был свят и безгрешен, мудр и неколебим.

— Изучая Историю и обучая разумным знаниям людей, вы сможете облагородить мир.

Учитель часто читал с кафедры стихи — всего больше «Энеиду» и «Одиссею» — и признавался в запале, что, уничтожь Время всё и сохрани Провидение лишь две эти поэмы, — мир вновь бы восстал, возродившись из ничего.

Эпопею и трагедию Роллень ценил много выше комедии, сатиры, басни.

— Поймите, одно выше другого только по уровню творцами поставленных вопросов, сиюминутное осмеяние мелочнее рассуждения о вечном. Иногда, правда, важнее именно оно, но лишь иногда. Конечно, я обожаю великого Мольера, иначе какой бы я был француз.

Он превозносил великую и чистую любовь, но предостерегал от слащавости, от искусства жеманности пьес Филиппа Кино, пришедших на смену трагедиям Корнеля; показывал, как движет героями любовь, томимая сознанием собственной вины, в тетре Расина и сколь пакостен, плосок и слаб по сравнению с ним низкий интриган, содействовавший провалу «Федры», — модный теперь драматург Прадон.

— Но поймите, поймите: литература лишь способ заставить людей, сострадая своим любимым героям, задуматься, тогда как История — это сума, в которую упакована и литература, и литераторы, и политики, и люди безвестные. История — это Время, это прошедший Разум, и, познавая ее, можем мы приблизиться к Разуму высшему.

Так он проповедовал.

Мир перевернулся для двух приятелей, но если Даниэль брал услышанное на веру, быстро отрекаясь от былых симпатий, то Василий во многом еще не соглашался с почтенным историком, — потому особенно интересно было посещать его лекции: они будили мысль, приобщали к духу Истории — Времени. Оба почти перестали бывать на сходках «новых», за что и получили насмешливую кличку «братья Диоскуры».

28 февраля 1727 года Утрехтский епископ писал иезуиту Жюбе, направляющемуся в Россию вместе с дочерью своей во Христе, ново-явленной католичкой Ириной Долгоруковой:

«... Смею просить Вас... сопровождать княгиню Долгорукову в ея Отечество, чтобы служить ей руководителем в духовной жизни, также обратиться к Богу ея семейство; наконец следовать во всем Откровению, которое Богу угодно будет низпослать Вам в Московии для

соединения этой великой церкви с латинской. Знаю, что решимость огромна, но мне известна вера, дарованная Вам от Бога, которою Вы воодушевлены».

19

Из формального полномочия, данного Сорбонной иезуиту Жюбе 24 июня 1728 года.

«... Мы не сомневаемся, милостивый государь, что Вы употребите все средства для возбуждения в почтеннейших епископах русской церкви желания обратить внимание на важность этого дела».

20

Из богословского трактата известного протестантского философа Буддея «О возможности слияния православной и католической церквей». Издан в Иене в 1719 году.

«Если бы сорбонские богословы немного пристальнее всмотрелись в свойства этого великого государя (т. е. Петра Первого), то не увлеклись бы несбыточной надеждой. Между прочими доблестями его далеко не последнее место занимает особенное старание — искоренить невежество, варварство и суеверие в своих подданных. С свойственной ему пронизательностью он понял, что не может быть счастливым народ, в котором, при варварстве и невежестве, свободно разгуливает суеверие. Мы могли бы привести на это много доказательств, если бы не было повсюду под рукою так много сочинений, в которых писано об этом.

Вместе с тем мудрейший государь не терпит преобладания клириков. И в самом деле, кто понимает свойство религии, тому нетрудно уразуметь, что обязанность предстоятелей церкви заключается только в том, чтобы учить и наставлять народ и указывать ему путь спасения. Не могло укрыться это от государя, который уже по опыту знает, как вредно бывает для государства и правительства, когда епископы и прочие клирики, преступивши предел, указываемый им Писанием и здравым рассуждением, присвоят себе власть; потому, что тогда извращается в государстве всякий порядок; те, которые должны были учить, становятся правителями, а правители — подчиненными или, по крайней мере, зависимыми от воли этих людей, ставящих нередко вместо права произвол и суеверие. Поэтому, не без причины опасаясь чрезмерной власти российских патриархов, августейший государь счел нужным устранить ее, руководясь также и тем побуждением, чтобы объявить себя главою и верховным правителем церкви в России».

21

Эпиграмма господину К.

Меж языков о тебе (как некогда о Гомере
Спорили семь городов) — спор привелось завести.
Речь итальянская сладкого видит в тебе итальянца,
Но и германский глагол тоже считает своим.
Галлия усыновила тебя за галлские звуки,
Только на Польшу взгляни — новые распри растут!
Но позволено нам прекратить давнишние споры:
Раз ты по имени Росс, значит, ты — Росс для меня.

Эпиграмма В. К. Третьяковского, переведенная с латинского М. Кузминым.

С раннего утра Александр Борисович был явно не в себе.

— Невротикус, пампотикус, пам-пам-потикус, — пробарабанил он пальцами по черному письменному столу, но пропетая бессмыслица облегчения не принесла.

Наконец-то, кажется, начала ему улыбаться Фортуна. Ненавистный и страшный своей непредсказуемостью тиран Меншиков пал, как и пророчил отец, и по прошествии нескольких месяцев клокотавший котел страстей в России стал остывать. Теперь он, сын мудрого политика и продолжатель его предначертаний, тоже станет могущественным, станет влиять на мировую историю.

Задуманное им предприятие выглядело весьма рискованно, но настоящий дипломат всегда рискует, в том-то и прелесть его службы. Если говорить честно, идея принадлежала не ему, он только претворит ее в жизнь. Тогда, в 1717 году, при посещении Великим посольством Парижа, сорбонские богословы заронили в голову императора мысль о единении. Петр прекрасно видел выгоды, большие выгоды от подобного слияния, но в те годы почва была не подготовлена. Слишком кощунственным показался бы большинству россиян нежиданный союз с давним и исконным противником, — православные не зря гордятся своей верой — истинной, не опороченной изменническими извращениями сторонников папства. Но время — лучший лекарь. Давно приспела пора создать Вселенскую Христианскую Церковь — политические выгоды этого события слишком очевидны для страны, еще только начинающей влиять на судьбы мира. Теперь, по прошествии десятилетия, многие стали это понимать. Конечно, протестантские державы поднимут неистовый вой, но все же католические государства сильны, очень сильны, и в альянсе с ними...

Все более появляется в России людей, открыто сочувствующих римской вере, пример — Ирина Долгорукова. Княгиня, не таясь, перешла в католицизм и укатила в Петербург из Парижа со своим духовником аббатом Жюбе. Она тверда в намерении обратить свою ближайшую родню и столичный свет в новую веру. Княгиня Ирина, урожденная Голицына, замужем за Сергеем Долгоруким, вот и получается, что две сильнейшие сегодня фамилии в государстве открыто поддерживают ее! Это много значит! Куракин поймал себя на мысли, что в иные годы вряд ли решился бы действовать столь решительно и скоро, но тут, кажется, он угадал, и проводником разума выступит именно он — Александр, не зря же нарекли его в честь великого полководца.

В Отечестве мысль о единении приняли благосклонно. Верховный тайный совет, управляющий страной от имени отрока Петра Второго, — Долгоруковы и двое Голицыных, братья княгини Ирины, — готов приступить к негласным переговорам. Они понимают, что настоящий блеск и окончательное примирение с европейскими дворами принесет Петербургу только церковное единение. Дюк Лирийский — испанский посол — давно твердит об этом в приемных российских вельмож.

Гедеон Вишневский и Платон Малиновский — ректор и префект заиконспасских школ, как выпускники наиболее веротерпимой Киево-Могилевской академии, сами давно поговаривают о слиянии. Им противостоят сторонники Прокоповича, более склонные к умеренному протестантизму, но здесь дело не в теологических разногласиях, а скорее, в личных счетах. Куракин ни минуты не сомневался в разуме и хитрости Феофана — архиепископ новгородский сумеет извлечь выгоду из любого предприятия и наверняка сохранит власть над православной церковью в своих руках. О! Это будет двойная, если не тройная игра, самая великая политическая игра столетия!

Важнее всего государственные выгоды, а как там они поладят в догматах, это, в конце концов, дело Синода, и он верит, что задуманное может не разъединить, а, наоборот, примирить воюющие стороны, следует только хорошо договориться об уступках. Для него же, Куракина, дело сулит колоссальные выгоды.

Князь вглядываясь в овал отцовского портрета и произнес: «Немине нам Россу — Ту мйхи россус эрис»*. Он наслаждался торжественным звучанием латыни, кивнул головой. Да, он Росс. Сколько бы ни знал он языков, сколько бы лет ни прожил на чужбине, он — Куракин, и род его с давних пращуров связал себя с Россией клятвой чести, а это немаловажно, если припомнить, что их семья бывала в родстве с царями. Он — Росс, правильно написал в эпиграмме Тредиаковский!

Он велел Антону звать Тредиаковского в кабинет, и, когда тот вошел, спокойный, как всегда, Александр Борисович объявил, что в ближайшие дни отбывает в отпуск на родину.

Василий молча склонил голову, ожидая за прелюдией точных распоряжений, ради которых и был вызван, но князь заговорил совсем о другом.

— Не беспокойся, каро мио, я оставлю тебе деньги на содержание, и ты сумеешь окончить курс. Кстати, в Сорбонне у тебя все идет гладко? Как ты ладишь с месье Тарриотом?

Василий уловил подвох, но решил отвечать честно.

— Господин декан доволен моими скромными успехами, но у нас нет никаких отношений, ведь он иезуит. В науке же он весьма сведущ, и лекции месье аббата не лишены логической стройности.

— Ты, кажется, не жалуешь иезуитов? — князь спросил доверительно, не желая сразу раскрывать карты.

— Да, ваше сиятельство, я докладывал вам, что имею честь разделять симпатии янсенистов и не скрою — влюблен в профессора Роллена.

— Ну что ж, не нахожу в этом ничего дурного. Роллень весьма красноречив и честен, как говорят некоторые при здешнем дворе. Но знаешь ли ты, что янсенисты преследуются католической церковью и что истинная ее сила сегодня в руках богословов Сорбонны?

— Да, ваше сиятельство, но мудрейший Роллень не вызывает теперь никаких нареканий. Он читает курс древней истории в Королевском коллеже, поверьте, я б ни за что не стал посещать запрещенные собрания и порочить ваше светлейшее имя.

— Я и не сомневаюсь, — продолжал дипломат мягко. — Но я хочу знать, насколько ты мне предан. Отвечай — сделаешь ли, что тебе прикажу?

— Я весь ваш раб, — с дрожью в голосе отвечал Василий. — Если бы не ваш покойный отец и вы, ваше сиятельство, то я давно бы сгинул в Париже. Разве я могу раздумывать?

— Хорошо, я не буду посвящать тебя в секреты моей миссии, только намекну, что если ты удачно справишься с возложенным поручением, то очень споспешествуешь процветанию России и приобщению ее к Аполлоновой лире, которой, по-моему, собираешься служить. В противном случае, я не пугаю, тебя ждет немедленная смерть, ибо доверенное тебе — государственная тайна. Да, если все сойдет гладко, тебе еще и перепадет — от щедрот тех, с кем будешь иметь дело.

Он немного помедлил, дабы молодой человек смог вникнуть в смысл слов. Тредиаковский казался испуганным.

— Я весь слух, ваше сиятельство, — проговорил наконец он срывающимся в шепот голосом.

— Говори громче, мы здесь одни, — улыбнулся Куракин. — Это

* Коль ты именем Росс, значит, ты — Росс для меня (лат).

дипломатическая тайна, помни! На время моего отъезда я решил сделать тебя курьером-посредником. С завтрашнего дня ты поступаешь в подчинение аббату Тарриоту и обязан выполнять любые его указания. Ты станешь пересылать письма этого господина лично мне в Петербург и передавать ему мои послания, доставленные секретной почтой. Кроме того, я хочу, чтобы ты действительно стал моими ушами, сблизился с иезуитами и отписывал мне во всех подробностях о разговорах, коим будешь свидетелем, — меня интересуют мнения отцов-богословов относительно России и возможности объединения церквей. Кстати, работая по моему указанию, ты сможешь заслужить прощение заиконоспасских пастырей. Думаю даже, что теперь, когда ты станешь помогать общему делу, вполне приспела пора отписать во взрастившую тебя академию и испросить у них денег на образование; мне кажется, сегодня твоя просьба будет уважена. А лишняя сумма сверх жалованья, как я понимаю, никогда не повредит. Наше предприятие одобрено российской православной церковью и замышляется во благо ей, так что успокойся и перестань, наконец, дрожать как осиновый лист.

Он говорил намеренно туманно.

— Возможно, декан не пожелает лично принимать тебя, тогда запомни еще одно имя — Поль Шарон. Этот студент — вполне доверенное лицо своего учителя и духовного наставника. Чего ты теперь испугался? Ты знаешь его, отвечай?

— Да, ваше сиятельство, — справившись с собой, тихо, но ясно ответил Василий. — Мне кажется, Шарон ненавидит меня, как, впрочем, и взаимно. Однажды я публично унизил его, одержав верх в споре.

— Не волнуйся, теперь полюбит, можешь быть уверен — иезуиты умеют любить и ненавидеть по приказу, а таковой будет дан ему незамедлительно. Ну, ты, кажется, колеблешься?

— Никак нет, ваше сиятельство, — до хруста стиснув пальцы, отвечал Василий.

— Ну да теперь и неважно. Ты знаешь тайну, и невыполнение . . . — князь приумолк и переменял голос на ласково-ободряющий: — Ну же, ТрEDIAковский, выше голову, мне необходима твоя помощь. Ту михи Росус эрис! — добавил он лукаво.

— О да, ваше сиятельство, — с жаром подхватил Василий. — Я же говорил, что весь ваш раб. Ежели надобно — за вас я отдам всего себя на любые муки.

— Никаких мук, дурень, от тебя не потребуется, — усмехнулся князь. — Ступай и завтра передашь сей пакет мосье декану или Шарону. Увидишь, он станет внимателен к тебе, как самый галантный французский любовник.

И, расхотавшись, он подал Василию голубой конверт.

23

Нет, на самом деле мир непостоянен, зол, грязен, жесток, холоден, обманчив, гадок, груб, недоброжелателен и лют. Все, все, казалось, так удачно выстраивалось судьбой, все спешило научить, пленять, очаровывать, услаждать — и в единый миг разбилось, расколосось, разлетелось в куски. Но нельзя сдаться, впасть в уныние. Пусть сейчас он игрушка в руках господина посланника, пусть станет он презираем в Париже, как было уже в Москве, пусть лишится друзей, пусть превратится в изгоя — он переселит беду. Быть терпеливым. Быть терпеливым. Быть терпеливым. Перемелется, перетрется, уголья затянет золой. Главное — цель!

Но почему упомянул князь в разговоре законоспасское начальство? Неужели и здесь, вдали от России, достигнет его та сила, от которой он бежал и уже чувствовал себя в безопасности? Что значат туманные намеки насчет прощения? Ведь и старик отец, да и сам Александр Борисович неоднократно поносили московских церковников? Он не находил ответа. Он был один, один против судьбы, замышляющей что-то недоброе, и постичь ее предначертанья было выше его слабых сил. Неужели вечно суждено ему зависеть от воли коварного Малиновского? Почему его снова норовят закабалить, силой заставить действовать вопреки убеждениям?

Пелена застит очи князю, он чаует, что перехитрит иезуитов. Он уверен, это заметно по тому, как он отдавал приказы, видно, запомнил, что говорят про Орден: это тихая, потаенная, грозная и беспощадная сила. Страшно представить себе Россию под пятой латинства: кардинальский пурпур в Кремле! Нет, это наваждение, этому не бывать! Он, верно, не понял намеков Куракина, видно, тот, стремясь к просвещению Отчизны, замыслил какую-то опасную дипломатическую игру, а единение — предлог, повод, недаром же велел вызнать думы богословов. Обманом взята неприступная Троя, лукавство не раз спасало хитромудрого Одиссея в скитаньях. Так случится и теперь. Он, Третьяковский, доподлинно знает, слышал не раз — Куракин мечтает об обновлении русском, кое невозможно без латинской культуры, а значит, рядом со светом просвещения, с теплом от него, должны соседствовать мрак и холод. Так устроен мир. А миссия поэта — нести людям свет культуры, слово поэта будет смягчать нравы и у тех, кто имеет власть, и у простолюдинов.

24

*Россия мати! свет мой безмерный!
Позволь, то чадо прошу твой верный,
Ах, как сидишь ты на троне красной,
Небу российску ты солнце ясно!..*

*О благородстве твоём высоком
Кто бы не ведал в свете широком?
Прямое сама вся благородство:
Божие ты, ей! светло изводство.*

*В тебе вся вера благочестивым,
К тебе примесу нет нечестивым;
В тебе не будет веры двойная,
К тебе не смеют приступить злые...*

*Скончу на флейте стихи печальные,
Зря на Россию чрез страны дальны:
Сто мне языков надобно б было
Прославить все то, что в тебе мило!*

Из «Стихов похвальных России», сочиненных в бытность в Париже в 1728 году Василием Третьяковским.

25

Как верность — одно из благороднейших качеств и достойных свойств души, так и измена принадлежит к качествам ее, только противоположным. Изменником нарекают изменившего первым, тот же,

кто платит подобным за подобное, хоть и равен ему, по сути дела, не изменщик, а мститель и не достоин осуждения. Око за око, зуб за зуб, издревле повелось, и не нам менять устои — это месть белая. Но тысячекрат страшнее страшная черная месть: с глазами совы, с усмешкой ехидны, рядящаяся под добродетель.

Было ли Шарону приказано только полюбить недруга или еще и перетянуть на свою сторону, кто знает, — во всяком случае, действовал он обдуманно, решив сперва уничтожить чужими руками, а затем поднять из праха, обласкать, приручить, переродить, взрастив в нем предателя братьям своим. Кто узнает, да и так ли важно знать подобную правду?

— Ничего не объясняй мне, отныне я твой друг и одобряю все твои поступки. Признаться, никак не ожидал — тем более восхищаюсь теперь твоей выдержкой и мудростью, — шепнул он в первый же день, выводя Третьяковского из кабинета Тарриота.

Василий чуть повел плечами, пытаясь скинуть руку, но Шарон словно не заметил жесты и увлек его к свету в конце коридора, к выходу, к широкой парадной лестнице. Как пленник, прошел с ним Третьяковский сквозь строй изумленно взирающих «новых». Если так и было задумано Шароном, то, следует заметить, рассчитал он все до мелочей. Иезуит еще минут с двадцать продержал Василия и отпустил, таинственно подмигнув и осенив его на прощанье крестным знаменем.

Сколько ни репетировал в уме Василий встречу, но спасовал, когда догнал его Жан-Пьер и хлопнул по плечу.

— Не желаешь ли объясниться? — Меранж любил брать быка за рога. — Что это ты так вдруг полюбил Шарона? Что делал у мосье декана в кабинете?

Василий принялся лгать, понес какую-то околесицу, но, подняв глаза, убедился, что Меранж не верит. Поняв всю безвыходность своего положения, он замолчал, и только щеки его пылали, как натертые свеклой.

— Ты спешишь? — не обращая внимания на его странное поведение, будто невзначай обронил Жан-Пьер.

— Да-да, — ухватился за вопрос-подсказку Василий, тем более что скрывать здесь было нечего. — Я опаздываю на лекцию Роллена, ты же знаешь, мы ходим туда с Даниэлем. Не желаешь составить нам компанию?

— Ну-ну, — протянул Жан-Пьер. — А я-то не мог понять, зачем они тебе дались. Не трать время понапрасну: у профессора сильные заступники, иезуиты ему не страшны, так что ты зря стараешься.

— Ты, ты, — захлебнулся Василий, — ты думаешь, я наушничал Тарриоту на Роллена?

— Нет, — перебил злобно Меранж. — Нет, мне очень интересно, чем же тебя умудрились купить?

Ах, как хотелось смазать по этой самоуверенной физиономии! Говори Меранж по-иному, Василий бы страдал больше, глупые и необоснованные подозрения бывшего друга немного успокоили его.

— Ты не смеешь так говорить, Жан-Пьер. Что вообще ты знаешь о Роллене, ты, ни разу не побывавший на его лекциях, но клянущийся в верности янсенизму? Пусть и прицепился ко мне Шарон, стоит ли так сразу обвинять меня?

— Посмотрим, посмотрим, — процедил Жан-Пьер. — Прощай!

Он устремился назад, к Сорбонне, растворился в бульварной толпе.

Не сходя с места, поклялся Василий не заговаривать с Шароном на людях и вообще держаться от него подальше. Но коварный юнец подсаживался на лекциях, заговаривал, и в голосе его столько было

сладкой доброты, что Василия трясло от бессильной злости и презрения.

Князь теперь ежедневно, спеша перед отъездом наверстать упущенное время, отдавал поутру голубые конверты, словно Василий был посредником в его амурных делах. Только надушенной ленты к ним не хватало.

Послания Шарон умудрялся принимать незаметно и так же незаметно вручал ответные письма, но показной дружбой Шарон своего добился. «Новые» стали сторониться ТрEDIAКОВСКОГО, перестали с ним разговаривать. Кто-то написал на грифельной доске: «Базиль изменник!» Приговор он прочитал спокойно, к доске подошел Шарон и стер надпись, поглядев в сторону ТрEDIAКОВСКОГО сочувственным взором, тут Василий едва сдержал слезы — черная месть удалась Шарону на славу!

Но всего тяжелее был разрыв с маленьким Даниэлем. Дольше всех тот не хотел верить, был по-прежнему откровенен, но после эпизода с доской не выдержал.

В тот день они возвращались из коллежа, шли рядом. Пока еще рядом.

— Скажи, Базиль, — начал Малыш тихо, — враки ведь, что про тебя болтают? Ведь не переметнулся же ты в самом деле к иезуитам, — я вижу, как ты слушаешь Ролленя! Ну скажи, Базиль, скажи, что стряслось?

— Ах, Даниэль, Даниэль, дорогой мой друг, — на одном выдохе посетовал на судьбу Василий.

Прочно сидел в мозгу приказ, и не мог он его нарушить, да и боялся. Он взял юношу за руку:

— Погляди мне в глаза, есть ли в них ложь? Измена? Предательство?

Даниэль опешил.

— Тебе только одному признаюсь, что действительно стал другим, да не я тому виной. История рассудит, кто прав. Пойми, я говорю — история и тем как бы подчеркиваю преданность взглядам Ролленя. Я связан клятвой и большего не могу объяснить, но знай, я по-прежнему далек от единения с иезуитами... Впрочем, если не поверишь, это ничего не изменит, — припечатал он твердо.

— Но, Базиль, в какое ты меня ставишь положение?! Ах, я понимаю, — с эгоистической горячностью допытывался француз, — тебя заманили, принудили силой! Только намекни, и я буду нем как могила!

Даниэль был слишком неопытен и слишком честен — в пылу защиты он первому же откроет тайну, и тогда — дыба. Нельзя говорить...

— Не будь так наивен, мой дорогой Малыш, всё не так просто.

— Базиль! — предостерегающе крикнул юный Ури. — Я совсем не мальчик, каким тебе хотелось бы меня видеть. И не зови с этой минуты меня Малыш, не зови, понял! Я могу все понять, могу, но ты, ты стал неискренен, ты... — он не находил слов и наконец выпалил: — Ты с ними?

— И да, и нет, если быть честным, — с горечью констатировал Василий.

— Я не хочу знать, не хочу знать тебя! Ты мерзок, ты предатель, предатель, предатель! — Слезы катились по пунцовым щекам, лицо исказила мука. — Ну скажи, что нет, Базиль, — всхлипывал он с мольбой.

— Все-таки ты еще слишком юн. Я и так сказал больше, чем мог, — устало погладил его руку ТрEDIAКОВСКИЙ.

— Нет, — отдернул кисть маленький француз. — Во имя всего святого, заклинаю, Базиль, дай мне обещанье, что никогда больше не

подойдешь к Шарону, не заговоришь с ним, — иступленно требовал он.

Гордость и одиночество, как он и предвидел. Гордость и одиночество.

— Я не могу, не хочу и не собираюсь давать никакой клятвы.

— Тогда . . . будь ты проклят! Ты иезуитский прихвостень, правду про тебя говорит Меранж . . .

Он не договорил и бросился бежать прочь, как от ночного убийцы.

Теперь Василий по-настоящему был одинок в Париже — остался один, князь уехал на днях, бросив его в объятия Шарона. Уверенный в правоте своего дела, Куракин сумел не то что убедить, но подал ему соломинку, за которую хватается, говорят, и утопающий.

Василий тонул и спасался, погибал и возрождался к жизни, которая знакомила со своей холодной, рассудочной стороной, готовила к снежной России, ко многим неизвестным еще взлетам, падениям, злоключениям, мытарствам, печалям и радостям. Лишь Роллень и книги, книги и Роллень согревали душу да сладкие грезы поэзии, грезы и муки поэзии, и отчаянная надежда на Историю, которая всех помирит когда-то, где-то, помирит ли? . . .

Быть терпеливым! Таков стал отныне его девиз, и он терпел. Терпел жабу Шарона, презренье бывших друзей и отчужденье и страданье Даниэля.

Так он прожил полгода. Полгода, отстраненный от суеты и пустого веселья, от приятелей и друга, наедине с собой. Он выполнял дипломатическое поручение, передавал иезуитам плотные голубые конверты, запечатанные вощаной печатью. Он отвечал на письма вдруг объявившегося Бидлоо и на полные дифирамбов письма Иоганна Даниила Шумахера, но делал все это без удовольствия — льстивые комплименты только приводили в уныние.

Шарон почти потерял надежду сдружиться с Тредиаковским, был по-прежнему предупредителен, но в тайны церковного единенья не посвящал, то ли не зная их, то ли не имея на то высшей воли. Это устраивало Василия, и он честно рапортовал в Санкт-Петербург, что ничего вызнать не удается.

Денег от иезуитов он не получал — слава Богу, они и не предлагали. Он жил честно, по совести. «Первое наказание для виновного заключается в том, что он не может оправдаться перед собственным судом», — говорит мудрый Ювенал. Но ведь судил же он себя и нашел невинным! «Наши действия порождают в нас самих надежды или страх, в зависимости и от наших побуждений», — отзывался эхом Овидий.

Страх и надежды. Надежды и страх. Так эта пара и угнездилась в терзаемой скрытым бичеваньем душе.

«Время — лучший лекарь», — говорил дед. «Утро вечера мудренее», — убаюкивала мать.

Санктпетербургские Ведомости № 99

Во вторник 10 дня декабря 1728 года.

«В прошлую субботу прибыл сюды из Парижа князь Александр Куракин камергер Его императорского Величества и бывший министр при французском дворе и намерен путь свой вскоре от сел в Москву воспрять».

А время — ну его, то стоит оно на месте, толчется, как мальки на теплой отмели тычут и тычут носом в берег и только едва хвостами поводят: тюк да тюк, тюк-тюк — спят; а то вдруг — порск! — разлетаются, даже вода закипает, и непонятно, напугала ли их рыбина или птица, или застоявшуюся холодную кровь охота им разогнать, — так и время иной раз как с пращи сорвалось, несется, и стоп, сворачивается в трубочку свитка, с разлету сжимается в комок — и снова знойный вар и глухой камень — добудись-ка — молчит, тянется, жжет мучительным бездельем, а в груди еще погоня не улеглась — вот и подладься под него. Ау! Затерялся в лесу крик — тишина, нет никого, и деревья молчат, не шелохнутся, впитывают безмолвие . . .

В середине декабря 1729 года, через год после отъезда, в Париж вернулся князь Александр Борисович Куракин. Окрыленный приехал веселый, помолвленный с богатой невестой, возбужденный, как при отъезде, — но волновали его теперь совсем другие помыслы.

Молодец все-таки, что решился съездить! Знал же — все будет в порядке, и точно — после падения Меншикова посыпались дары. «Камергер князь Куракин!» — произносилось со значением, и знал — не плевались в спину, не смотрели косо, не подстраивали козни. Любим! Обласкан!

На Москве, куда временно переместился двор, принимали любезно, окружили вниманием.

Ах, с каким же наслаждением расположился он в парижском кабинете, родном, знакомом до трещинки в полировке черного дубового стола. Погладил нежно подлокотник отцовского кресла, огляделся, отменил на стене портрет. Все это запакуем и переправим. Осталось расквитаться, сдать полномочия, а там . . .

Только по дороге завернуть в Гамбург — крюк невелик. Так уж вышло, сам виноват, сам себе на голову выдумал новое предприятие.

В столице он человек свежий, вот на него и накинулись — интересно было услышать его мнение. Он и предложил — первое, что пришло на ум. И оценили, вняли резону. Пожаловались: депеши от резидентов германских, в отличие от французских (тут еще отец дело налаживал), — поступают нерегулярно, застревают где-то в пути, а иные и вовсе пропадают. Резиденты разленились, а денежки требуют исправно. Все дело, конечно, в посланников упирается — в Берлине за последние годы сколько их поменялось; только в должность заступает, а уж его назад требуют, им, понятно, не до депеш было. Но разве кто когда свою вину признает? Вот и валили на местные причины. Александр Борисович это выслушал и высказал свое суждение: письма надо доставлять по воде — из Гамбурга купцы на кораблях плавают регулярно, от политики они вдалеке — им бы барыш свой не упустить. Резидентов настращать, поставить там же, в Германии, над ними командира из русских.

Идея понравилась. А ведь сказал, не подумал, что его же и обряжут порядок наводить.

Почему Гамбург? Большой портовый город, вольный, ни от кого не зависимый, со старой купеческой русской колонией и с верным Ботигером. Человек он проверенный не раз: весьма образован, имеет страсть к музыке — отсюда знакомства по всей Германии, книгочей, при сем деловой и обстоятельный, как все немцы. На тайной службе состоит давно и ни разу еще не подводил. Надобно только укрепить его русским помощником, на всякий случай, для пригляду, и цены не будет идее — заработает как мельница на ветру, пойдет почта морем. Успех, конечно же, Куракину зачтется.

Но всё же, всё же Гамбург не в счет, там надо быстро все нала-

дять — и ко двору: не упустить бы фортуна! Ах, как жгут сейчас руки проклятые полномочия — время, время летит стрижом, но раньше трех-четырёх месяцев здесь не развязаться.

В Москве все зыбко оказалось: Долгорукие окружили Петра — охоты, прогулки конные, цепко впиявились. Но ему опасаться нечего — он с Долгорукими хорош. А на Москве крупная каша заваривается, котел с ухой бурлит: головы то появятся, то на дно залягут — все скрытничает по закоулкам. Чует он, чует ветер перемен, на то — Куракин.

Его, как новенького, со всех сторон обступили, всяк на свою сторону тянет. Он на обещания не скупился, а в результате — всем люб! Преосвященный Феофан держится, исподтишка силу набирает — хорошо! Очень хорошо! А хотели свалить, растоптать, обвинить в лютеранстве. Нашлись людишки, что прямо на него заявили. Только не таков новгородский архиепископ, чтобы из-за наговора простого пострадать, вовремя заметил, пресек на корню, заточил наушников по монастырям. А котел кипит. Отцы-церковники не отстают, добились издания книги покойного Яворского «Камень веры» — главная это сейчас Феофану угроза. В ней слишком уж прозрачно намекается, кто главный есть православия истинного губитель. Но синодская власть стоит на страже, патриаршества не допустит. И всё ж зыбко, зыбко.

Насчет единения церковного, правда, сорвалось — время, выходит, не пришло. Был разговор в подмосковной у Голицына: дюк Лирийский, аббат Жюбе, архиепископ Тверской Феофилакт Лопатинский да Платон Малиновский из академии — камерно заседали. Он тоже приехал, только опоздал нарочно, пускай до главного без него договорятся. Ни два ни полтора, завязла кардинальская карета в русской луже. Постановили переписку не рвать, но умы не мутить, тайну блюсти пуще прежнего — значит, видно, дело пропало. Но ничего, не беда, главное — уметь вовремя от погибшей идеи отказаться. Имя Куракина на свет не вылезло, и хорошо. Впредь осмотрительнее станет, а Сорбонна пусть себе в Гамбург ТрEDIAKовскому пишет. Следы заметем, а там что ж загадывать . . .

А дживанне поэта, несчастный, обрадовался приезду — закис тут в одиночестве. С делом справлялся, два раза в месяц честно отписывал — грамотки иезуитские слал, а что с ними близко не сошелся, так, может, оно и к лучшему. По весне ему курс кончать — магистерский диспут, и конец университету — тут его в Гамбург и пристроить. Еще в России так наметил. Василий, правда, в Питербург рвется, имеет намерение переводчиком в Академию наук пристроиться — Шумахер ему в письмах надавал обещаний. Да только книжки можно и в Гамбурге переводить, там времени хватит. Сперва пускай хлеб отработает, а затем — на все четыре стороны.

28

Так и получилось, что Василий обосновался в Гамбурге.

— Ботигер — меломан. Неплохо, если и ты станешь увлекаться музыкой, это будет выглядеть естественно и отсеет лишние сомнения у чересчур любопытных насчет неожиданно появившегося у него русского приятеля, — наставлял ТрEDIAKовского князь Александр.

Таинственного Ботигера, под чье начало попадал Василий, имея при этом секретные полномочия, ставящие его, если случится нужда, над патроном, — чудесного Ботигера князь так и не успел дожидаться. Господин резидент отбыл вроде бы ненадолго в Шверин, ко дворцу герцогини Екатерины Иоанновны, — устроить обычный, ежегодно даваемый концерт, да порядком задержался. Куракину надоело сидеть на месте, он рвался в Питербург, а посему оставил Василию толстый

конверт с подробными, как он уверял, инструкциями, познакомил Тредиаковского с русской колонией, с купцами, через которых должна была пойти почта, и уплыл в Россию.

Не зная языка, принялся Тредиаковский заведовать несуществующими делами несуществующего предприятия — опять, помимо воли, был он ввязан в какую-то опасную авантюру. Купцы своего таинственного соотечественника уважали, но побаивались: при встречах кланялись, останавливались поговорить о делах торговых, но домой не приглашали, в дела дипломатические не совались, а посылки обещались доставлять куда следует безотлагательно. Только вот незадача: посылки эти не шли. Главное, что он понял, князь имеет на него виды в скором будущем, а пока надо терпеливо ждать Ботигера и резидентских писем. Князь отвалил ему довольно большую сумму денег, часть из которых предназначалась Ботигеру, и наказал расходы записывать в большую тетрадь для отчета. Оставив туманные распоряжения, очень довольный собой, с предрассветным ветерком взошел Александр Борисович на большепузый корабль, и тот, словно ждал вельможу, отвалил от пристани и заскользил по Эльбе, увозя господина камергера и бывшего французского министра в Россию, к долгожданной богатой невесте — княжне Александрѳе Ивановне Паниной — в объятья, ко двору и к каким-то неотложным делам.

От иезуитов он не отделался. Письма декана будут и сюда лететь с нарочными: вручая магистерский диплом, господин аббат произнес ему чуть слышно: «До свидания, Базиль. Надеюсь, мы еще встретимся». И посмотрел своими умными и печальными глазами так выразительно, что захотелось послать его к лукавому, но пришлось рассыпаться в благодарностях...

И всё же жизнь была уже иной — Париж свернулся в памяти, как карта в рулон: престо, пиу престо, аль пиу престо POSSIBILE*, как говорит князь — был и нету, даже с Ролленем не успел он попрощаться, а как бы хотелось! Он всё оттягивал, откладывая на следующую лекцию, но не было ее больше — князь сорвал с места, ускорил отъезд, и он помогал слугам паковать тюки, увязывал их на подводы — как при повальном бегстве, при неожиданном отступлении: суматошно, нервно — аль пиу престо POSSIBILE!

Сейчас предстояло обживаться, входить в курс дела, вернее, ожидать его, если только оно существовало. Василий начал было уже сомневаться, не мираж ли с ним происходящее. Две недели слонялся по городу, глазел на грузящиеся суда, на высоченные кровли здешних кирх, слушал непонятную речь. Как сон. Неведомое, так ярко, но непонятно расписанное и наобещанное князем, пугало, нагоняло грусть-тоску.

Неуютно ощущать себя муравьем, пешкой безвольной, в неуяснимой, сложно и, возможно, коварной игре сиятельного князя. Узник. Узник. Мерещилась мрачная дьявольщина, и он гнал ее прочь.

29

Но вот приехал Ботигер, и всё вмиг переменялось. Сорокалетний аристократ, меценат, меломан, поклонник Великого Петра и Великой России, на тайной службе которой он поправлял свое состояние, Ботигер с налету взял Тредиаковского в оборот, покорила вниманием, галантностью, учтивостью; опекая русского помощника-соглядатая, закружил его в вихре приемов, балов и бесконечных концертов, месс, выступлений знаменитых певцов.

* Быстро, еще быстрее, как можно быстрее (итал.).

Василий умел поддерживать музыкальную беседу — годы в астраханском хоре и обучение по грамматике Дилецкого в академии у отца Иеронима не прошли даром: он легко читал и писал ноты и умел не только слушать, но и, что гораздо важнее, изобразить. Вот только к светской жизни он не привык — ждал работы, как спасения от одиночества, и донимал вопросами о ней немецкого коллегу.

— Мой милый, не надо волноваться, — успокаивал тот русского. — Не беспокойтесь, князь Куракин будет доволен, я хорошо знаю его натуру. Я дал уже приказы, и письма своим ходом пойдут к купцам. Россия не наметила нового курса — когда там всё утрясется, то, смею заверить, мы получим новые указания и тогда, тогда мы возьмемся за работу, а пока что, мой дорогой поэт, живите в свое удовольствие, смотрите, слушайте — Гамбург город музыкальный.

Ботигер стал везде брать помощника с собой и скоро, сам удивляясь, почтил настоящей дружбой: русский разобрался в музыке, чего для простой симпатии было бы вполне достаточно, но откровенное незнание и робость перед задачами дипломатии, проявленные в разговоре, превращали поэта в приятного для ежедневного общения человека. А это значило многое, ведь в приятелях у него числились сам Георг Филипп Телеман, великий кантор из Томаскирхе; и Майрад Шпис — музыкальный ритор, философ, а также все первые скрипки, как, правда, и вторые, — словом, все музыканты вольного города Гамбурга.

Симфоническая музыка, камерная, хоровая — все виды согласного звучания здесь являлись жизнью города, определяли его ритм, как воздух были необходимы — как Москве ее канты, церковное пение, виваты и марши военных оркестров.

И музыка, божественная музыка полилась в душу, словно волшебство словесное. Она притягивала, каждый день полон был ею, и волновала она, и с ума сводила, и радовала, и печалила, и веселила, и отрезвляла.

А разговоры? Конца не было бесконечным разговорам: в гостинных, на набережных гамбургских флоте — грязных и узких каналов, соединяющих Альстерское озеро, Билле и Эльбу, и в тихомолвной сени предместий Уленхорста и Харфестехуде, где у Ботигера имелся маленький домик, — в нем вечерами собирались ценители, обсуждали прослушанный концерт или мессу, спетую в одной из пяти главных церквей Гамбурга. Уважая Тредиаковского, говорили по-французски, или в редких случаях Ботигер скоро-скоро переводил ему, и десятки незнакомых имен обрушивались на его голову: и Иоахим Бурмейстер, и Шейбе, и Скарлатти, и Пичем, и великий риторик Шютц — все они были постоянными членами музыкальных бесед у Ботигера.

Все музы были сестрами в этом домике. Георг Филипп Телеман не стыдился писать стихи и читал их — Василий слушал мерный ритм и музыку близнецов-краеголосий, наслаждался звучанием его голоса.

— Ведь фигуры музыки суть те же, что и украшательства риторики, — говорили они: — Настоящий оратор властвует над слушателями при помощи всевозможных аргументов и сочетаний особо ударных слов. Так же поступает и музыка, различной последовательностью периодов и расположением звуков разнообразно волнуя душу. Только свобода, дерзость, своеволие и труд одаренного музыканта превращает оркестранта в солиста-виртуоза.

— Я не понимаю, что такое озарение, вдохновение, о котором толкуют наши итальянские маэстро, — говорил Телеман, — я знаю, что такое работа, изнуряющая работа, во имя постижения тайн ремесла.

Раз поклонялись они слову, видя в нем Бога, то уж связать его с музыкой, слить в одно общее звучание было для них задачей наипервейшей — ведь главной частью идущей под орган литургии была про-

поведь. Здесь только оценил Василий мятущийся дух многотрубного инструмента.

— Смотрите, смотрите, о ужас, о страх! — выпевал Иоганн Кунау, и не надо было перевода Ботигера — тембр голоса и мимика всё рисовали слишком понятно.

— Когда в стихах говорится о страхе распятия, поэт повторит: «страх, страх!» и шепоту подпустит — «страх-х!»; набегая и вопия, эти «ах!ах!ах-х!» увеличат воздействие на читающих, так и в музыке мы используем звуки. Когда я пою, повторяю слово «страх», я весь дрожу, сам весь дрожу, — признавался великий певец.

И еще одно запомнилось из рассказов Кунау. Кантор утверждал, что слово бывает важнее всей фразы, а посему ратовал за подчиненный значению порядок слов в предложении. Равно, как и неправильные ударения — без них порой не втиснуть слово в ритм строки. И Василию приходило на ум не немецкий, а давешний свой, русский пример — богородичный распев: «И естеством быв человек нас ради». Именно — нас ради, а не ради нас, иначе ломался бы молящий голос.

И Кунау, и Телеман, и особенно многомудрый философ Майрад Шпис, любившие и ценившие концертную музыку, с особым интересом и пиететом собирали и распевали простонародные немецкие песни.

— Музыка любой страны — явление самобытное, древнее, — говорил Телеман. — Всем нам следует учиться у песни. Вот, к примеру, герр Василий, не могли бы вы спеть нам какие-нибудь ваши песни?

И ТрEDIAKовский пел «Туманы», духовные канты и даже печальную «Девушку-девицу».

Все пришли в восхищение, а особенно мекленбург-шверинская герцогиня Екатерина Иоанновна, приехавшая навестить музыкальный Гамбург. Дочь русского царя Иоанна Алексеевича была сражена — совсем не ожидала она услышать русского певца так далеко от родины.

Хитрый Ботигер представил русского герцогине, и все три дня ее пребывания в городе Василий сопровождал герцогиню на гамбургских выездах, три дня был на недостигаемой ранее высоте, и это пришлось ему по душе, приятно было, а на прощальном балу в ратуше...

На прощальном балу в ратуше он танцевал с Констанс Перри, племянницей богатого французского коммерсанта. Она стрельнула глазками, затем пригляделась повнимательнее к своему партнеру, не слишком уверенно ступающему в танце, и, найдя это занятным, она...

Обольстила? Нет, совсем нет, приманила чаровница, привадила, оплела сетью волшебной.

И вот уже вместе, и весело, и радостно, и легко на душе!

Ноябрь, декабрь...

Ей писал стихи, по-французски, разумеется. Ей же рассказывал о России. Ей все интересно, она умеет внимать молча. Ей всё можно рассказать.

Констанс — значит постоянство, но он переделал по-русски в Вёррушку. Ты моя Вера! И исстрадавшаяся, одинокая душа ликует, пляшет, поет, в танце безудержном выкидывает коленца. Летят княжеские запретные денежки, летят — голубки, эх, без оглядки! Ах, Констанс! Улыбается. Она понимает.

Январь, февраль...

Уже и обижалась, не пускала на порог, и снова звала, и летели надушенные конвертики, голубые с вензельком в уголке. Чаровница, одно слово — чаровница!

Она любит, когда он говорит по-русски. Она гладит большую голову, и плакать хочется. Он плачет, он всё рассказывает, всё: про отца Платона, про Тарриота, про Куракина, про Ботигера, который своей беспечностью подведет его под плаху, он жалуется, скулит, теряет го-

лову, а она понимает, гладит нежно-нежно — колдунья-говоруха, зашептывает страх, гонит вон печали, прочит удачу — нет ей дел до политики, да и не понимает она ни слова по-русски. Значит, чувствует мелодию души?

В стихах его она богиня, и пастушка, и нифма. Он дарит ей свои безделицы, и она прячет их в шкатулку.

Гладит ласковую собачонку. Глаза — черные угольки, и у хозяйки и у собачонки одна порода — огонь. На губах усмешка.

Ах, Вера, моя вера — Констанс!

Март — тепло разлитое.

И вот первое письмо от князя. 19 января скончался от оспы юный государь Петр Второй. Стояли долгую службу.

Сумбурное письмо: одно ясно — Анна Иоанновна!

У князя теперь полно забот и большие надежды, очень большие. Василию же приказано ждать, ждать и слушаться умницу Ботигера — отлично сработались, депеши пошли исправно!

Чудеса, ну и чудеса!

Князь спрашивает: что иезуиты? А что они — приглядываются, пока молчат. Это к лучшему. А ждать он теперь готов долго.

Констанс! Телеман! Ботигер!

Апрель...

20 числа женился Александр Борисович Куракин, но весть пришла уже в мае. Князь пишет о тьме российской, кою луч просвещения прободает. Двор жаждет света, и свет падет на него — императрица Анна Иоанновна намерена изменить нравы, и он, Куракин, выполнит ею задуманное.

Ботигер откуда-то вызнал, что Куракин весьма споспешествовал Анне Иоанновне при восшествии ее на престол, но подробности интриги не были известны даже всезнающему немцу. Во всяком случае, письмо, похоже, подтверждает известия.

Василий сочинил эпиталамические стихи на брак его сиятельства князя Александра Борисовича и отослал с купцами. Он одел свой собственный голос в простые, обычные, всем российским людям понятные слова, а Аполлона-славословца заставил величать новобрачных громкими словесами на церковный манер — так, по обычаю, пышно поздравляет архиерей в соборе. Оценит ли князь его стремление к простоте?

— Когда от музыкальной пьесы веет колдовством, когда скачки и трудные пассажи даже мастеру даются с трудом, а начинающий, не поняв, не разобравшись, уходит, плюясь и корча рожи, то мало проку в такой пьесе. Полезнее писать для всех, а не для избранных, — утверждал Телеман.

Если неразличимы искусства, то применимое к музыке следует приложить и к поэзии. Какие же простые и сладостные были слова в материнском баюканье:

Баюшки-баю!
 Сохрани тебя
 И помилуй тебя
 Ангел твой —
 Сохранитель твой...

Часто певал он колыбельную Констанс — она улыбалась нежно и прикрывала глаза.

Надо петь любовь, надо петь жизнь! Торжественность трагедий, громкословие Ролленя — сейчас они не по душе были, а сложно-сплетеня церковного языка просто противны уху.

Весна. Россия. Надежды. Констанс.
 Март, апрель, май! Воздух звенит!
 Лето, концерты, Констанс. Концерты, Констанс.
 Июнь, июль . . .

Наконец-то! Князь получил стихи, он показывал их ПРИ ДВОРЕ!!! Всё, видно, ладится у Куракина; скоро, скоро он отзовет Василия к себе, а пока велит готовить перевод изящной книжицы для русского читателя, для двора, конечно же, в первую очередь, но не скучной, упаси Бог, здесь теперь любят веселиться.

Видимо, князь опять что-то задумал — вдруг написал Шумахер, просил присылать заметки в «Санктпетербургские Ведомости», но, главное, растекается в комплиментах, намекает, что князь Александр Борисович очень, очень ему хвалил Тредиаковского. Что бы это значило?

Констанс — она подсказала, подарила «Езду в Остров Любви» Тальмана. В Париже, когда читала ее, никогда бы не подумал, что придется переводить роман для российского читателя.

А что, чем он плох? Любовь сладчайшая, любовь обманщица, обольстительница, разлучительница, и скрытная, и явная, и томная, и пылкая, жестокая и нежная, все стороны ее в книге описаны, разобраны и поданы в письмах.

Он засел за перевод.

Прав, прав был Роллень — переводчик от творца малым рознится, переводчику хитрее даже и мудрее авторова замысла быть надлежит. Как донести все прелести языка галльского, не растерять по дороге? Когда в Академии переводил «Аргениду», так не задумывался, старался не потерять смысл. Здесь задумался о словах. А если нет подобных слов в русском, что тогда? Записать, как старый Куракин, русскими буквами? Он попробовал, и чудо — новые слова родились! Уверен, они приживутся, они звучат, красиво звучат! Прав Телеман — труд и дерзость!

А стихи: как быть со стихами, как сохранить их мелодию? Он переписал дословно строчку, другую — и вдруг защелкал пальцами и пропел: «Тара-тара-тара-ра — тири-тири — рара!» Ох, получился, сам собой получился кант — простой, как напев деревенской частушки, музыкальный квадрат.

А сей остров есть Любви,
 и так он зовется,
 куды всякой человек
 в свое время шлетя.
 Стары и молóдыя,
 князя и подданны,
 дабы видеть сей острóв,
 волили быть странны.

Он пел их Констанс, Ботигеру, и они смеялись, находили шутовскую мелодию развеселой, хоть и не понимали языка!

И наконец-то август. Письмо. Императрица Анна Иоанновна коронована на Москве!

Князь у трона близко-близко! И велит писать оду: Ее Величество любит поэзию!

Такое письмо пришло, такое письмо!

Да здравствует днесь императрикс Анна
 На престол седша увенчанна,
 Краснейше солнца и звезд сияюща ныне!
 Да здравствует на многа лета,
 Порфирию златой одета,
 В императорском чине . . .

Императрикс, именно императрикс, так латинизированно, потому что иначе не влезет в такт. Он еще раз проверил его, отбил ладонью и бросился записывать ноты, на которые распадались слова.

Петь, петь надо этикие вирши!

В русской колонии давали бал в честь коронации императрицы. Он готовил хор. Купцы, подьячие, слуги — много набралось люду. Он разложил песнь Анне на двенадцать голосов, чтобы их борение и пере-хлест подчеркивали особую торжественность события. И Ботигер, ценитель Ботигер, похвалил!

Се благодать всем от небес лиется:
 Что днесь венцем Анна вяжется.
 Бегут к нам из все мочи сатурновы веки!
 Мир, обилие, счастье полно
 Всегда будет у нас довольно;
 Радуйтесь, человеки.

Небо все ныне весело играет,
 Солнце на нем лучше катает,
 Земля при Анне везде плодovита будет!
 Воздух всегда в России здравы,
 Переменятся злые нравы,
 И всяк нужду избудет.

Так это пелось, так торжественно неслоь надо всеми в великий для россиян день!

Скоро скончался август, а с ним лето. Отгрузили и нагрузили «Славу морскую».

Канат рвется,
 Якорь бьется,
 Знать кораблик понесется . . .

Опять насвистывал свою давнишнюю песенку, но только теперь на новый мотив, что украл у столь же задорной немецкой, — ее любил попевать Ботигер, когда бывал в хорошем настроении.

Прощай, Гамбург, прощай, лети навстречу, волна, — в Питербург! Лети, кораблик!

Едет магистр Василий Кириллович ТрEDIAKовский, исполнивший отцовскую мечту, едет пленять, покорять, петь российским новым глаголом. Говорят, солнце улыбается поэтам! Великий Меценат — князь Куракин, обучивший, пригревший на чужбине, поддержит и здесь.

Что черного и злого было — забылось, унеслось с кильватерной струей. А Констанс? Роман? Всё это осталось позади.

Завершился, завершился очередной круг, окончена Одиссея, перед ним Россия, надежды, мечты.

Он чувствует, он знает, он не сомневается — наступает, наступает самое-самое счастливое время в его жизни!

30

*Известно, что когда кончаем нашу речь,
 То точка ставится. Любви не уберечь . . .*

Из французского стихотворения В. К. ТрEDIAKовского в переводе М. Кузмина «Правила, как знать надлежит, где ставить запятую, точку с запятой, двоеточие, точку вопросительную и удивительную».

(Продолжение следует)

Е. Волков
АЗ-И-АД-СКИЕ БУДНИ

* * *

молчание от имени людей —
фаллическая скука колоколен
когда устанешь спрашивать доколе
переходи на лексикон блядей
о блади мери блади марья здесь —
и гнусный грех в обличии хот-дога
и легион людей из Таганрога
давась слюной его желают съесть
куда идем мы с пятачком в эдем —
ретивые сбивают с ритма Бога
аперитивны сводки МВД
и бабу-in стенает у порога
и запах тленья ширится везде —
ширинки наполняются секретом
куда идем мы —
спит очком эдем
не забывая видеть сны про это
и правит случай случки день и год —
мои родные чтоб вам было пусто
хранительницы адовых пустот
готовые к рождению Иисуса ...

* * *

я выходил на улицу шпионом
и длился дождь раздавленных червей —
и он вещал вполне определенно
становится безлюдней и черней
он говорил купцу и эскулапу —
я не за этим город городил
чтоб надевать шпионский плащ и шляпу
и мимо луж ползти как крокодил
спасибо за доверие приятель —
мне и такая участь дорога —
на севере олени щиплют ягель
накалывая сферу на рога
он оглядел карт-бланш лицо окрысив —
как водород несвязан и летуч
я уходил в раздавленные выси
раздвинув груди гангренозных туч...

* * *

мой выбор безошибочно бездумен —
смотреть в глаза и видеть облака
и караулить сумерки на стуле
у пылью припорошенных зеркал
сидеть и ждать —
не требуя кареты

прикрыв полмира носовым платком
 минздрав мой считает сигареты
 с поправкой на Гоморру и Содом
 и голос мой до ужаса бесплотен —
 и мне привычнее вглядываться вниз
 свинцовый голубь пулей на излете
 нашарит безошибочно карниз
 но тяготея к ласке и запрету —
 ведомый ясновидьем полусна
 я караю сумерки и Лету
 на берегу разматывая снасть...

* * *

*«Прекрасная мысль —
 лежать между девичьих ног ...»
 Шекспир*

пол седьмого находит меня
 и за шиворот грубо берет —
 говорит что иначе нельзя
 многорукий как Шива народ
 ты собой не за этим владел
 в сих святых освещенных местах —
 чтоб затем не откладывать тел
 в долгий ящик
 и жить просто так
 не сумеешь сказать —
 значит вой
 и довольствуйся днем выходным
 кто-то третий всегда за спиной
 с инородцем в руке
 выкидным
 я стакан лимон ада с утра
 опрокину на смокинг и в путь —
 голос свыше — укажет куда
 и когда
 и зачем повернуть
 я пойду обреченный на смех
 слеп и знающ как вымерший Бог —
 потому что не хватит на всех
 трещин мира
 меж девичьих ног...

* * *

закреть глаза и наблюдать себя —
 бесцеремонным и пристрастным оком
 и сознавать насколько хрупок кокон
 и сколь прекрасным мраком осиян
 одна стена —
 и множество дверей
 по ту сторонний мир однообразен
 не счесть слова в тупо сторонней фразе
 и пережитки
 в мусорном ведре
 сползает с клубня ленточная тварь —
 спиной хребет перешибая плетью

ползет состав —
 и я в нем безбилетник
 в надежде перебиться до утра
 во сне проснуться и сказать каюк —
 ножом разрезать сом кнутые веки
 пускай сомы кнутами гонят реки
 и к каждой двери ключик откуют
 а мне —
 ласкать зеленых обезьян
 и нагишом блуждать средь маскарада
 как хорошо
 что никого нет рядом
 закрыть глаза и наблюдать себя. . .

* * *

изабель —
 черен как вино град
 град — и на —
 воз напрасных усилий
 мы у града вина попросили
 и жемчужину в триста карат
 коротает свой век каратист —
 коротит в подвесной черепушке
 стоит круглый дурак на опушке
 и чугунную песню растит
 ты прости просто та просто ту —
 просто та
 потому что бухая
 за подвижными рамками рта
 черно сливом овал набухает
 Казимир —
 нарисуй козий мир
 козий мат каземат из овала
 и живот налитой до отвала
 и кошмар в переводе каш мир
 и квадратную в небе луну —
 черен град потому что престолен
 Шаганэ я тебя шугану —
 потому что я с севера что ли. . .

* * *

занималась над миром заря —
 занималась
 Бог знает чем
 я смотрел в темноту ноября
 и в безносое чрево ночей
 не измерит тоски эхолот —
 не положено ночи межи
 и стекло запотевшее лжет
 что я жив
 или пробую жить
 я под робой живу сам не свой —
 я не свой
 я наверное ваш
 я луну умножаю на вой
 и слова опускаю в фиксаж

конь сервирован конь на столе —
 и синь оптики все голубей
 я брожу в густо псовой толпе
 и ищу одиноких людей
 я ищу одинокую плоть —
 я ищу опустелую клеть
 где бы мог поселиться и петь
 и скормить птицам хлеба ломоть
 я в числе приглашенных на пир —
 головной рогоносец идей
 но когда хох лома сувенир
 я люблю видеть мертвых людей. . .

* * *

я хочу быть погонщиком рыб —
 и забыть ненавистное имя
 и касаться ступнями босыми
 водной тверди библейской поры
 я хочу быть погонщиком рыб —
 в час заката моря кровожадны
 и в безмолвии слышу санскрит
 и предвестья читаю по жабрам
 отсекая значения слов —
 браконьерски набитые сети
 я поставлю под ветер весло
 и ладони поставлю под ветер
 пусть в уключинах тлеющий скрип
 и пробор шевелюры волнистой —
 укрепит в запредельности истин
 я хочу быть погонщиком рыб
 чтобы гибельно верить в костры
 и молчать на ветру холодея —
 существуя единой идеей
 я хочу быть погонщиком рыб. . .

* * *

я проходил по синей мостовой —
 пространством кукурузного початка
 где каждый шаг свинцовая брусчатка
 озвучивала выгнутой спиной
 мой город расслаблялся на игле —
 программ ТВ и ангелов в дурдоме
 не помышляя о добре и зле
 в преддверье абстинентного синдрома
 и тени —
 вариации креста
 проекты и проекции падений
 ломались в основании строений
 и нисходили мрак и немота
 и только голос ночи неврелим
 втолковывал настойчиво —
 пройдемте
 и сыпал снег из вспоротых перин
 на пустоту испачканную дегтем. . .

* * *

этого нет ничего —
нет ничего
ни черта
даром комплект речевой
плещется в полости рта
милая что говорить —
сердце отчаянный лжец
прочь от разбитых корыт
я ухожу наконец
прочь —
за зеркал и замков
гнусный и грязный предел
опровергая закон
о притяжении тел
в этот убогий сарай —
где лезет ночь из щелей
и озирают сей рай
луны белее лещей . . .

* * *

*Трах-тах-тах. . .
И только эхо отзывается в домах.
А. Блок*

Я ответчик тебе и истец —
препарируя скуку и случай
я сличаю с биением сердец
примитивную ритмику случек.
я читаю тебя по губам —
я прощаю тебе раз за разом
подари мне любви миллиграмм
щедрой дланью на царство помазав
о купается жертва в крови —
только кровью тебе откупиться
броневойны покровы и лица
и они говорят о любви
о любовь о морковь о свекла —
мы друг к другу идем палачами
но печаль моя будет светла
потому что нельзя без печали. . .

* * *

здесь разводят собак и разводят мосты —
и гуляют скоты без забот и преград
я хочу умереть от такой простоты —
Боже мой
я еще не хочу умирать
Боже мой в чистом поле горит огонек —
Боже мой на меня тихий ужас напал
просто это тоска —
просто это итог
и сжигающий душу и сердце напалм
измочалена плеть о великую рать
и опустится солнце за дальней горой —
убиенных и павших не счесть и не знать

вы ли жертвою пали в борьбе роковой
 уходящим навек переправы просты —
 медяки на глазах
 а глаза на лугу
 здесь разводят собак и разводят мосты —
 Боже мой
 Ты всегда на другом берегу...

* * *

*Я иду равниной.
 На затылке кепи...
 С. Есенин*

в метрополии смех и затей кутерьма —
 и весомое облако пыли
 маскирует фасад
 за которым тюрьма
 и тюремные байки и были
 в метрополии смех и причуд карусель —
 и на страции демонов уйма
 и легко на троих огурцом похрустеть
 и смотреть на просторы безумно
 различая халупы и особняки —
 лжи полоски и рожи озимой
 в поднебесной где пастыри и босяки
 поголовно больны амнезией
 где колония в каждой из брошенных душ
 существует строптиво и глухо —
 на подходе сезон свежевания туш
 до потери сознания и слуха
 я в метро словно в поле войду босиком
 натыкаясь на взоры палачьи —
 метрополия снег с аравийским песком
 и сборное облако плача
 мне бы лучше с равнином идти нагишом
 на затылке лишь кепи оставив —
 жребий брошен
 вопросов вопрос разрешен
 за прогнившими досками ставен
 в доску свой деловито вползающий червь
 смотровое окошко буравит —
 не проси понапрасну
 не бойся
 не верь
 нет иных в метрополии правил...

* * *

в концлагере слов —
 концентраты судеб
 и истин затерянных меж
 междометий
 и канц эроген обозначит удел
 березовой сыпью родимых отметин
 и пол о возрелых пилотов ноктюрн —
 и вымени сладкое белое время
 возри —
 группен секс

конфитюр
натюр морт
покровом листвы маскирующей время
итог для невольника чести —
падёж
падеж всех винительных место имений
я чувствую дождь —
я предчувствую ложь
никчемностью слов и тщетой песнопений
тоска —
и похоже доска два соска
и клавиш октавы стенных объявлений —
тщедушной фугой стенаний велений
в надежде урвать свою долю куска
о блюдо лиз —
в прихожей бредит блюз
абстракцией блевотины и зонга
числом судеб стремящихся к нулю
конгломератом сонных дней на Конго...

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Антуан де Сент-Экзюпери ЦИТАДЕЛЬ

Перевела с французского Марианна Кожевникова

СХСХ

Я просил Господа научить меня и вернуть мне, по своей неизреченной милости, воспоминание о караванах, что шли к святому городу, хоть и не понимал, чем поможет мне лицемерие верблюдов под палящим солнцем в разрешении неразрешимого.

Я увидел тебя, мой народ, — по моему приказу ты готовился к паломничеству. И будто неизреченной сладости мед была мне хлопотливость последнего вечера. Ибо есть странствия, которые готовишь, будто корабль, — построив, ты его оснащаешь, — они сродни статуе или храму и нуждаются в инструментах, в твоей изобретательности, в расчетах и силе рук, ибо снаряжаешь ты его для летящего ветра. Так готовишь ты свою дочь, сперва ты растил ее, учил, журил за пристрастие к безделушкам, но пришел час отдать ее супругу, и ради того, чтобы в этот час она была прекраснее всех, ты разоряешься ради нее на льняную ткань и золотые браслеты, потому что отправляешь свой корабль в море.

Так, уложив припасы, заколотив ящики, завязав мешки, ты по-королевски идешь среди верблюдов, погладишь одного, сунешь лакомый кусочек другому, нажмешь коленом, помогая потуже завязать ремень, взгромоздишь на верблюда кладь и с гордостью увидишь, что она не съезжает ни вправо, ни влево, зная, что верблюды будут долго раскачивать ее в пути, спотыкаться о камни, опускаться, отдыхая, на колени, но твоя кладь будет сохранять равновесие, — так дерево раскачивается на ветру, не опасаясь растерять груз зреющих апельсинов.

Я смакую твоё рвение, мой народ, ты готовишь для себя кокон сорокадневного пути по пустыне; я не вслушиваюсь в ветер слов, зная, что не обманываюсь в своем знании о тебе. Ибо накануне похода я иду в молчании моей любви и слышу скрип ремней, сопение верблюдов, жаркие споры о дороге, по которой нужно идти, о проводниках и о том, как распределить обязанности. Я не удивляюсь, что вы не восхищаетесь будущим паломничеством, нет, напротив, в самых черных красках описываете вы прошлогоднее: высушенные колодцы, знойный ветер, змей, что таятся в песке, будто незримые нервы, засады грабителей, болезни, смерть; я знаю — говорит в вас стыдливость любви.

И хорошо, что ты скрываешь свой трепет перед твоим Господом, мой народ, восхищаясь золотыми куполами святого города, ибо Господь для тебя не готовый подарок и не припрятанный впрок припас, Он — торжество, венчающее долгое шествие твоих бед и несчастий.

И если люди заранее рассуждают о том, что должно их облагодетельствовать, как иной раз рассуждают корабельники о парусах, ветре и море, — я не доверяю им, опасаясь, что они не досмотрят за досками и гвоздями, словно отец, что начал слишком рано молиться о красоте для своей дочери. Я люблю песни кузнецов и плотников: они славят не запас, что сам по себе ничто, но путь, ведущий к кораблю. Вот корабль оснащен, паруса наполнены морским ветром, и пусть мои моряки поют не о волшебном острове — о морских опасностях, — тогда я поверю: они победят.

Они узнают, каковы они, при помощи страданий, пути, повозок, кладов. А ты окажешься слепцом, если, доверившись жалобам и проклятиям, которые тешат их сердце, встревожишься и пошлешь им сказителей с медовыми устами, которые не будут петь о смерти в пустыне, а только о красоте заката. Что мне до счастья? Оно бесформенно. Ведет меня откровение любви.

Караван отправился в путь. Вот оно, таинственное переваривание пищи, тишина, крошечная тьма кокона, отвращение, сомнения, боль, ибо любое преображение — боль. В этот час не пристало тебе воодушевление — только верность, хотя ты, ничего не понимая, потерял в себе опору и ни на что в себе не полагаешься, — тот, каким ты был вчера, обречен на смерть.

Как мучительно ощущаешь тебе прохладу твоего дома, сладость воды для чаепития в серебряном кувшине перед часом любви. Мучительно воспоминание о ветке под окном, о кукаренье петуха во дворе. Ты шепнул себе: «Я из своего дома», потому что в пустыне оказался бездомен. Вспомнил ты и своего осла, которого будил поутру, лошадь, собаку, таинство общения с ними, — они тебе отвечали. И вместе с тем были словно бы замурованы в чем-то своем, и ты не знал, дорожат ли они своим кровом или тобой. Из далекой дали твоего отлучения тебе так необходимо потрепать своего осла по холке, погладить по храпу, может быть, для того, чтобы приободрить его, будто слепца в глубинах его ночи. И, конечно, в день, когда иссякший колодезь предложит тебе лишь зловонную грязь, сердце твое сожмется, ты вспомнишь доверчивое лепетанье родника возле дома.

Так запеленает тебя кокон пустыни. На третий день шаги твои увязнут в смоле ее нескончаемости. Соперник всегда возбуждает, и на удар ты отвечаешь ударом. Но пустыня берет один твой шаг за другим, будто затянувшаяся аудиенция — твой любезности, до тех пор, пока ты в конце концов не замолчишь. Ты шагаешь по пескам с самой зари, но меловое плоскогорье, что слева от тебя, — на горизонте, осталось там и к вечеру. Ты изнуряешь, изнашиваешь себя, ты как ребенок, что перебрасывает лопаткой землю, задумав переместить гору. Но гора и не подозревает, как старательно он трудится. Ты словно бы заблудился в свободе без границ, и усердие твое при последнем издыхании. В этих паломничествах я предлагал своему народу вместо хлеба камень, насыщал колючками. Мой народ, я обрекал тебя на дрожь от ночного холода. Отдавал огнедышащей песчаной буре, и ты ложился на землю, прикрывал одеждой голову, чувствовал на зубах скрип песка и отдавал солнцу свою телесную влагу. Но опыт научил меня: слова утешения здесь излишни.

«Наступит вечер, — мог бы сказать я, — похожий на синеву моря. Задремлют песчаные дюны, будто стога. Ты будешь идти в прохладу по твердому влажному песку...»

Но на губах у меня останется привкус лжи, своими выдумками

я призову к существованию в тебе кого-то непохожего на тебя. Поэтому в молчании моей любви я без обиды слушаю твои проклятья.

«Возможно, ты прав, Господи! Возможно, завтра, Господи, выживших ты преобразишь в толпу блаженных. Но что нам до этих незнакомцев! Сейчас мы словно пригоршня скорпионов, обведенных огненным кругом!»

Такими они и должны быть во славу Твою, Господи!

Вдруг, будто взмахом сабли сметя облака с неба, налетел свирепый северный ветер. Выдул с голых песков все тепло до капли. Ледяные лучи звезд пронзили плоть до костей, пригвоздив людей к земле. Что мне сказать им?

— Разгорится заря, хлынет свет. Тепло солнца, будто кровь, разогреет замерзшее тело. Вы закроете глаза, чувствуя, как оно растекается по жилам...

Но они ответят мне:

— Вместо нас Господь, может, и посадит тут завтра сад со счастливыми цветами и по своей доброте будет питать их. Но этой ночью мы — несжатая полоска ячменя, которую треплет ветер.

И они должны быть такими во славу Твою, Господи!

Я отошел в сторону от страдальцев и так стал молиться:

— Господи, благо, что они отказались пить мою ложь. Они плачут и жалуются, но не это главное, я — хирург, починяю тело, оно издает крик. Я знаю, в них вмурованы и запасы радости, но не мне отвалить камень. Для радости не подошло еще время. Плод должен созреть, тогда он станет сладок. Мы проходим неизбежный час горечи. В нас нет ничего, кроме разъедающей кислоты. Только время вылечит нас и преобразует в радость во славу Твою!

И я повел свой народ дальше, питая его камнями, насыщая колючками.

И наконец мы сделали поначалу ничем не отличимый от других бессчетных шагов, отданных пространству, волшебный шаг. Торжественный шаг, увенчавший священнодействие пути. Благословенный шаг среди всех прочих шагов: распался кокон и отдал крылатое свое сокровище царству света.

Так веду я своих воинов ужасами войны к победе, ночным мраком к свету, тяжестью камней к храму, пустыней грамматики к певучему стиху, отвесными склонами и пропастями к пейзажу, открывшемуся с вершины горы. Мы в пути, и мне нет дела до твоего отчаяния и тревог, не доверяю я и сентиментальным гусеницам, которым мнится, что они влюблены в полет. Мне нужно, чтобы гусеница пожрала самое себя в пекле пересотворения. Нужно, чтобы ты пересек свою пустыню.

У тебя нет доступа к источнику радости, спрятанному в тебе, прежде — чем ты проторишь к нему дорогу. Ты оказался изобретательнее и выиграл партию в шахматы, как ты радостен, но не в моей власти подарить тебе радость за так, обойдя священнодействие игры.

Поэтому я и хочу, чтобы на ступеньке, где священнодействие — ковка гвоздей и обстругивание досок, пелись песни кузнецов и плотников, а не песня корабля. Я предлагаю тебе невеликую победу — гладкую доску, выкованный гвоздь, — но она образует твое сердце, если ты стремился и желал их. Ты ни на что не променяешь бревно, если жаждешь построить корабль.

Но я видел: человек, играя в шахматы, тайком позевывал и отвечал на ход противника так безразлично-снисходительно, словно его, давно зачерствшего сердцем, принудили возиться с детьми.

— Гляди, какой у меня флот! — говорит семилетний капитан, показывая на белые камешки.

— Прекрасный флот, — соглашается зачерствелый сердцем, ту-по глядя на камешки.

Самолюбивому тщеславцу, что не пожелал всерьез вжиться в священнодействие шахматной игры, не дастся и вкус победы. Если из тщеславия ты не возведешь в божество доски и гвозди, тебе не построить корабль.

Книжный червь, который не знает, что значит строить, предпочитает, в силу утонченности, песню корабля песне плотников и кузнецов, а когда корабль оснащен, спущен на воду и летит вперед с толстощековыми парусами, он, не желая замечать неустанное борение с морем, поет о волшебных островах, — да, конечно, острова — главное и в ковке гвоздей, и в обстругивании досок, и в борении с морем, но только если ты не пренебрег ни одной из ступенек, ведущих тебя к преображению. Когда ты преобразишься, ты увидишь, как из морской пены поднимается остров. Но тот, кто едва взглянув на первый гвоздь, зашлепает по теплой жиже мечты, воспевая разноцветных колибри и сумерки на коралловом атолле, вызовет у меня только отвращение к этим птичкам, потому что мне по вкусу ноздреватый ломоть хлеба, а не сладкий компот, я в него не верю, я — с островов дождя, где живут серые птицы, и, чтобы поманить меня иным райским островом, нужна песня, что всколыхнет во мне бесцветное небо и серых птиц.

Но я, который не строил храма без камней, который добирался до сути, только преодолев разброд и разноголосицу, я, который не говорил о цветах вообще, а только вот об этом одном — с пятью лепестками алого цвета, я, который ковал гвозди, стругал доски и принимал на себя напор мускулистого моря, только я могу спеть для тебя об острове, плотном и весомом; я своими руками извлек его из морских глубин.

То же скажу я и о любви. Книжный червь славит ее вселенскую полноту. Его гимны не помогли мне никого полюбить. Чья-то отдельная, частная проторила мне к ней дорогу. У нее свой собственный голос. Особенная улыбка. Нет ей подобий. А вечером, облокотившись на подоконник, я окунулся не в свое отдельное озерцо, а словно бы узрел лик Господа. Потому что каждому из нас нужна подлинная тропинка, она сворачивает здесь и здесь, она белая от пыли, с шиповником на обочине. По такой тропинке ты непременно куда-нибудь придешь. Умиравший от жажды идет в мечтах к роднику. И умирает.

То же скажу я и о жалости. Ты говоришь мне о страдании детей и вдруг видишь: я зеваю. Ты никуда меня не привез. Ты сообщил: «При кораблекрушении утонуло десять детей...» Что мне арифметика? Я не заплачу в десять раз сильнее, если число погибших удвоится. Вдобавок, со дня основания царства погибли десятки тысяч детей, а мы все-таки рады жизни и порой чувствуем себя счастливыми.

Я заплачу о том ребенке, к которому ты приведешь меня настоящей тропкой. Благодаря моей розе я увидел все остальные, благодаря твоему ребенку я почувствую всех остальных и заплачу, но не обо всех на свете детях — обо всех на свете людях.

Однажды ты рассказал мне о весноватом хромоножке — козле отпущения всей деревни, — достойные жители ненавидели безродного попрошайку, что пришел к ним неведомо откуда.

— Чума и позор нашей прекрасной деревни! — кричали ему. — Поганка на нашей благородной земле!

Повстречав его, рассказчик спрашивал:

— Эй ты, весноватый, у тебя что, нет отца?

Тот молчал.

В друзьях у него были только козы, бараны, деревья, и рассказчик, бывало, задавал ему и такой вопрос:

— Чего не играешь со сверстниками?

Тот молча пожимал плечами. Сверстники швыряли в него камнями: урод-хромонога, пришел из уродской страны, где все плохо и всё не так!

Иногда он отваживался подойти к играющим; красивые, складные мальчишки вставали враждебной стеной:

— Вали отсюда, краб ползучий! Твоя деревня от тебя отказалась, так ты вздумал уродовать нашу? У нас добротная деревня, в ней все прочно стоит на ногах!

И ты видел, как молча поворачивался и отходил хромоножка, припадая на большую ногу.

Повстречав его опять, ты спрашивал:

— Эй ты, весноватый, у тебя что, нет матери?

Он молчал. Быстро взглядывал на тебя исподлобья и краснел.

Тебе казалось, что он должен быть озлоблен, полон горечи, ты не мог понять, откуда в нем спокойная кротость. Но он был кроток. Да, он был таким вот, а не иным.

Пришел день, когда крестьяне взялись за палки, решив прогнать его прочь:

— Хромое отродье! Пусть ищет себе места где хочет, нечего ему делать в нашей деревне!

Ты защитил его и спросил:

— Эй ты, весноватый, неужели у тебя и брата нет?

Лицо его осветилось, и он посмотрел тебе прямо в глаза:

— Да! У меня есть брат!

Вспыхнув от гордости, он стал рассказывать тебе о своем старшем брате, его родном брате, а не чужом.

Он — капитан и где-то в далеком далеке несет службу царства. У него замечательный конь, гнедой, а не какой-то еще, и на этого гнедого коня брат посадил его позади себя — его, хромоножку, его, весноватого, в день, когда праздновали победу. В победный день, а не какой-то другой. И когда-нибудь он придет, его старший брат. Он посадит его на коня, его, хромоножку, его, весноватого, и пусть тогда на него посмотрит вся деревня. «Но на этот раз, — сказал мальчишка, — я попрошу его посадить меня впереди, и он посадит! И все будут на меня смотреть. А я буду командовать: «Направо! Налево! Быстрой! . . . » Брат не откажет мне. Он любит, когда мне весело! И мы будем с ним вдвоем!»

Он уже не был ненавистным хромоножкой, весноватым уродцем. Он был любимым младшим братом. Он ехал на коне, настоящем боевом коне в день победного торжества.

И снова настало утро. Ты опять увидел мальчишку, он сидел на низкой ораде, свесив ноги, а другие мальчишки швырялись в него камнями:

— Бегать и то не умеешь, хромонога!

Он посмотрел на тебя и улыбнулся. Вы теперь были заодно. Ты тоже знал, как обделены его враги, они видят в нем только хромого, только уroda, а на самом деле он — любимец старшего брата, который ездит на боевом коне.

На сегодня брат отмоет его от плевков, своей славой загородит, как крепостная стена, от камней. Ветер мчащегося галопом коня облагородит тщедушного уродца. Никто больше не увидит его некрасивым, потому что красив его брат. На сегодня он будет избавлен от унижения, потому что брат его радостен и исполнен славы. И он, хромой, будет греться в его лучах. С этих пор его будут принимать во все игры: «Бегай с нами, раз у тебя такой брат . . . » И он попросит брата, что-

бы тот и их посадил на коня впереди себя всех по очереди, чтобы и они могли отведать быстрого ветра. Он не будет с ними суров из-за их невежества. Он будет любить их и скажет: «Всякий раз, когда брат будет приезжать, я буду звать вас послушать о его битвах...» Он приник к тебе, потому что ты — знаешь. Для тебя он уже не пустое место, не ничтожество, за ним ты видишь его старшего брата.

Но ты взял и сказал ему то, что лишило его рая, воздаяния за все беды, теплого солнца. Взял и лишил щита, который прибавлял ему мужества под градом летящих камней. Втоптал в неизбывную грязь. Ты взял и сказал ему: «Малыш, ищи себе другую опору, потому что не приходится надеяться на поездку на боевом коне». Как расскажешь ему, что его брата выгнали из армии, что, покрытый позором, ковыляет он к деревне, хромая и приволакивая ногу, и вслед ему швыряют камни?

Рассказчик добавил:

— Я же его и похоронил, он утопился в грязной луже, он не мог жить в мире без солнца...

И тогда я заплакал над человеческим горем. И благодаря этому веснушчатому лицу, этому, а не иному, благодаря боевому коню, этому, а не иному, благодаря прогулке на коне в день торжества победы, в этот день, а не иной, благодаря унижению в этой деревне, а не иной, благодаря этой луже, в которой, как ты сказал мне, плавали утки и на берегу было разложено выстиранное тряпье, я увидел Господа — вот как далеко зашла моя жалость, — потому что вел ты меня тропой подлинности и говорил вот об этом мальчишке, а не о другом.

Не ищи света как вещи среди вещей, ищи камни, строй храм, и он озарит тебя светом.

Старательно смазывая ружье, воздаявая должное и ружью, и смазке, считая шаги, когда ходишь по кругу, отдавая честь своему капралу, отдавая должное и капралу, и своей чести, ты приуговляешь в себе озарение, мой дозорный! Передвигая шахматные фигуры, принимая всерьез правила шахматной игры, краснея от гнева, если противник их нарушает, ты приуговляешь в себе восторг победителя. В кровь стирая ноги своих верблюдов, проклиная жажду и ветер песков, спотыкаясь, дрожа от холода, изнывая от зноя, ты — если только пребывал верным необходимости каждой минуты, а не восторженному предвкушению крыльев, этой лживой поэзии сентиментальной гусеницы, — ты можешь рассчитывать на озарение паломника, который вдруг, по внезапному биению сердца, поймет: предыдущий шаг его был шагом к чуду.

Как бы ты ни воспевал радость, не в моей власти открыть скрытые в тебе запасы счастья. Но я могу быть тебе в помощь на ступеньке вещности. Я расскажу тебе, как поддерживать колодцы, как лечить на ладонях водяные мозоли, о геометрии звезд и как завязать узлом веревку, если кладь твоя съехала набок.

Чтобы искусство завязывать узлы стало для тебя песней, я познакомлю тебя с погонщиком верблюдов, который в юности был матросом, — поэзия узлов для него вдохновенней поэзии составления букетов, изготовления украшений для танцовщиц. Есть узлы, которые удержат на месте корабль, но развяжет их даже ребенок, едва прикоснувшись пальцем. Есть другие, они кажутся проще поворота лебединой шеи, и ты можешь держать пари с приятелем, что он развяжет его без труда. И если он примет пари, ты можешь сесть в сторонке и спокойно смеяться: этот узелок из тех, что доводят до бешенства. Не забыл мой учитель, в совершенстве владея своим искусством, и легких петель, которыми ты перевьешь подарок для своей любимой, хотя сам учитель был хром, кривонос и косил на один глаз. Хитрость

завязанной ленты была в том, что развязать ее было можно одним движением, словно сорвать цветок. «И она увидела твой подарок, — сказал он, — восхищенно вскрикнула». Он тоже вскрикнул, а ты опустил глаза, так он был несуразен.

Почему я должен пренебрегать мелочами, которые кажутся тебе — и совершенно напрасно — ничтожными? Матрос отдаст должное искусству, благодаря которому простая веревка может стать канатом для буксира или спасением. Раз игра подчас становится условием, благодаря которому мы поднимаемся выше, я придаю игре значимость молитвы. Но, разумеется, мало-помалу, по мере течения дней, твой караван изнашивается, и тебе уже не хватает таких простых молитв, как завязывание узлов на веревках или кожаных ремнях, как вытаскивание песка из сухих колодцев, как чтение по звездам. Тогда вокруг каждого сгущается мертвая тишина, каждый становится дерзок на язык, туг на ухо и черств сердцем.

Не тревожься. Это разрывается кокон. Ты обогнул еще одно препятствие и поднялся на холм; камни и колючки пустыни, от которых ты мучался, ничем не отличаются от вчерашних, но ты кричишь с неистово бьющимся сердцем: «Вот оно!» И твои сотоварищи по каравану бегут к тебе. Все изменилось в ваших душах, будто с приходом зари. Ваша жажда, мозоли на руках и ногах, изнурение зноя, ночной холод, пустынный ветер, что слепит и скрипит на зубах песком, все погибшие верблюды, все болезни и все дорогие друзья, которых вам пришлось похоронить, вдруг возмещены вам сторицей, но не хмельным пиром, не прохладной тенью, не красотой юных девушек, что стирают белье в голубой воде, ни даже величием куполов, что венчают святой город, — чем-то неуловимым, малой звездочкой, — солнце благословило ее, и она сверкает превыше всех куполов, — и так она еще далека! Тебя может разлучить с ней треск ломающегося кокона, осыпающаяся тропа может обвалиться в пропасть, впереди еще скалы, с которых можно упасть, и пески, пески, и опустелые бурдюки, и больные, и мертвые, — последняя пища солнца. И все-таки вы выносили в себе радость, она выпорхнула бабочкой среди песков и колючек, под которыми прячутся чуткие змеи, как нервы под кожей; вас обрадовала незримая звезда, она бледнее, чем Сириус в ночь самума, такая дальняя, что те из вас, у кого нет зоркости орла, не видят ее, настолько непрочная, что стоит солнцу чуть повернуться, как она исчезнет; так вот мигание этой звезды и даже не мигание, а для тех, у кого нет орлиной зоркости, отблеск в глазах тех, кто видел это мигание, отблеск отблеска, и вот этот отблеск в одно мгновение изменил вас. Сбылись все обещания, за все воздано вам сторицей, потому что один из вас, взглядевшись вдаль с орлиной зоркостью, неожиданно остановился и, указывая рукой в пространство, закричал: «Вот оно!»

Свершилось. На взгляд, ты ничего не получил. Но ты получил все. Теперь ты напоен, накормлен, исцелен от ран. Ты говоришь: «Я могу умереть, я видел святой город и умру счастливым».

Я веду речь не о контрасте, благодаря которому после нищенства кажется драгоценностью тощее благополучие, и счастьем утоление жажды после того, как жаждал. Я же сказал, что они еще в пути и путь опасен. Разве кто-то сказал тебе, что пустыня выпустила их из объятий? Не веду речь и о каких-то переменах в их судьбе, потому что найтскую радость не отнимет и смерть от жажды. Подчинившись, они добросовестно творили священнодействие пути по пустыне, и этот путь сотворил их и позволил войти в праздник — праздник, замерцавший вдали золотой пчелкой.

Не подумай, будто я что-то преувеличил. Однажды я заблудился среди девственных песков и вдруг заметил человеческий след и понял:

сладостна смерть среди соплеменников. Все вокруг осталось прежним, новым был полустертый след на песке. Он все переменял.

Что же увидел я, о народ мой, сострадая тебе в молчании моей любви? Увидел, как кровоточили ноги твоих верблюдов, как, потеряв сам себя, ты брел по пескам под знойным солнцем, как выплевывал песок, бранил соседа и, браня его, страшился сгустившейся тишины, где тонули один за другим твои одинаковые шаги. Я не дал тебе ничего, кроме скудной пищи, постоянной жажды, укусов солнца и мозолей на руках. Питал камнями, поил колючками. А затем показал тебе отблеск отблеска золотой пчелки, и ты преисполнился благодарности и любви.

Дары мои невесомы. Но чем так уж хороши величина и тяжесть? Мне достаточно раскрыть ладонь, чтобы двинулась в путь армия кедров, которая оденет могучую гору. Мне достаточно одного семечка!

СС

Если я подарю тебе состояние, будто нежданное наследство от дядушки, чем я тебя облагорожу? Если подарю тебе черную жемчужину из глубин моря, миновав священнодействие погружения на дно, чем я тебя облагорожу? Облагораживает тебя только то, что преображает, ибо ты — семя. Нет для тебя подарков. И поэтому я хочу утешить тебя — тебя, что так горюет из-за потерянных возможностей. Нет потерянных возможностей. Резчик режет кость, вытачивая лицо богини или царевны, и оно упадет тебе в душу. Ювелир работает с чистым золотом, и, возможно, его украшения меньше говорят человеческому сердцу. Но ни золотой браслет, ни статуэтка из кости не достались им как подарок. И ювелир, и резчик только путь, кладь, повозка. И тебе даются только камни для будущей часовни, которую ты должен построить. И камней всегда хватает, как всегда хватает земли кедру. Вот земле может не хватать кедров, и она может остаться каменистой пустошью. На что тебе жаловаться? Нет потерянных возможностей, ибо дело твое быть семенем. Если у тебя нет золота, режь кость. Если нет кости, режь дерево. Нет дерева, собирай камни.

Для дородного министра с пухлыми веками, которого я отсек от моего народа, не нашлось ни единой возможности ни в его поместьях, ни в тачках с золотом, ни в погребках, набитых алмазами. Но для того, кто шел и споткнулся о камень, приоткрылась необыкновенная возможность. А ты? Горюя, ты просишь подарков, а не возможностей.

Тот, кто жалуется, что люди его обделили, сам отстранился от людей. Тот, кто жалуется, что ему недодали любви, ошибается в понимании любви: любовь никогда не была подарком, который получают.

Никто и никогда не лишал тебя возможности любить. Ты в любой миг можешь стать солдатом королевы. И королеве совсем не обязательно знать о тебе, для того чтобы ты был счастлив. Мой геометр был влюблен в звезды. Светящуюся нить он ощупывал разумом и превращал в закон. Он был путем, кладью, повозкой. Пчелой расцветшей звезды, он добывал свой мед. Я видел: он умирал счастливым, благодарный тем нескольким фигурам и формулам, на которые обменял свою жизнь. Счастлив был садовник моего сада, когда у него раскрывалась новая роза. Звездам может не хватать геометра. Саду — садовника. Но тебе не может не хватить звезд, садов, гальки, выброшенной из пенных губ моря. Не говори мне, что ты нищ.

И вот что я понял, глядя на отдыхающих моих дозорных. Они с аппетитом ужинают. Шутят, подначивают друг друга. Сейчас они противники нескончаемого хождения по кругу, враги долгих часов

бдения. Они рады, что избавились от ярма. Ярмо — их недруг. И это так естественно. Недруг, — и в то же время неизбежный, необходимый, насущный для них удел. И война такой же удел, и любовь. Я уже говорил тебе о войне, что светится светом любви. Говорил о влюбленном, который становится достойным воином. Разве умирающий среди песков закован в броню бесчувствия? Он молит: «Позаботься о моей любимой или позаботься о моем доме, детях...» И поэтому тебе драгоценна его жертвенность.

Я наблюдал за беженцами-берберами, они не шутили, не подтрунивали друг над другом. Не подумай, что я веду речь о противодействии, об облегчении, что наступит неизбежно, если удалить больной зуб. Противодействия, контраста хватает ненадолго. Да, если вода станет безвкусной, запретив ее пить, можно вернуть ей вкус. Она станет вкуснее. Вкуснее рту, горлу, желудку, и ничему больше. Так вкусен ужин для моих дозорных после тяжелой и неприятной работы. Разыгравшийся аппетит — причина их удовольствия. Можно, конечно, оживить жизнь и для моих берберов, кормя их только по праздникам...

Но дозорного возвращают часы бдения. Хотя и дозорные тоже едят. Однако совместный ужин дозорных нечто иное, нежели воловье стремление к кормушке и обожествление желудка. Ужин их — причащение хлебом, собравшим на вечерю дозорных. Пусть они не догадываются об этом. Однако с их помощью хлебное зерно становится бдением и взглядом, обнимающим город, и может случиться так, что бдение и обнимающий город взгляд благодаря им возвеличат хлеб. Хлеб — он ведь тоже разный, есть один хлеб и есть другой. Если ты хочешь проникнуть в тайну дозорных, о которой они не подозревают, посмотри, как обольщает кто-то из них в веселом квартале женщин, рассказывая им: «Стою я как-то на крепостной стене, и вдруг у меня прямо над головой одна за другой три пули, я и ухом не повел, не шевельнулся». И с гордостью откусывает большой кусок хлеба. А ты, глупец, услышав эти слова, счел стыдливость любви похвалой бахвала. Знай: дозорный, рассказывая байки о своем стоянии на посту, озабочен не возвеличиванием себя, — ему хочется согреться тем чувством, в каком он не признается и сам себе. Он никогда не признается, что любит город. Он умрет ради своего божества, но оставит его безымянным. Он служит ему, но не хочет сознаваться в этом. И того же молчания требует и от тебя. Патетика его унижает. Не умея назвать свое божество, он инстинктивно защищает его от твоих насмешек. И своих собственных тоже. Вот и разыгрывают мои дозорные бахвалов и фанфаронов, без натуги вводя в заблуждение ради того, чтобы где-то, в глубинах самих себя, прикоснуться к затаившемуся там роднику любви.

И если красотка скажет: «Вот незадача, мало вас уцелеет после войны!» — ты услышишь, как охотно они с ней согласятся. Согласятся, изрыгая ругательства и проклятья. Но втайне слова красотки им приятны, словно признание. Ибо умрут они ради своей любви.

Но попробуй скажи им, что они любят, они расхохочутся тебе в лицо! За дураков ты их, что ли, принимаешь, собираясь расплатиться цветистыми фразами за их кровь?! Хотя храбрости им не занимать, ясное дело! Так тщеславятся они. Из любовной стыдливости разыгрывают бахвалов. И правы, потому что иной раз ты обманываешь их. Пользуясь их любовью к городу, отправляешь спасать свои амбары. Презирая тебя, они постараются тебя уверить, что идут на смерть из фанфаронства. Сам-то ты не любишь город. Они чувствуют в тебе сытого. Но с любовью, без лишних слов, спасут твой город и с наглой усмешкой, будто кость собаке, бросят тебе твои спасенные амбары, потому что и они часть города.

ССІ

Ты мне в помощь, когда меня обличаешь. Да, я ошибся, описывая увиденный мною край. Не там поместил реку, позабыл эту деревню. Ты торжествуешь, указывая на мои ошибки. Твоя работа мне по нраву. Есть ли у меня время все измерить, все перечислить! Мне важно, чтобы ты увидел мир с той горы, которую я выбрал. Ты увлекся мроей работой, пошел дальше меня. Ты поддержал меня там, где я дал слабину. Я рад.

Тебе кажется: раз ты разбил меня в пух и прах, то и я немедленно ополчусь на тебя, — ты ошибся. Ты из породы логиков, историков, критиков, — они обсуждают форму носа и уха, но не видят лица целиком. Что мне за дело до формулировки закона, до конкретики определения? Разработать их — твое дело. Если я хочу заразить тебя страстью к морю, я рассказываю тебе о плывущем корабле, о звездной ночи и о волшебном царстве ароматов, рожденном дальним островом. «Наступает утро, — говорю я тебе, — и ты (пусть ничего вокруг, на взгляд, не изменилось) попадаешь в обитаемый мир. По морю плывет не видимый еще остров, похожий на корзинку, полную пряностей». И ты видишь, что твои матросы, патлатые грубияны, томятся неведомым им томлением нежности. Образ колокола возник прежде, чем ты услышал его звон, неповоротливому сознанию нужно весомое гуденье, но тонкая струна в душе уже все уловила. И я уже счастлив, потому что иду к саду, сулящему розы... И на море, в зависимости от ветра, тыловишь благоуханье любви, отдыха или смерти.

Но ты останавливаешь меня. Корабль, который я описал, не выдержит бури, нужно перестроить его вот так, а можно вот этак. Я соглашаюсь. Измени! Я ничего не понимаю в гвоздях, в досках. Потом ты отвергаешь пряности, которые я тебе пообещал. Твои научные познания доказывают, что пряности должны быть совершенно иные. Я соглашаюсь. Я ничего не смыслю в ботанике. Главное для меня, чтобы ты построил корабль и собирал для меня далекие острова. Пусть даже ты пустишься в путь ради того, чтобы меня опровергнуть. И опровергнешь меня. Я первый поздравлю тебя с триумфом. А потом, в молчании моей любви, пойду и навещу портовые улочки. Какими они стали после твоего возвращения?

Преображенный священнодействием поставленных парусов, звездной книги и палубы, которую необходимо драить, ты, вернувшись, поешь своим сыновьям об островах, что странствуют по морю, ты хочешь, чтобы и они пустились в путь. А я? Я стою в тени, я слышу твою песню и, довольный, тихо ступая, ухожу.

Ты не можешь всерьез уличить меня в ошибке, не можешь опровергнуть, уничтожить меня. Я — питающая среда, не вывод умозаключения. Разве возможно убедить в ошибке скульптора, доказать, что вместо воина он должен был вылепить женское лицо? На тебя будет смотреть женское лицо или воин... Они просто будут перед тобой. Если я увлекся звездами, я уже не тоскую о море. Я занят звездами. И когда я творю, что мне до твоих возражений? Ты — тоже мой материал, а я леплю невиданное еще лицо. Поначалу ты будешь протестовать. «Да это лоб, — скажешь ты мне, — а вовсе не плечо». — «Возможно», — отвечу я. «А это нос, а не ухо». — «Возможно», — отвечу я. «Глаза», — скажешь ты, не соглашаясь со мной, отойдешь, приблизишься, посмотришь справа, потом слева, чтобы раскритиковать то, что я делаю. Но рано или поздно придет минута, и перед тобой предстанет мое творение: такое вот лицо, а не иное. И ты замолчишь.

Что мне до ошибок, в которых ты меня уличил? Истина запрятана куда глубже. Слова для истины — дурная одежда, любое из слов можно опровергнуть. Язык мой неуклюж, и я часто противоречу сам

себе. Но это не значит, что я ошибся. Я всегда отличаю ловушку от добычи. О пригодности ловушки я сужу по добыче. Не логика связывает дробный мир воедино, — божество, которому равно служит каждая частичка. Слова мои неловки, на первый взгляд, несвязны, но внутри них я сам. Я просто есть, и все тут. Если женщина наряжена в платье, я же не раздумываю: настоящие или нет на платье складки. Вот она идет, она красива, плавно двигаются складки на ее платье, собираются, распрямляются и все-таки сохраняют гармонию.

Я не знаю, есть ли логика в складках платья. Но они заставляют забиться сердце сильнее, вызывая соблазн желаний.

ССII

Я заговорю с тобой о Млечном Пути, что протянулся над городом, и подарю тебе его. Подарки мои просты. Я сказал: «И на устроенную так усадьбу смотрят звезды». И сказал правду, ибо и твоя усадьба устроена точно так же: слева сарай, в нем осел. Справа дом, в нем жена и дети. Перед домом сад с оливами. За твоим домом дом соседа. Вот и все твои дороги в обыденной скудости мирных дней. Если тебе по нраву прибавлять к своим неурядицам чужие, — ведь и в своих тогда больше смысла, — ты постучишься к другу. Выздоровление его ребенка сулит выздоровление твоему. Украденные у него ночью грабли наполняют ночь неслышно крадущимися ворами. И бессонница твоя становится бдением. Смерть твоего друга для тебя смертельна. Но если тебе по душе любовь, ты поворачиваешься к собственному дому, улыбаясь, приносишь в подарок переливчатую парчу, или новый кувшин, или благовония, или еще что-то, что обращается в радостный смех, так веселее вспыхивает зимой огонь от молчаливого кусочка дерева. И если с наступлением утра тебе нужно приниматься за дела, ты поднимаешься и сонный идешь в сарай будить осла в стойле, ты поглаживаешь его, похлопываешь по холке и, подтолкнув вперед, выводешь на дорогу.

И если теперь ты только дышишь, то вокруг тебя поля и холмы — пейзаж, насыщенный силовыми линиями, перепадами, призывами, соблазнами, отказами, пусть ты не воспользуешься ни одним из них, пусть ни за одним не последуешь, но каждый твой шаг отмечен особым настроем. В твоем владении — целая страна, полная лесов, пустынь, садов, даже если сейчас ты о ней и думать не думаешь, но все-таки ты принадлежишь такому вот укладу, а не другому.

Но я проложил еще одну дорогу в твоем царстве, и у тебя появилась еще одна возможность смотреть и вперед и назад, и вправо и влево: я попросил тебя поднять глаза к небесному своду, распростертому над твоим тесным кварталом, где ты задыхаешься от недостатка воздуха, и душа твоя омылась морской синевой. Вот я медленно развернул перед тобой ковер времени, куда более пространственный, чем тот крошечный кусочек, на котором вызревает твой колосок, и ты почувствовал себя древнее на тысячу лет или, напротив, новорожденным младенцем, и это еще одна дорога, которую я проторил для тебя, о мой человеческий колосок под светом звезд. И если сердце твое потянется к любви, ты подойдешь к распахнутому окну, чтобы окунуться в синеву неба, и скажешь своей жене в тесном своем квартале, где задыхался от недостатка воздуха: «Вот мы с тобой одни, ты и я, под взглядами звезд». И по мере того, как будет прибывать воздух, ты будешь дышать все глубже и очищаться. Станешь живым и похожим на траву, что пробилась среди каменистой пустоши и, раздвинув камни, тянется к небу; похожим на пробуждение, — и, несмотря на хрупкость, на уязвимость, в тебе очнется сила, способная повлиять на ход

веков. Ты станешь звеном в цепи. И если присядешь у очага соседа, чтобы послушать, как шумит мир (скорее, шуршит, потому что тебе расскажут, что делается в соседнем доме: вернулся с войны сосед и выходит замуж соседка), то окажется, что я расширил в тебе душу и она стала чутче слышать. Свадьба, ночь, возвращение солдата, тишина, звезды сложатся для тебя в небывалую мелодию.

ССIII

Ты сказал: «Эти широкопалые жилистые руки из камня безобразны». Не согласен. Я должен увидеть статую, прежде чем судить о руках. Если это юная девушка в слезах, то прав ты. Старый кузнец? Руки его прекрасны. И точно так же я не сужу того, кого не знаю. Ты говоришь: «Он низок, солгал, бросил, ограбил, предал...»

У меня есть жандармы, чтобы определить, каков поступок, у них есть книга, где все поступки разделены: этот белый, а этот черный. Но жандармы обязаны поддерживать порядок, а не судить. Точно знает капрал, что добродетель — это умение держать строй, но и капрал никому не судья. Да, мне нужны и капралы и жандармы, но уклад для меня важнее справедливости, потому именно он создает человека, которого будет опекать справедливость. Если я уничтожу уклад во имя справедливости, я уничтожу человека, и моя справедливость лишится подопечного. Справедливым нужно быть к божествам, которым ты служишь. Но вот ты пришел ко мне и спрашиваешь, но не о наказании и не о награждении неизвестного мне человека, — тогда бы я попросил моего жандарма перелистать его учебник, — ты спрашиваешь, презирать тебе этого человека или уважать. Мне случилось уважать того, кого я казнию, и казнить того, кого уважаю. И не я ли тысячу раз вел моих солдат против моего возлюбленного врага?

Точно так же, как я знаю счастливых людей, но не знаю, что такое счастье, я не знаю, что такое воровство, убийство, развод, измена, если это не конкретный поступок конкретного человека. Но немощен ветер слов и не вмещает глубинную суть человека, как не вмещает и главного в статуе.

Да, этот человек восстановил тебя против себя, возмутил, оскорбил (возможно, подспудными импульсами, какие, бывает, таятся в музыке, и ты тогда затыкаешь уши). Свое неодобрение ты поместил в оболочку его поступка и протягиваешь мне, чтобы мы стали заодно. Так мой поэт, желая передать мне ощущение славной судьбы, клонящейся к закату, и сопутствующую закату печаль, говорит: «октябрьское солнце». Хотя дело совсем не в солнце, не в этом конкретном месяце среди прочих других. И если я захочу передать тебе ощущение от моей ночной победы, когда, бесшумно подкравшись, я обратил сон недруга в вечный, я сцеплю одно слово с другим и скажу, например: «прикосновение снежной сабли», чтобы поймать в плен ту неуловимую нежность, что сопутствовала свершившемуся, хотя дело, конечно, не в сабле и не в снеге. Вот и в человеке ты выбрал поступок, который станет для меня сродни образу в произведении.

Твоя обида должна стать когтем. Должна обрести лицо. Никому невтерпещ жить обиталищем призраков. Что нужно твоей жене сегодня вечером? Разделить свою обиду с приятельницей. Раздать эту обиду всем вокруг. Так уж мы устроены, не можем жить одни. Вооружившись своими творениями, рвемся в атаку. Твоя жена не устает пересказывать твои низости. И если приятельница ее пожмет плечами, найдя, что упреки ничего не стоят, она не успокоится. Она будет искать другие. Она просто ошиблась в повозке. Плохо подобрала картинку. Ведь обида ее не может ошибаться, она же есть.

Точно так же ты обсуждаешь с врачом свои болезни. Ты предлагаешь одну болезнь, другую. У тебя есть соображения, чем ты болен. Он доказывает тебе, что ты ошибся. Что ж, возможно. Он говорит, что ты здоров. Вот тут ты возражаешь. Ты мог плохо изобразить свою болезнь, но подвергать сомнению то, что она существует?! Никогда! Врач — да он просто осел! И от описания к описанию ты будешь прорываться к свету определенности. И сколько бы ни отрицал, ни отбрасывал твои описания врач, он не сможет убедить тебя отбросить твою болезнь, потому что ты чувствуешь: она есть. Твоя жена будет чернить и чернить твое настоящее и твое прошлое, твои желания и твои верования. Не имеет смысла бороться против когтей. Подари ей изумрудный браслет. Или высеки ее.

Но мне жаль тебя, когда ты то ссоришься, то миришься: ты стоишь совсем не на ступеньке любви.

Любовь — это встреча в тиши. Любить — значит созерцать. Наступает час, и мой дозорный преобразается в город. Приходит час, и ты получаешь от своей возлюбленной нечто, что не связано ни с этим ее движением, ни с другим, ни с этой черточкой, ни с другой, ни с этим ее словом, ни с другим, — ты получаешь нечто исходящее от Нее.

Наступает час, и одного ее имени тебе достаточно, словно молитвы, к которой нечего прибавить. Приходит час, когда ты ничего не просишь. Ни губ, ни улыбки, ни ласковых рук, ни ощущения ее присутствия. Тебе достаточно, что Она есть.

Наступает час, и тебе не нужно спрашивать себя, задумываться, стараясь понять это ее движение, слово, решение, отказ, молчание. Ибо Она есть.

Но вот жена требует, чтобы ты оправдался. Она устроила суд над твоими поступками. Она спутала любовь и собственность. Зачем отвечать? Чем поможет тебе судебное решение? Тебе нужно, чтобы приняли тебя молчаливо, не благодаря этому движению и не другому, не за эту добродетель и не за другую, не за это слово и не за другое, но во всей твоей недостаточности, таким, каков ты есть.

ССIV

Мне пришлось раскаяться, что я тратил себя без меры, сочтя таланты, дарованные мне свыше, самоценными, тогда как они всего лишь предугадание пути, и вот оказался пустым в пустоте. Меру я принял за скардность сердца и тела и не желал ее знать. Я поджигал лес, чтобы на час согреться, ибо пожар полыхал так царственно. Я скакал галопом, слышал свист над ухом и не хотел беречь свои дни. Весь целиком принадлежал каждой из минут своей жизни, но плод рождается только тогда, когда не пропущена ни одна минута.

Я посмеялся над книжным червем, он отказался выйти на крепостную стену, когда город его осадили, из презрения, как он выразился, к физиологическому мужеству. Мне было смешно, он говорил так, будто считал себя чем-то вечным, а не преходящим. Будто есть цель, а не цепь перемен — свидетельство текущей жизни.

Презирал я и измененность аппетита, жизнь ради пищеварения, какой живут в своих домах обыватели. Обывателей я заставлял служить сиянию своего клинка, а своим клинком служил незыблемости царства.

В сражениях я рубился отчаянно, безудержно, не слушаясь усталости, скулежки страха, но мне совсем не понравится, если историографы моего царства представят меня ветряной мельницей с саблей, — никогда я не был только клинком. И если я обходил стороной брезгливцев, что едят, зажав нос, будто глотают микстуру, мне не понравится

вится, если историографы моего царства изобразят меня всеядным обжорой, — никогда я не был только желудком. Я — дерево, у меня мощные корни, я не пренебрегаю ничем из того, что может послужить мне на пользу. Всё мне в помощь, всё выше я тяну мои ветки.

Но я понял, что был неправ в своем отношении к женщинам.

Пришла ночь моего раскаяния, и я понял, что не умел обходиться с ними. Я походил на грабителя: ничего не смыслия в священнодействии игры, он с жадной торопливостью сгребает шахматные фигурки и, соскучившись глядеть на беспорядок, отшвыривает их прочь.

В ночь моего раскаяния, Господи, я поднялся с постели в гневе, я понял, что был волом у кормушки. Но разве я бабник, Господи?!

Одно дело самому вскарабкаться на гору, другое — странствовать по горам в паланкине, выбирая самый красивый из пейзажей. Но вот обозначились очертания голубой равнины, и тебе уже стало скучно, но ты приказываешь нести тебя дальше.

Я искал в женщине подарка, которым она мне может стать. Я хотел эту, потому что она напоминала мне серебристый колокольчик, по которому я тосковал. Но что делать с колокольчиком, что одинаково звенит день и ночь? Ты отправляешь колокольчик в кладовку, он тебе больше не нужен. Другую я пожелал за трепетность, с какой она говорила: «Ты, господин мой», но слова быстро прискучивают, и хочется иной песни.

Дай я тебе десяток тысяч женщин, одну за другой, и ты очень быстро истратишь особую черточку каждой, и тебе их будет мало, и снова ты ощутишь голод, ибо сам ты изменчив, меняешься от весны к осени, от утра к вечеру и от перемены ветра.

Но разве не знал я, что не исчерпать души человеческой, сколько из нее ни черпай, что в таинственных глубинах каждого дремлет невиданный пейзаж с нетронутыми лугами, тихими заводами, островерхими горами, потаенными вертоградом, что о каждом повороте его и изгибе мы можем, не уставая, проговорить всю жизнь, и я удивлялся, Господи, скудности запаса, с которым приходила ко мне и та и другая женщина, мне едва хватало ее запаса на ужин.

Я не считал их, Господи, пахотной землей, где я должен трудиться круглый год с зари до зари, обувшись в тяжелые башмаки, взяв плуг, лошадь, борону и лукошко с зернами, помня о сорняках и вооружившись верностью, чтобы получить от них то, что будет служить мне, — нет, я низвел их на роль кукол, которых выставляют старейшины захудалых деревушек, чтобы встречать тебя, именитого гостя, когда ты объезжаешь свое царство, — ясноглазая куколка читает приветственный стишок и преподносит в корзинке местные яблоки. Подарок тебе, разумеется, приятен, потому что хороши свежие улыбающиеся губки, певучи движения рук, протягивающих яблоки, простодушны слова и голосок, но ты вмиг исчерпаешь эти дары, выскребешь до дна мёд, потрепав румяную, свежую щечку, усладившись бархатом застенчивости. Но и эта куколка — пахотная земля, раскинувшаяся до неведомых горизонтов, где ты, возможно, потерялся бы на всю жизнь, если б знал, как до нее добратся.

Но я хотел собирать от улья к улью готовый мёд, я не искал необозримого пространства, которому поначалу нечего тебе предложить, которое требует от тебя одного: идти и идти, ибо долго нужно следовать молча за хозяином владений, если хочешь сродниться с ними.

У меня был друг, единственный подлинный геометр, он был мне учителем, к нему приходил я со своими неразрешимыми противоречиями не для того, чтобы он разрешил их, — для того, чтобы взглянул; и от одного его взгляда они смотрелись по-другому, — потому что и он был другим, чем я. Он слышал другие звуки, видел другое солнце, по-другому чувствовал вкус пищи; из подвластной ему вещественности

он извлекал такой вот плод, а не иной, не расчетами, не взвешиванием, — присущей ему особенностью движений, заданным в нем направлением в пространстве, — я ощущал в нем пространство, искал его, как ищут морской ветер или одиночество. Но что получил бы я от него, если бы стремился не к человеку, а к готовому запасу, не к дереву, а к плодам, думая насытить душу и сердце геометрическими выкладками?

Господи! Ты, что я ввожу в свой дом, ты дал мне как землю для возделывания, дал, чтобы я шел с ней рядом и открывал ее.

Господи, — сказал я, — только для того, кто вскапывает свою землю, сажает оливы, сеет ячмень, наступает час преображения, которого не дожидаться, если ходишь за хлебом в лавочку. Приходит час, и ты празднуешь собранный урожай. Торжество наполненных закровов, когда ты толкаешь тихонько скрипучую дверь к запасам солнца. Ибо настал час, и ты убрал в амбар силу, что воспламенит твои черные квадраты земли, убрал холм семян, окруженный еще ореолом золотой пыли, будто славой, что не успела смолкнуть.

Ах, Господи, — сказал я, — я ошибся дорогой, я блуждал среди женщин, словно шатун-бродяга.

Мучался возле них, словно в бескрайней пустыне, ища оазис, который был не любовью, который был вне любви.

Я искал скрытое в них сокровище, будто вещь среди прочих вещей. Прислушивался к их короткому, будто у гребцов, дыханию. Я стоял на месте и не двигался. Глазами я оценивал их совершенство и пытался утолить жажду красотой тонких щиколоток и округлых локтей. Во мне жила тоска, она направляла меня. Меня томили жаждой, обещая исцеление. Но я ошибся дорогой: смотрел Твоей истине в лицо и не узнавал ее.

Я ходил на безумца, что крадется ночью к развалинам, прихватив долото и заступ. Он простукивает стены, выворачивает камни, прикладывает ухо к тяжелым плитам. Он дрожит, охваченный болезненной лихорадкой, но он ошибся, о Господи, ища сокровище, как готовый запас, что положили век назад в потайную нишу, будто жемчужину в раковину; старик так ищет юность, скупец — богатство, влюбленный — залог любви, гордец — залог гордыни, честолюбец — славы, и все они — праха и суеты сует, ибо не рождается плод без дерева, не рождается радость без трудного труда созидания. Бесполезно искать среди камней камень, который стал бы тебе дороже других. Из чрева руин не извлечешь ни славы, ни богатства, ни любви.

Как безумец, что бесплодно копает землю ночь за ночью, ничего не обрел и я в своем сластолюбии, ином, чем сластолюбие скряги, но столь же тщетном. Опять и опять я оставался с самим собой. Мне тоскливо с самим собой, Господи, и наслаждения мои омрачают и утомляют меня.

Я хочу творить священнодействие любви, праздник ее приведет меня на иную ступень. Ибо все, чего я ищу и жажду, чего ищут все на свете люди, не на ступени вещественного, которое у них под руками. Вне священнодействия ты начинаешь ждать от камней того, что они дать не могут, хотя ты можешь из этих камней построить часовню; радость не в том, чтобы среди камней отыскать нужный камень, — радость в священнодействии, благодаря которому камни преобразятся в храм. Вот и женщина только хаос, если я не провижу сквозь нее иное.

Господи! Я смотрю на свою жену, обнаженную, спящую, красивую, тонкую в щиколотках, с теплой нежной грудью, и почему же мне не решить, что дана она мне в подарок?

Но я понял Твою истину. Та, что спит, та, что вскоре я разбуду, едва дотронувшись упавшей от меня тенью, не должна быть стеной, о которую я буду биться, — дверью, ведущей в иное; я не должен рас-

точить ее на хаос черт, черточек, хорошее, дурное, ища немыслимое сокровище, я должен трудиться над ее целостностью, над прочностью связующих нитей в молчании моей любви.

Что сможет тогда огорчить меня? Огорчается красавица, получив в подарок украшение: изумруд куда красивее, чем полученный опал, бриллиант красивее изумруда, бриллиант короля — самый прекрасный на свете. Но я сам должен одарить совершенством любимую, пусть даже она далека от совершенства. Ибо я не живу вещественным, я живу смыслом вещей.

Грубое кольцо, увядшая роза в полотняном мешочке, кувшин, может быть, латунный, для чаепития перед часом любви, — как заменишь их, если они — часть священнодействия? Совершенно только божество, и если грубый кусок дерева причастен служению божеству, то и он приобщен совершенству.

И в точности то же самое я могу сказать и о спящей моей жене. Вот я оценил все ее достоинства, устал и отправился искать другую. Есть другие — красивее, или у них куда лучше характер, или голос звенит, как колокольчик, по которому я тоскую, а вот эта так трогательно произносит: «Ты, мой господин...», в ее устах слова эти звучат музыкой для души и сердца...

Но спите спокойно, несмотря на все свое несовершенство, несовершенные жены. Я не хочу биться о стенку. Вы не цель, не подарок, не драгоценность, значимая сама по себе, которой я, налюбовавшись, вскоре наскучу, вы — путь, кладь, повозка. И я не устану сбываться.

ССV

Понял я и что такое праздник. Он миг твоего перехода с одной ступеньки на другую после долгого священнодействия, которое подготовило твое перерождение. Вот священнодействие строительства корабля. На протяжении долгих дней он — дом, который строится из гвоздей и досок, но однажды в пене белоснежных парусов он преобразается в невесту моря. Ты обручаешь их. Это и есть праздник. Но ты не можешь вечно спускать корабль на воду.

То же и твой ребенок. И праздник его рождения. Ты же не можешь каждый день хлопать в ладоши, оттого что он родился. Ты будешь ждать преобразования, и оно наступит, когда плод твоего дерева станет корнем и продолжит твой род, это и будет праздник. Праздник и собранная жатва. Праздник закровов. Праздник семян. Но потом приходит праздник весны, когда твои семена превращаются в нежные ростки, в зелень, похожую на прохладное озеро. И снова ты ждешь, и опять наступает праздник жатвы, а потом опять праздник закровов. И так без конца, от праздника к празднику, до самой смерти, потому что нет наготовленного запаса. Но всегда есть то, что приводит тебя к празднику, а потом ты идешь дальше, других праздников я не знаю. Ты шел долго-долго. Дверь открылась. Это и есть праздник. Но в комнате, куда ты вошел, ты не проживешь дольше, чем в другой. И я очень хочу, чтобы ты радовался, переступая через порог, что ведет куда-то, чтобы сохранял свою радость до того мига, когда высвободишься из кокона. Ты — едва теплящийся очаг, не каждый час посещает озарение дозорного. Озарение я приберегаю для дня, когда слава трубит в трубы и бьет в барабаны. С помощью праздников обновляется в тебе вещество, возбуждающее желание, но и сон тебе тоже нужен.

А я? Я не спеша иду по моему дворцу, медленно переступая с золотой плитки на черную. В полдень мой дворец прохладнее озера из-за скопленной в нем прохлады. Зыбь моих шагов, я — пловец, неумоимо плывущий туда, куда плыву. Моя родина не здесь.

Медленно проплывают мимо меня стены приемной, и, если я подниму глаза к своду потолка, мне покажется, будто он тихо покачивается, будто надо мною мост. Шаг на золотую плитку, шаг на черную, я тружусь не спеша, будто колодезник, что, копая колодец, вытаскивает грунт. Сильными руками помогает он натянутой веревке. Я знаю, куда я иду, моя родина уже не здесь.

Из одной приемной в другую продолжаю я свое странствие. Стены в них вот такие. И украшены таким вот орнаментом. Я огибаю серебряный столик с шандалами. Касаюсь рукой мраморной колонны. Она холодная. Всегда. Но вот я вхожу в жилые покои. Самые разные звуки доносятся до меня, будто сквозь сон, ибо я уже не принадлежу этой родине.

И все же домашняя суета мне сладка. Доверчивое биение сердца всегда трогает. Нет ничего, что уснуло бы до конца. Собака спит и взлаивает во сне, она перебирает лапами, что-то вспомнив. Так же спит мой дворец, убаюканный полднем. Хлопнула где-то дверь в тиши. Я вспомнил о трудах служанок и женщин. Наверняка это в их покоех. Они уложили свежее белье в корзины. И теперь, держась вдвоем за корзину, несут его. Укладывают в высокий шкаф, запирают. Какое-то дело сделалось там, за хлопнувшей дверью. Почтили какую-то обязанность. Что-то завершено. Теперь, наверное, и там заслужен отдых. Впрочем, что я знаю об этом? Моя родина уже не здесь.

Из приемной в приемную, золотая плитка, черная плитка, огибаю я царство кухонь. Слышу тонкий звон фарфора. Звон серебряных кувшинов, он мне небезразличен. Тихий скрип двери где-то в глубине. Тишина. Потом торопливые шаги. Что-то забытое потребовало от тебя немедленного присутствия — вскипающее молоко, а может, ребенок, что вскрикнул, а может, желание помириться после короткой ссоры. Или что-то заело в насосе, в валу, в мельнице, что мелет муку. И вот ты бежишь, чтобы длилась и длилась смиренная молитва...

Шаги смолкли, молоко спасено, ребенок успокоен, насос, вал, мельница вновь бормочут под нос молитву. Опасность отражена. Рана вылечена. Забывчивость исправлена. Какая? Откуда мне знать? Моя родина уже не здесь.

Вот я попал в обиталище запахов. Мой дворец похож на обширный подвал, что не спеша копит мед своих плодов, аромат вин. Я плыву будто между застывших колоний, провинций. Здесь у нас спелая айва. Я закрываю глаза и погружаюсь в ее запах. Дальше сандал сундуков. А тут просто свежeweмытые плитки. Каждый запах на протяжении поколений создавал собственное царство, узнать его может и слепой. Наверное, и мой отец владел теми же царствами. Но я иду и не думаю о них. Мое царство уже не здесь.

Раб, согласно священнодействию встречи, вжимается при моем приближении в стену. И я милостиво спрашиваю: «Покажи, что у тебя в корзине», ибо и он должен чувствовать важность своего места в мире. Треугольники шоколадных рук снимают с головы корзину. Опустив глаза, он воздает мне честь финиками, фигами, мандаринами. Я вдыхаю аромат. Потом улыбаюсь. Ширится и его улыбка, и он смотрит мне прямо в глаза вопреки ритуалу встречи. Треугольники шоколадных рук вновь ставят на голову корзину, а он смотрит и смотрит мне прямо в глаза. «Что горит в этой озаренной светом лампе? — думаю я. — Как пожар, разгораются и бунт, и любовь. Какой из этих огней затаился в глубинах моего сердца? За его стенами?» Я смотрю на своего раба, его все еще носит по волнам бушующего моря. «Да-а, — думаю я, — велика загадка человека!» И продолжаю свой путь, не разрешив загадки, ибо родина моя уже не здесь.

Я прошел покой, где отдыхают. Прошел зал совета, где шаги мои умножало эхо. Медленным шагом, ступенька за ступенькой, спустился

в последнюю приемную. Когда я не торопясь шел по ней, я услышал глухой шум и звяканье сабель. Я улыбнулся, преисполнившись снисхождения: дозорные мои, без сомнения, спали, в полдень мой дворец будто улей, наполненный сном: все замерло в нем, и сон его не тревожит и капризница, что не желает заснуть, не тревожит забывчивая, что бежит поправить оплошность, не тревожит недовольный брюзга, что не устает поучать, поправлять и что-то ломать в этом доме. В стаде коз всегда есть одна, что не устает бляеть, из уснувшего города всегда несется неведомый зов, на самом тихом из кладбищ всегда есть ночной бродяга. Медленным шагом продолжал я свой путь, склонив голову, чтобы не видеть моих дозорных, наскоро приводящих себя в порядок, ибо что мне до них? Моя родина уже не здесь.

Вот они привели себя в порядок, выпрямились, поклонились, подошли ко мне с опахалом, а я прикрыл глаза и замер на миг у порога: так ослепительно и жестоко сияло солнце. Здесь начинаются поля. Круглые холмы, что греют на своих спинах мои виноградники. Нарезанные полоски моих жатв. Меловой запах земли. Здесь совсем иные мелодии: гуденье пчел, стрекотанье цикад, кузнечиков. Из одного мира я перешел в другой. Ибо я захотел вкусить полдень моего царства.

Ибо я только что родился на свет.

CCVI

О том, как я навещал моего друга — единственного подлинного геометра.

Как трогало меня тщание, с каким он разжигал огонь в очаге, насыпал чай в чайник, прислушивался к пеню воды в нем, пробовал на вкус первый глоток... Как терпеливо ждал, ибо чай не спешит отдавать свой аромат. Мне нравилось, что, ожидая чая, он был занят чаем, а не задачами по геометрии.

— Ты из знающих, но не пренебрегаешь ничтожными делами дня...

Геометр не отвечал мне. И когда, наконец, нашел, что чай готов, и с удовлетворением наполнил наши пиалы, сказал:

— Из знающих... что это значит? Неужели гитарист не пьет чаю, потому что знает, как сочетаются ноты? Я знаю кое-что о сочетании линий в треугольнике. Почему мне не должно нравиться пение воды и священнодействие чаепития, воздающее честь моему другу королю?..

Он помолчал, подумал.

— Что я знаю?.. Мои треугольники мало что открыли мне в удовольствии пить чай. Зато наслаждение чаем немало открыло мне в моих треугольниках...

— Что ты такое говоришь, геометр?!

— Если я люблю, мне хочется описать свою любовь. Я говорю о волосах, ресницах, губах моей возлюбленной, о ее движениях, что кажутся музыкой моему сердцу. Но как говорить о движениях, губах, ресницах, волосах, если не видеть перед собой лица возлюбленной? Я объясняю, отчего так сладостна ее улыбка. Но сначала она улыбнулась...

Я не стану переворачивать груды камней, чтобы отыскать среди них секрет молитвенного созерцания. На ступеньке, где живут камни, молитва — пустой звук. Не стану размышлять и о добродетели, изучая каменную кладку.

Не стану искать в солях земли объяснения, что такое апельсиновое дерево. Ибо апельсиновое дерево — пустой звук для солей земли. Но глядя, как растет дерево, с его помощью я объясню, как поднимаются вверх из земли соли.

Сначала я должен полюбить. Охватить цельность. Потом я пойму и ту вещественность, из которой она состоит, пойму, каким образом она сложилась. Но откуда взяться вещественности, если нет во мне того, что ее превосходит и к чему я устремлен? Поначалу я разглядываю треугольник. Потом ищу в треугольнике необходимость, которая подчинила себе его линии. Ты тоже сначала полюбил некий образ человека с таким вот внутренним усердием. Исходя из своей любви, ты и создаешь свой уклад, заботясь, чтобы усердие было поймано ими, как добыча в ловушку, чтобы оно не оскудевало в царстве. Какому ваятелю интересны сами по себе нос, глаз или борода? Какой обряд ты сделаешь обязательным ради самого обряда? Что я выведу из линий, если они не составили треугольник?

Прежде всего я подчиняюсь созерцанию. И если могу, потом рассказываю о постигнутом. Я никогда не отказывался любить, отказ от любви — глупая претензия гордыни. Я восхищался и той, и этой, хотя они ничего не смыслили в треугольниках. Но они куда больше моего смыслили в улыбках. Ты видел улыбки?

— Конечно, видел, геометр . . .

— Одним движением лица, ресниц, губ, что до этого ничего не значили, она создала шедевр, который невозможно повторить. Глядя на ее улыбку, ты постигаешь покой вещей, вечность любви. И тут же она разрушает свой шедевр и другим неувимым движением погружает в иную стихию, тебе кажется, что полыхает пожар, хочется вынести ее из огня, ты уже ее спаситель, — так много в ней вдруг тревог и смутения. Оттого, что ее творения исчезают бесследно, оттого, что ими невозможно обогатить музеи, должен ли я пренебрегать ими? Я сумею объяснить, как построен этот храм, но она мне поможет построить другие . . .

— Что же она открыла тебе о соотношении линий?

— Важны не линии, важны связующие нити, их я и должен прежде всего научиться нащупывать. Я стар, я видел многое. Видел, как те, кого я любил, умирали, видел, как выздоравливали. Приходит вечер, и твоя любимая, склонив голову к плечу, отводит чашку с молоком, будто новорожденный, что отворачивается от груди, потому что уже расстался с миром и молоко ему кажется горьким. Она виновато улыбается, потому что делает тебе больно, не нуждаясь больше в твоей пище. Ты ей больше не нужен. И ты отходишь к окну, пряча слезы. А за окном — просторы полей. И, будто пуповину, ты чувствуешь свою связь с этой весомой вещественностью. Ячменные поля, пшеничные, цветущие апельсины — все они готовятся питать твое тело; трудится и солнце, что с начала веков вертело, будто мельница, воду. Ты слышишь скрип повозок на строительстве акведука, благодаря которому город утолит свою жажду, строят новый вместо старого, старый износило время. Ты услышишь скрип двуколки и цоканье ослика, нагруженного мешками. Ты ощутишь ток жизни, что питает собой все вокруг и длит во времени. И медленно вернешься к кровати. Оботрешь блестящее от пота лицо любимой. Она здесь еще, возле тебя, но как отвлечена смертью. Поля не поют ей песни строящегося акведука, двуколки, копытцев ослика. Запах цветущих апельсинов не нужен ей, и твоя любовь тоже.

И тогда тебе приходят на память друзья, что так любили друг друга.

Бывало, один приходил к другому ночью, соскучившись без его шутки, нуждаясь в совете и просто в нем самом. И если один уезжал куда-то, другой тосковал. Но их развело досадное недоразумение. И они стали делать вид, что не видят друг друга, когда случай сводил их вместе. Удивительнее всего было то, что они ни о чем не сожалели. Сожаление о любви уже любовь. То, что они получали друг от

друга, им не получить нигде в мире. Ибо каждый шутит, советует и просто дышит по-своему, не так, как кто-то другой. Теперь они стали калеками, уменьшились, но не замечают этого. Напротив, преисполнившись гордостью, они считают, что обогатились свободным временем. Вон они прогуливаются вдоль лавчонок каждый сам по себе. Они больше не теряют времени даром из-за друга. Они не хотят потратить себя на малейшее усилие, которое вернет их к житнице, что насыщала их пищей. Та часть, что питалась этой пищей, мертва, и как ей потребовать чего-то, если ее больше нет?

Но ты, ты проходишь, как садовник. Ты видишь, чего не хватает дереву. Не с точки зрения дерева — с его точки зрения, ему всего хватает: оно совершенно. Но с твоей, с точки зрения бога дерев, который срезает ветки там, где необходимо. И ты связываешь разорвавшуюся нить, приживляешь пуповину. Ты миришь. И вот они вновь пылают взаимным усердием.

И для меня настало утро примирения, прохладное утро, когда моя любимая попросила козьего молока и свежего хлеба. И вот я наклонился к ней и, одной рукой поддерживая голову, поднес другой к бескровным губам чашку с молоком. Я смотрел, как она пьет. Я — путь, кладь, повозка. Мне не казалось, что я кормлю ее или исцеляю, — нет, я словно бы пришивал на живую нитку ее к тому, чем она была: к полям, колосющимся хлебам, к родникам, к солнцу. Теперь и для нее солнечная мельница поворачивала журчащую воду. Теперь немного и для нее строился акведук. Для нее теперь заскрипела двуколка. А поскольку этим утром она стала ребенком, не желающим глубин мудрости, а лишь домашних новостей, игрушек, друзей, я сказал ей: «Послушай . . . » И она узнала копытца ослика. Она засмеялась, и ко мне повернулись лучи ее солнца, ибо ей захотелось любви.

Я — геометр, теперь я старик, но геометром я был и в школе, ибо есть на свете только те связи, о которых ты думал, которые постиг. Ты говоришь: «Вот и здесь точно так же, как . . . » И проблема решалась. Я разбудил в человеке жажду дружбы и вылечил его. Я вернул любимой жажду молока и любви. Я сказал: «И тут точно так же, как . . . » И вылечил ее. Я постарался сделать понятным, что и падающий камень и звезды — одно и то же, больше ничего не сделал. Я постарался сделать понятным соотношение линий и сказал: «В треугольнике это так, и тут то же самое . . . » От решения одних проблем к решению других я иду не спеша, к Господу, который решает все вопросы.

Я шел не спеша, возвращаясь от моего друга, я больше не сердился, не гневался, — гора, на которую я поднялся, позволила мне увидеть подлинный мир, подлинный покой, не требующий соглашательства, отказов, ущемлений, дележки. Я вижу: то, что считается неразрешимым противоречием, лишь необходимые условия для перехода на другую ступеньку. В принуждении для меня залог свободы, в обуздывании любви — залог любви, в моем возлюбленном враге — залог существования подлинного меня, ибо форму кораблю придает только море.

От замиренного врага к замиренному врагу — и от нового врага к следующему, иду я вверх, в гору, к Господу, к Его тишине, и знаю: не забота корабля быть ласковым к кораблю, иначе не будет моря, а корабль станет плотиком для прачек; знаю, что важно только одно: не сгибаться и не мириться ради подделки под любовь, проживая эту беспощадную войну, которая и есть залог мира, оставлять по пути мертвых, которые и есть залог жизни живых, принимать лишения, которые и есть залог праздника, терпеть боль лопающегося кокона, которая и есть залог появления крыльев. Ибо случилось так, Господи, что Ты поместил свой узел много выше моего роста и по Твоей воле я не знаю

ни мира, ни любви вне Тебя, ибо только в Тебе примиримся мы с возлюбленным моим врагом, что царствовал на севере от меня, примиримся, потому что достигнем завершения; ибо только в Тебе примирюсь я с тем, кого я казнил, внутренне почитая, примирюсь, потому что мы достигнем завершения, ибо только в Тебе, Господи, сливаются воедино и не противоречат друг другу любовь и условия, что живут любовь.

CCVII

Да, конечно: иерархия, что связывает тебя и мешает сбыться, несправедлива. Но если ты будешь бороться против этой несправедливости, разрушая одну структуру за другой, растечется большая лужа там, где когда-то сиял ледник.

Ты желаешь их видеть похожими друг на друга и путаешь равенство с одинаковостью. А я вижу их равенство в равной преданности царству, а не в их похожести.

Возьми игру в шахматы: в ней есть победитель и побежденный. Случается, что победитель нацепляет насмешливую улыбку, чтобы унижить побежденного. Что делать? Таковы люди. Но приходишь ты со своей справедливостью и запрещаешь побеждать в шахматной игре. Ты говоришь: «Какова заслуга победителя? Он сообразительнее или искуснее в умении игры. Его победа — только знак того, что он таков. Стоит ли кого-то прославлять за то, что он более краснощек, более гибок, более волосат, менее лохмат? . . .»

Но я видел побежденных, которые день за днем, год за годом упражнялись в игре в шахматы, надеясь на торжество победы. Ибо ты становился богаче от того, что существует победа, пусть даже ты никогда не окажешься победителем. Она — как лежащая в море жемчужина.

Не ошибись насчет зависти: и она — силовая линия. Этот камешек я сделал высшей наградой. Награжденный уходит, красуясь, неся на груди подаренный мной камешек. Ты завидуешь награде. Ты приходишь со своей справедливостью, которая есть не что иное, как стремление уравнивать. И решаешь: «Пусть все носят камешки на груди». Кто, спрашивается теперь, захочет так себя разукрасить? Ты живешь не ради камешка, а ради того, что он обозначает награду.

«Ну и пусть, — скажешь ты. — Зато я уменьшил человеческое страдание. Я излечил их от зависти к камешку, получить который многие и мечтать не могли». Ты судишь, считая главной зависть, она болезненна. И, стало быть, предмет зависти — зло. Ты уничтожаешь все, что может стать предметом завистливого ожидания. Ребенок тянется к звезде с криком требует дать ее. Твоя справедливость вменит тебе в долг погасить звезду.

То же и с драгоценными камнями. Ты помещаешь их в музей. Ты говоришь: «Они принадлежат всем». И, разумеется, твой народ пройдет вдоль витрин в дождливый день. И позевает над коллекцией изумрудов, которая отныне — не часть священнодействия, преисполнявшего каждый изумруд особым смыслом. Чем, собственно, теперь твои изумруды отличаются от бутылочного стекла?

Все камни, вплоть до бриллианта, ты избавил от присущих им особенностей. Они могли бы служить тебе, но ты обрезал у них ореол сияния, потому что он возбуждал желание и зависть. То же произойдет и с женщинами, если ты постарайся их обезопасить. Как бы ни были они красивы, они превратятся в восковых кукол. Я ни разу не видел, чтобы умирали ради картинки в журнале, ради барельефа на саркофаге, который дожил до нас, как бы прекрасен он ни был. От

него исходит прелесть прошлого или его печаль, но он не уязвляет жестокостью желаний.

Изменится и твой бриллиант, если им невозможно завладеть. Именно этой возможностью он и сиял так ярко. Своим блеском он тебя славил, воздавал тебе почести, возвышал. Но ты превратил его в оформление витрины. И теперь он славит витрину. Никому не хочется быть витриной, не хочется завладеть и бриллиантом.

И если теперь ты сожжешь один из них в день торжества, чтобы великолепной жертвой облагородить праздник, сделать его сияние ярче для души и сердца, ты не сожжешь ровным счетом ничего. Не ты принесешь в жертву бриллиант. Его подарит витрина. Что толку от витрин? Ты не можешь вести с бриллиантом никакой игры, потому что его нельзя ни на что употребить. Вот ты обрек алмаз на смерть в ночи под сводами храма, ты посвятил его богам, но ты ничего не дал им. Твой храм — тот же склад, чуть более стыдливый, чем витрина, которая тоже обретает стыдливость, как только солнце пригласит твоих горожан пройти по городу. Твой алмаз потерял ценность дара, потому что перестал быть тем, чем возможно одарить. Он — вещь, предмет с инвентарным номером его можно убрать на склад. На тот или на другой. Его размагнитили. Он лишился своих божественных силовых линий. Что ты выиграл?

А я? Я запретил одеваться в красное всем, кроме потомков пророка. Чем особенным я ущемил других? Никто не одевался в красное. Оно не имело ни малейшей цены. Но теперь все стали мечтать о нем. Я создал могущество красного цвета, и ты стал богаче оттого, что оно появилось, пусть даже не для тебя. Твоя зависть — проявление новой силовой линии.

Но тебе царство кажется совершенным, если утомленный путник умрет посреди города от голода и от жажды, потому что не сможет понять, куда ему лучше пойти: направо или налево, вперед или назад. Ничто не отдаст ему приказа, и он ничему не захочет подчиниться. Ему не захочется алмаза, который недоступен, не захочется камешка на груди, красного одеяния. Ты увидишь, как он зевает в лавочке с материями, дожидаясь, пока я придам им цену, проторив пути для его желаний. Оттого, что я запретил красный цвет, он косится на фиолетовый... или, поскольку он строптив, свободолюбив, пренебрегает почестями, презирает предрассудки, поскольку он плюет на смысл моих цветов, как на полный произвол, он заставляет перевернуть все полки в магазине, заглянуть на склад, чтобы найти для себя цвет, который будет полной противоположностью красному, и находит ядовито-зеленый, но и им недоволен, потому что не так уж он зелен. И вот ты видишь, как горделиво он шествует по городу в своем ядовито-зеленом плаще, попирая твою иерархию цветов.

И все-таки я занял его на целый день. А иначе он в красном платье зевал бы в музее, потому что на улице дождь.

— Я, — говорил отец, — созидаю праздник. Не собственно праздник, а такую связующую нить, такую силовую линию, я уже слышу смех моих строптивцев, они готовят свой праздник вопреки моему. Но это все та же связующая нитка. И они укрепляют ее и длят. Им на радость я продержу их несколько дней в тюрьме, потому что они всерьез относятся к своему священнодействию. И я к своему тоже.

CCVIII

И опять начинался день. Я стоял посреди него, словно моряк, сложив руки на груди, вдыхая запах моря. Море, которое бороздит мне, это море, а не другое. Я стоял, будто скульптор перед глиной.

Этой глиной, а не другой. Так стоял я на своей горе и так молился Господу:

— Господи, над моим царством занимается день. Утро это свободно и готово для игры, словно эолова арфа. Господи! Таким, а не иным рождается на рассвете удел городов, пальмовых рощ, возделанных полей и апельсиновых деревьев. Вот справа от меня морской залив с кораблями. Вот слева от меня голубеет гора, чьи склоны благословлены тонкорунными овцами, гора, что нижними своими камнями вцепилась в пустыню. А вдали пурпуровые пески, где цветет одно только солнце.

Такое лицо у моего царства, а не другое. В моей власти повернуть немного русло рек, чтобы оросить пески, но не сейчас. В моей власти заложить здесь новый город, но не сейчас. В моей власти одним дуновением ветра на семена высвободить лес торжествующих кедров, но не сейчас. Сейчас я взволнован отошедшим прошлым, оно такое, а не иное. И эта арфа готова заиграть.

На что мне жаловаться, Господи, оглядывая с патриаршей мудростью мое царство, где все разложено по местам, будто румяные фрукты в корзинке? Из-за чего гневаться, горевать, ненавидеть, жаждать мести? Вот утök для моего полотна. Вот поле для моей пахоты. Вот арфа для моей песни.

Когда идет хозяин своего царства на заре по своей земле, ты видишь: он отшвырнул с дороги камень, обломил колючку. Его не возмущают ни колючка, ни камень. Он украшает свою землю и чувствует только любовь.

Когда женщина распахивает поутру дверь своего дома и выметает мусор, она не возмущается пылью. Она украшает свой дом и чувствует только любовь.

Жаловаться ли мне, что гора стоит у этой границы, а не у другой? Здесь, будто играя в лапту, отражает она наскоки кочевников из пустыни. И это хорошо. А там — дальше, где царство мое не защищено, я воздвигну свои крепости.

Из-за чего жаловаться мне на людей? С этой зарей я получил их такими, каковы они есть. Да, есть среди них задумавшие преступление, вынашивающие измену, оттачивающие ложь, но есть и другие, тратящие себя на труды, сострадание, справедливость. И конечно же, я, украшая мою землю, отброшу и камень, и колючку, но без ненависти и к тому и к другой, чувствуя только одно — любовь.

Я обрел мир, Господи, молясь Тебе. Я побывал у Тебя и вернулся. Я чувствую себя садовником, что медленными шагами идет к своим деревьям.

Да, все бывало в моей жизни: я и гневался, и горевал, и ненавидел, и жаждал мести. В сумерках проигранных битв или бунтов, всякий раз, когда я чувствовал свое бессилие и был словно заперт в самом себе из-за невозможности действовать по своей воле, глядя на мое беспорядочное войско, которое больше не слышало моего слова, на мятежных генералов, что находили себе новых властителей, на безумных пророков, что слепой рукой тащили за собой гроздь уверовавших, — я испытывал искушение гневом.

А ты? Ты хочешь исправить прошлое? С опозданием изобретаешь счастливое решение? Мечтаешь отыскать дорогу, которая спасла бы тебя, но время ушло, и ты просто-напросто портишь то, что зовут мечтой. Конечно, он был, этот генерал, который, согласно своим расчетам, посоветовал тебе атаковать с запада. Ты перекраиваешь историю. Убираешь советчика. Атакуешь с севера. Так, тяжело дыша, ищут тропу среди горных скал. «Ах, — вздыхаешь ты в обнимку со своей мечтой-калекой, — если бы этот не сделал, тот не сказал, третий не

спал, четвертый не верил или отказался верить, если бы этот был, а этого не было, то я бы победил!»

Но все они вместе смеются над тобой, потому что стереть их уже невозможно, как невозможно упреком смыть пятно крови. И тогда тебе хочется отдать их на растерзание палачу, чтобы все-таки избавиться от них. Но хоть размели их в муку на всех мельницах царства, ты не уничтожишь их, они все равно есть.

Ты слаб и вдобавок низок, если бегаешь по своей жизни в поисках виноватых и, надругавшись над тем, что зовут мечтой, выдумываешь по-иному сбывшееся прошлое. От чистки к чистке ты отдашь весь свой народ могильщику.

Вполне возможно, что этот способствовал поражению, но почему его не осилили те, что способствовали победе? Потому что их не поддерживал народ? А почему народ предпочел дурных пастухов? Потому что они лгали? Но лгут везде и всегда, потому что всегда выговаривается и ложь, и правда. Потому что они платили? Но платят всегда, и всегда есть подкупленные.

Если в соседнем царстве все благополучны, то что им мои подкупы? Болезнь, которую я им предлагаю, не для них. Но те, что живут в другом царстве, изношены сердцем, и болезнь, которую я им предлагаю, войдет к ним через того или через этого — того, кто соблазнится первым. Передаваясь от одного к другому, она заразит все царство, потому что моя болезнь была как раз по ним. Заболевшие первыми — в ответе ли они за порчу царства? Я не хочу сказать, что и в самом здоровом царстве нет покрытых язвами. Они есть, но они — что-то вроде напоминания о грядущем часе упадка. Только в этот час распространится болезнь, и не с их помощью. Она найдет себе других. Если болезнь, лоза за лозой, отравляет виноградник, я не виною первую лозу. Даже сожги я ее, нашлась бы другая, которая открыла бы двери порче.

Если гниет царство, все помогает ему гнить. Пусть большинство просто-напросто попустительствует, — что же, считать их непричастными? Я сочту убийцей и равнодушного, который, видя, как ребенок тонет в луже, не пытается его спасти.

Но я буду питать собой бесплодие, если, попирая то, что зовут мечтой, примусь за лепку сбывшегося прошлого, казнь взяточников как пособников коррупции, подлецов как пособников низости, предателей как пособников предательства, и, переходя от следствия к следствию, уничтожу и самых лучших, потому что и они оказались бездейственными, и я поставлю им в вину их лень, попустительство или глупость. В конце концов я захочу уничтожить в человеке все, что может быть подвержено болезни, почву, на которой может расцвести ее посев. Но заболеть может всё. И каждый — почва, плодородная для любого посева. Значит, мне придется уничтожить всех. Вот тогда мир станет совершенен, ибо будет очищен от зла. Ведь я и говорил, что совершенство — добродетель мертвых. Совершенствование, будто удобрением, пользуется бездарными скульпторами, дурным вкусом. Я вовсе не служу истине, уничтожая заблуждающихся, ибо истина выявляется от ошибки к ошибке. Я не помогаю творчеству, уничтожая бездарность, ибо творение создается провалами и неудачами. Я не утверждаю свою истину, уничтожая приверженца другой, ибо истина являет себя, как являет себя дерево. У меня под руками только земля для пахоты, она не растит еще моего дерева. Я пришел и живу сейчас. Прошлое моего царства я получил в наследство. Я садовник, что идет к своей земле. Я не стану упрекать ее за то, что она растит колючки и кактусы. Если я семя кедра, что мне до колючек?

Я избегаю ненависти не от снисходительности, но потому, Господи, что принадлежу тебе, в Котором все, что есть, есть сейчас и все, что

есть, сущностно, — сущностно для меня в каждый миг существования и мое царство. И каждый миг для меня есть начало.

Я вспоминаю мудрые слова моего отца: «Смешно зерно, что жалуются на дурную землю, которая вырастила его салатом, а не кедром. Оно было зерном салата».

И еще он говорил: «Косой улыбнулся девушке. Но она смотрит на тех, кто не косит. И теперь он всем рассказывает, что некосые перепортили всех девушек».

Сколько тщеславия в праведниках, если они мнят, будто ничем не обязаны неправедности, заблуждениям, стыду, которые преображают. Смешон плод, презирающий дерево.

ССІХ

Смешон и тот, кто надеется отыскать свое счастье, собрав множество вещей, и не может его найти среди них, потому что оно там и не ночевало, а он все умножает свои богатства, складывает их в пирамиды, копается в своих подвалах, он похож на дикаря, что вцепился в кожу для барабана, веря, что ею поймает звук.

Смешон и тот, кто, увидев, что сопряжение слов в моем стихотворении покорило тебя мне, что и красота статуи покорила тебя скульптуру, что мелодия, составленная из нот, покоряет тебя тоске гитариста, поверил, будто надо всем властвуют слова, мрамор и ноты, и вот он принимается вертеть их и так и сяк, но не может поймать эту власть, ибо не в них она таится, а он гроыхает все громче, лишь бы быть услышанным, и в тебе, безусловно, пробуждается чувство; но оно пришло бы к тебе, грохни возле тебя разом десять тарелок, чувство сомнительного качества, сомнительного достоинства, — чувство, которое стало бы куда более активным и подвигло бы тебя на какое-то действие, если б извлек его из себя мой жандарм, крепко наступив тебе на ногу.

Если я хочу повести тебя за собой, сказав: «октябрьское солнце» или «прикосновение снежной сабли», — я должен сперва смастерить ловушку, и она ничуть не похожа на добычу, которую я собираюсь поймать. Но вот я решил соблазнить тебя самым материалом ловушки: разумеется, я не возьму расхожего, рыночного товара, вроде поэтических слов «грусть», «сумерки», «любимая», — от него тебя сразу стошнит, вряд ли воспользуюсь я и словом «мертвец»: конечно, оно непременно сделает свое дело и ты станешь менее радостным, но до глубины души оно тебя не проймет, так что волей-неволей, для того чтобы увести тебя от твоей обыденности, мне придется описать какие-нибудь необычайные пытки. Чтобы слова все же выжали из тебя эмоцию: власть слов невелика; если одним из них удается нажать кнопку воспоминаний, то у тебя разве что наполнится рот слюной, — так вот, выжимая из тебя словами эмоции, я принимаюсь лихорадочно множить пытки, подробности пыток, запах пыток, чтобы, в конце концов, достичь куда меньшего эффекта, чем мог бы достичь грубый сапог моего жандарма.

Стараясь захватить тебя врасплох легковесной силой неожиданности, я могу войти, пятясь, в зал приемов, где ты дожидаешься меня, могу воспользоваться разительным несоответствием, чтобы ошеломить тебя, но я поступаю как грабитель: успех извлеку из разрушения, ибо, придя к тебе вот так же во второй раз, я тебя уже не удивлю, больше того, не удивит тебя и любая другая несуразность, приучив к вседозволенности в мире абсурда. Вот я и украл у тебя удивление. И вскоре ты безрадостно съежишься в тусклом, изношенном мире, где нет больше языка игры и нюансов. Единственной поэзией в безъязыком мире, еще способной извлечь из тебя стон жалобы, будет огромный, подбитый гвоздями сапог моего жандарма.

Нет на свете строптивцев. Нет одиночек. Нет человека, который бы всерьез отстранился ото всех. Претендующие на одиночество наивнее ремесленников, фабрикующих под видом поэзии компот из любовных вздохов, лунного света и ветерка.

«Я — тень, — говорит тебе твоя тень, — я обхожусь без света». Но она живет благодаря ему.

ССХ

Я принимаю тебя таким, каков ты есть. Возможно, у тебя клептомания, и ты суешь в карман золотые безделушки, что попадают тебе на глаза, но ты еще и поэт. Я приму тебя из любви к поэзии. А любя свои золотые безделушки, спрячу их.

Возможно, доверенные тебе тайны кажутся тебе украшением не менее прекрасным, чем для женщины бриллиантовое ожерелье. Она идет в нем на праздник. Редкостные камни оведают ее ореолом таинственной значимости. Но ты еще и танцовщик. Я приму тебя из почтения к танцам, но из почтения к тайнам о них перед тобой умолчу.

Возможно, ты просто мой друг. Я приму тебя просто из любви к тебе, такого, каков ты есть. Если ты хром, не попрошу станцевать. Если не любишь того или другого, не позову их вместе с тобой в гости. Если голоден, накормлю.

Я не стану делить тебя на части, чтобы лучше узнать. Ты не этот поступок, и не другой, и не сумма этих поступков. Я не стану судить о тебе ни по этим словам, ни по этим поступкам. О словах и поступках я буду судить по тебе.

Но и ты должен так же принять меня. Мне нечего делать с другом, который не знает меня и требует объяснений. Не в моей власти передать тебе себя с помощью хилого ветра слов. Я — гора. Гору можно созерцать, всматриваясь. Тачка вряд ли тебе в помощь.

Как же я объясню тебе то, что не было услышано твоей любовью? Как мне заговорить? Слова бывают недостойными, неблагоприятными. Я рассказывал тебе о моих войнах в пустыне. Молча смотрел я на них вечером, накануне сражения. На них покоилось царство. Ради царства они завтра умрут. Смерть для них станет преображением. Я знал подлинность их рвения и преданности. Чем мне был в помощь хилый ветер слов? Все их жалобы на колючки, на скудный ужин, ненависть к капралу, горечь от собственной жертвенности?.. Так ли они должны были говорить! Но я опасаюсь патетически глаголющих воинов. Если он готов умереть за своего капрала, то, скорее всего, умереть ему будет некогда, раз так он занят творением своего чувствительного повествования. Я не доверяю гусенице, влюбленной в крылья. Она не найдет времени запеленаться в кокон. Я глух к ветру слов и в моем солдате вижу то, что он есть, а не то, что он говорит. В сражении он прикроет капрала собственной грудью. Мой друг — это точка зрения, с какой он смотрит. Я должен услышать, откуда он говорит, ибо он — особое царство и неистощимый запас. Он может молчать и переполнять меня своим молчанием. Я могу смотреть его глазами, и мир для меня откроется иным. Но от моего друга я требую, чтобы он понимал, откуда говорю я. Только тогда он меня услышит. А слова все дразнятся и дразнятся, показывая друг другу язык...

ССХI

Мне довелось встретиться с тем пророком, у него жесткий взгляд, дни и ночи он лелеет свой священный гнев, и вдобавок еще косит.

— Нужно, — сказал он мне, — спасти праведников.

— Да, — сказал я, — ибо оснований для преследования их нет.

— Нужно отделить их от грешников.

— Да, — сказал я. — Самый совершенный должен быть возведен в образец. Лучшую статую лучшего из скульпторов ты ставишь на пьедестал. Ребенку читаешь лучшие стихи. В королевы выбираешь красивейшую из красивых. Ибо совершенство — стрелка, указывающая направление, направить необходимо, пусть не в твоих силах его достигнуть.

Но мой пророк воспламенился:

— Когда будет создано племя праведных, спасти нужно будет только его и раз и навсегда покончить с порчей.

— Пожалуй, ты перехватил, — остановил я пророка. — Каким образом ты хочешь отделить цветение от дерева? Облагородить жатву, уничтожив навоз? Спасти великих скульпторов, отрубив головы плохим? Я, например, знаю только более или менее несовершенных людей, устремление к цветению и неторопливый рост дерева. И говорю тебе: в основании совершенства царства — бесстыдство.

— Ты возвеличиваешь бесстыдство!

И твою глупость тоже, ибо хорошо, если добродетель предстает нам как желанное и достижимое улучшение. Мы должны создать образ праведника, пусть в жизни такого быть не может, во-первых, потому что человек немощен, а во-вторых, потому что полнота совершенства, где бы она ни осуществилась, влечет за собой смерть. Но хорошо, если предуказанный путь предстает в виде цели. То есть ты отправляешься в путь за недостижимым. В пустыне мне приходилось тяжело. И поначалу казалось, что сладить с ней невозможно. И тогда дальний бархан я преображал в долгожданную гавань. Я добирался до нее, и она теряла свое могущество. Тогда я перемещал счастливую гавань к горбатым холмам, что виднелись на горизонте. Доходил до них, и они терли свою магическую власть. А я выбирал следующую цель. И так от цели к цели преодолел пески.

Бесстыдство свойственно либо простодушной невинности, например газелям, — просвети их — и получишь стыдливых скромниц, — либо тем, кто нарочито попирает стыд. Но и в бесстыдстве основа — стыд. Бесстыдство живет им и его утверждает. Когда идет пьяная солдатня, ты видишь: матери прячут дочерей и запрещают им выглядывать на улицу. Но если в твоём недостижимом царстве солдаты будут стыдливо опускать глаза, и их как будто не будет вовсе, и если девушки у тебя будут купаться в чем мать родила, ты не увидишь в этом ничего неподобающего. Но стыдливость моего царства вовсе не в отсутствии бесстыдства (целомудреннее всех покойники). Стыдливость в моем царстве — это внутреннее усердие, сдержанность, почитание себя и мужество. Целомудрие — сбережение собранного меда в предвкушении любви. И если по моим улицам шляется пьяная солдатня, она укрепляет стыдливость в моем царстве.

— Стало быть, ты поощряешь свою пьяную солдатню выкрикивать мерзкие непристойности?!

— Случается, что я наказываю своих солдат, желая внушить им необходимость целомудрия. Но чем жестче мое принуждение, тем притягательнее для них распутство. Преодоление отвесной скалы слаще подъема на пологий холм. Победить сильного соперника приятнее, чем рохлю, который и не думает защищаться. Там, где существует понятие «снасильничать», тебя так и тянет дерзко взглянуть женщине в лицо. Я сужу о напряженности силовых линий в царстве по суровости наказания, которое призвано умеривать аппетиты. Если я перегораживаю горный поток, мне придется воздвигнуть стену. Стена эта — свидетельство моего могущества. Но для пересыхающей лужицы мне хватит и картонной перегородки. На что мне кастрированные солдаты?

Я хочу, чтобы они всей силой напирала на мою стену, чтобы были мощны и в грехе и в добродетели, которая есть не что иное, как блаженнейший грех.

— Так, что же, тебе по нраву их пороки? — возмутился пророк.

— Нет. Ты опять ничего не понял, — ответил я ему.

ССХІІ

Мои тупые, очень тупые жандармы решили меня обмануть.

— Мы нашли причину порчи в царстве. Виной всему одна секта, нужно истребить ее.

— А как вы узнали, что эти люди принадлежат к одной секте?

И жандармы рассказали мне: оказывается, эти люди поступают одинаково, они схожи между собой по таким-то и таким-то признакам, и они указали мне место их сборищ.

— А как вы догадались, что именно они причина порчи нашего царства?

И жандармы рассказали мне о совершенных ими преступлениях, о взяточничестве, о насилиях, подлой трусости и уродстве.

— Я знаю другую, еще более опасную секту, которую никому пока еще не удалось разоблачить.

— Какую секту?! — вскинулись мои жандармы.

Ибо жандармы родились на свет, чтобы действовать кулаками, они сохнут, если у них недостаток деятельности.

— Секта меченых, у них на левом виске родимое пятно, — ответил я.

Жандармы мои не поняли и заворчали. Жандарму, чтобы бить, понимать ведь обязательно. Он ведь бьет кулаком, а кулакам не положено мозгов.

Но один из них — в прошлом плотник — кашлянул разок-другой.

— Ничем эти меченые между собой не схожи, и нигде они не собираются.

— Да, не собираются, — согласился я. — Но это-то и опасно. Они незаметны. Однако стоит мне издать указ, который обнаружит их для общества, и общество осудит их, ты увидишь, они будут держаться вместе, селиться рядом, возмущаться против справедливого народного гнева, и всем станет ясно, что они принадлежат к одной секте.

— Так оно и есть, — согласились мои жандармы.

Но бывший плотник снова кашлянул:

— Я знаю одного такого. Он человек мягкий. Широкой души. Честный. Он получил три ранения, защищая царство.

— Очень может быть, — согласился я. — Если женщинам свойственна ветреность, неужели не найдется среди них ни одной рассудительной? Оттого что генералы громогласны, разве нет среди них ни одного застенчивого? Мало ли какие бывают исключения? Заметив пятно на виске, покопайся в прошлом этого человека. Ты увидишь: он, как все, а они, а значит, как все меченые виновны во всевозможных преступлениях: похищениях, насилиях, взяточничестве, предательстве, обжорстве, бесстыдстве. Ты же не станешь утверждать, что все остальные меченые не знают этих пороков?

— Знают! Знают! — закричали жандармы, и у них зачесались кулаки.

— Когда на дереве гниют апельсины, кого ты обвинишь — дерево или апельсины?

— Дерево! — закричали жандармы.

— А несколько здоровых плодов оправдывают дерево?

— Нет! — закричали жандармы, которые, слава Богу, любили свое дело, а их делом было никого не прощать.

— Значит, мы будем только справедливы, если очистим наше царство от этих злодеев с родимым пятном на левом виске.

Но бывший плотник опять кашлянул:

— Какие у тебя возражения? — спросил я, тогда как его сотоварищи с поистине профессиональным чутьем многозначительно поглядывали на его левый висок.

Один из них, ткнув в подозрительного пальцем, даже спросил:

— А тот, знакомый... может, твой брат... или отец... или еще кто из семейства?

И все жандармы недовольно заворчали.

И тут я взъярился:

— А еще опаснее секта проходимцев с родимым пятном на правом виске! Потому что о них мы не подумали. Значит, они скрываются еще лучше. Я уж не говорю, как опасны лишённые родимых пятен! Как они ловко избегают опознавательных знаков, потому что наверняка составили заговор. От секты к секте, я уничтожу всю секту людей, потому что именно они — источник всех преступлений: похищений, насилий, взяточничества, обжорства и бесстыдства. А поскольку жандармы не только жандармы, но еще порой и люди, то с них-то я и начну необходимую нам чистку. Я приказываю жандарму сгноить таящегося в нем человека в потайном застенке моей крепости.

И мои жандармы засопели, задумавшись, но сопели они без видимых результатов, потому что размышляют они при помощи кулаков.

Жандармы ушли, я удержал плотника. Опустив глаза, он разгрызал полнейшую невинность.

— Я разжаловал тебя из жандармов! — сказал я ему. — Истина для плотника сложна и противоречива, поскольку он имеет дело с деревом, которое ему противится; такая истина не для жандарма. Если приказ гласит, что черны те, у кого имеется родимое пятно, у моих жандармов при одном только упоминании о нем должны чесаться кулаки. Такие жандармы мне нравятся. Мне нравится, что старшина судит о твоей добродетельности по умению держать строй. Если позволить старшине прощать тебе неповоротливость из-за того, что ты поэт, прощать твоего соседа, потому что он верующий, соседа соседа, потому что он невинный барашек, — восторжествует справедливость. Но вот наступила война, и мои необученные солдаты бросились в бой беспорядочной кучей, и их уничтожили. То-то они благодарны старшине за уважение к ним! Так вот, я отправляю тебя к твоим доскам, боясь, что твоя любовь к справедливости там, где ей нечего делать, прольет однажды невинную кровь.

ССХIII

Ко мне пришел человек и спросил меня, что такое справедливость.

— Знаешь, — сказал я ему, — я кое-что знаю о справедливых поступках, но о справедливости я не знаю ничего. Справедливо, чтобы кормили тебя в соответствии с твоей работой. Справедливо, чтобы лечили, если ты болен. Справедливо, чтобы ты был свободен, если помыслы твои чисты. Но на этом очевидность кончается... Справедливо то, что соответствует укладу.

Я требую, чтобы врач шел и через пустыню, если надо перевязать раненого, пусть рана будет всего лишь царапиной на локте или коленке. А раненый — нечестивцем. Так я возвожу в закон уважение к человеку. Но если мое царство воюет с царством нечестивцев, я требую, чтобы мои воины пересекли пустыню и выпустили кишки исцеленному нечестивцу. Так я возвожу в закон уважение к царству.

— Государь... я не понимаю тебя.

— Мне нравится, если кузнецы, замороженные поэзией гвоздей,

украдут молотки плотников, чтобы приспособить их дляковки. Мне нравится, если плотники станут сманивать кузнецов, желая, чтобы те служили доскам. Мне нравится, если зодчий, распоряжающийся и теми и другими, окоротит плотников, защищая гвозди, и кузнецов, защищая доски. Все это напряженные силовые линии, они создадут корабль. Но чего мне ждать от равнодушных плотников, которые славят гвозди, равнодушных кузнецов, которые хвалят доски?

— Стало быть, ты чтишь ненависть?

— Я перевариваю ее, очищаю и чту любовь. Однако бывает и так: для того, чтобы люди сталкивались между собой, им нужно отвлечься и от гвоздей, и от досок и повстречаться на корабле.

И я отошел в сторону и обратил к Господу такую молитву:

— Противоречащие друг другу истины — истину врача и истину солдата — я принимаю как преходящие, Господи, и, думаю, не на моей ступеньке отыщется для них ключ, который станет ключом свода. Я не сливаю вместе, превращая в теплое пойло, ледяной напиток и кипящий. Я не хочу, чтобы кое-как наносили удары и лечили кое-как. Я наказываю врача, который ленится лечить, наказываю солдата, который ленится наносить удары. Что мне за дело, если дразнятся, показывая язык друг другу, слова? Ибо возможно, что только вот эта ловушка, части которой так не подходят друг другу, поймает желанную мне добычу — человека с такими достоинствами, а не другими.

Я ищу наощупь Твои силовые линии, Господи! С моей ступеньки они не очевидны. Я смогу сказать, что правильно выбрал свои обряды и уклад, если случится вдруг так, что благодаря им я почувствую себя свободным и вздохну полной грудью. Я работаю подобно скульптору, он обрадовался, нажав левым пальцем на глину посильнее. Почему — он объяснить не может. Однако именно так он наделил глину властью.

Я тянусь к Тебе, Господи, словно дерево, повинуюсь силовым линиям, заложенным в семечке. Слепой, Господи, ничего не знает об огне. Но в огне есть силовые линии, и к ним чувствительны ладони. И вот он ищет огонь, спотыкаясь о камни и обдираясь о колючки, ибо любое преобразование болезненно. Господи, по Твоему милосердию, я карабкаюсь к Тебе по склону, чтобы сбыться.

Ты не снизойдешь до своего творения, Господи, я познаю наощупь и тепло огня, и стремление к небу семечка. Ведь и гусеница ничего не знает о крыльях. Я не верю, что познание мне даст явившийся с неба ангел, как бывает это на представлении в кукольном театре. Что он может мне сказать? Бессмысленно говорить о крыльях — гусенице, о корабле — кузнецу. Достаточно, если зодчий воодушевлен творческим замыслом и создал силовые линии корабля. Зародыш — силовые линии крыльев. Семечко — силовые линии дерева. А ты, Господи, просто-напросто есть.

Одиночество мое, Господи, по временам будто лед. И я прошу тебя о знамении в ледяной пустыне моего одиночества. Но ты послал мне сон, и я понял: любое знамение тщетно, ибо если ты на одной со мной ступеньке, то как Тебе заставить меня расти дальше? А с собой, Господи, таким, каков я есть, мне делать нечего.

Поэтому я иду, обращая к Тебе безответные молитвы, и поводом для меня, слепцу, только слабое тепло на старых моих ладонях. Я пою Тебе хвалу за безответность, Господи, ибо, если найду то, что ищу, значит, я сбьлся.

Если Ты снизойдешь вдруг к человеку легким, ангельским шагом, значит, он уже сбьлся. И не будет больше ни строгать, ни ковать, ни воевать, ни лечить. И не выметет свою комнату, не поцелует любимую. Если он увидит Тебя, Господи, то станет ли от Тебя удалиться и славить Тебя с помощью людей? Когда храм выстроен, я люблюсь храмом и не вижу камней.

Господи, я стал стариком, во мне слабость дерева, чувствующего близость зимы. Я устал от моих врагов, моих друзей. Меня тяготит мысль, что я принужден и убивать и исцелять разом, ибо ты, Господи, вменил мне в долг превозмочь все противоречия, что сделали столь жестокой мою судьбу. Принудил меня подниматься от одной бездны вопросов к другой ради того, чтобы прикинуться к Твоему молчанию, Господи!

Господи, прошу Тебя, пусть я догоню возлюбленного моего врага, что покоится на севере от моего царства, и геометра, моего единственного друга, — я, который — увы! — уже перешел перевал и оставил за перевалом свое поколение, словно на противоположном склоне горы. Пусть мы станем едины, Господи, во славу Твою, заснув в раскрытой ладони песков, где я так неустанно трудился.

ССХIV

Удивительно мне твое пренебрежение к земле. Ты ценишь лишь произведения искусства:

— Как неотесан твой друг, как ты можешь дружить с ним? Как выносишь его недостатки? Терпишь запах? Я знаю только одного человека, который был бы достоин тебя...

И дереву ты сказал бы: «Для чего ты опускаешь корни в навоз? Чтить можно только цветок и плод».

Но я живу только тем, что преображаю. Я — путь, кладь, повозка. А ты бесплоден и подобен смерти.

ССХV

Неподвижно стоите вы, ибо, уподобившись кораблю, что, причалив к пристани, расцвелит причал привезенными грузами — золотой парчой, алым перцем, слоновой костью, — к нам причалило само солнце и заливаает медом света пески, начиная день. Вы застыли в неподвижности, дивясь краскам зари, что играет над холмом, прячущим колодец. Неподвижны верблюды, неподвижны их тени-великаны. Ни один верблюд не шевельнется, они знают: скоро дадут пить. Но пока все застыло в ожидании. Воды еще не дают. Еще не принесли огромные кувшины. И, уперев в бока руки, ты вглядываешься вдаль и спрашиваешь: «Чего они там замешкались?»

Те, что спускались в нутро колодца и освобождали его от песка, отложили лопаты в сторону и скрестили на груди руки. Они улыбнулись, и ты понял: вода есть. Что такое человек в пустыне, как не слепой щенок, что, тычась, ищет материнский сосок? Успокоился и ты и улыбнулся. И погонщики улыбнулись, глядя на твою улыбку. Все вокруг улыбнулось — залитые солнцем пески, твое лицо, лица твоих помощников и, похоже, твои верблюды, там, внутри, под ворсистой корой, ибо ведомо и им: они скоро напьются, а пока, предвкушая наслаждение, они застыли в неподвижности. Пора рассвета сродни редкостному мигу в открытом море: прорвалась завеса туч — и хлынуло солнце. Ты почувствовал вдруг, как близок Господь, и не ведаешь сам — почему, видно, от щедро расточаемой вокруг благодати (благодать исстачает и живой колодец, в пустыне колодец всегда подарок, ожидаемый всегда и всегда неожиданный), видно, от блаженного предвкушения воды, ощущая его, вы и замерли пока в неподвижности. Ибо стоят неподвижно, скрестив на груди руки, те, что отбросили свои лопаты, они не двигаются. И ты, уперев в бока руки, стоишь неподвижно на холме и смотришь на ту же отдаленную точку на горизонте. Не пустились в путь и верблюды с огромными тенями, что выстроились в цепочку на песчаном склоне. Нет еще тех, что несут водопоyjne же-

лоба, откуда все будут пить, и ты продолжаешь спрашивать: «Чего они там замешкались?» Ничего еще не осуществлено, все только обещано.

И вы живете пока улыбкой. Да, скоро вы насладитесь водой, которая будет для вас удовольствием — любовью. А сейчас люди, пески, верблюды, солнце — одно целое, их слила воедино круглая дыра посреди камней, и если все они разнятся между собой, то не больше, чем разная утварь единого священнодействия, предметы ритуала, слова песнопения.

А ты — верховный жрец, что будет главенствовать, ты — генерал, что будет распоряжаться, ты — будущий церемониймейстер, ты стоишь пока неподвижно, уперев в бока руки, удерживаясь от распоряжений и вопрошая горизонт, откуда должны принести водопойные желоба, чтобы все напилось. Ибо не достало еще одной чаши для священнодействия, одного слова для стихотворения, одной пешки для победы, одной приправы для праздничной трапезы, генерала для свадьбы и камня для часовни, чтобы наконец все увидели ее и преклонились. Но где-то там идут те, что несут водопойные желоба, и, когда они наконец появятся, ты им крикнешь: «Эй, вы, там, а ну поторопитесь!» А они не ответят. Они взберутся на холм. Встанут на колени, чтобы приладить то, что принесли. И тогда ты взмахнешь рукой. Заскрипит веревка, что помогает земле рожать воду, и, качнувшись, медленно двинется в путь процессия верблюдов. А люди, заботясь о необходимом порядке, будут грозить им палками и гортанно командовать. Так начнется священнодействие утоления жажды при неторопливо подымающемся солнце.

ССХVI

И опять пришли ко мне логики, историки, критики и принялись выводить, следуя от следствия к следствию, свои системы и подтверждать их доводами. Системы их были безукоризненно точны. И одна убедительнее другой показывали, какое царство поможет, освободит, напитает и обогатит человека.

Дав им наговориться вдосталь, я спросил их:

— Прежде чем стрекотать о человеке, сказали бы мне, что, по-вашему, важно для человека и что в человеке важно . . .

И они застрекотали опять, сладострастно забрасывая меня новыми схемами: ведь стоит предложить любителям слов новую возможность поговорить, они ухватят за гриву любимого конька и поскачут по неосторожно открытой тобой дороге, словно кавалерийский отряд, звеня и сияя саблями, вздымая облако пыли и буйный ветер бешеной скачки. Но никуда не прискачут.

— Так вот, — сказал я им, когда они спешили, ожидая похвалы (люди этого племени бегут не на помощь, а для того, чтобы их заметили, услышали их топот, залюбовались головокружительными трюками и кувырками, и поэтому заранее, предвкушая похвалу, принимают скромный вид), — так вот, как я понял, вы собираетесь позаботиться о самом важном в человеке и для человека. Но если я правильно понял, то ваши системы поощряют в человеке как главное толщину его живота, — конечно, живот существенен, но он — средство, никак не цель, благополучием живота вы обеспечиваете надежность повозки, — вы печетесь о здоровье человека, и оно существенно, но и здоровье — средство, а не цель, состояние внутренних органов все равно что состояние колесиков в механизме. Стало быть, вы печетесь о количестве повозок. Конечно, и я хочу, чтобы царство было многолюдно, чтобы люди в нем были сыты и здоровы. Но очевидное — еще не главное, ибо ваши подопечные пока не более чем материал, дробная вещественность. Так как же поступать с ней? Куда вести? Что дать, чтобы она

росла и облагораживалась? Ибо все — только путь, кладь, повозка...

Они говорили мне о человеке, как говорили бы о салате. И главное достоинство этого салата было в том, что он не переведется у меня в огороде.

Что им ответишь? Близорукие скудоумцы всегда, всегда заняты чернилами и бумагой, но никогда смыслом стихотворения.

И я добавил:

— Я люблю подлинность, люблю основательность. Не терплю, когда калечат мечту. Волшебные острова я обживаю как весомую конкретность. Я не похож на деляг, чьи головы туманит мечтательный хмель, — ибо прежде всего я чту опыт. Умение танцевать я ставлю выше умения брать и давать взятки, скупать драгоценности, злоупотреблять служебным положением; от танцев куда больше удовольствия, и назначение их куда более очевидно. Накопленным тобою богатствам потом все равно придется искать применение, а поскольку танец трогает человеческое сердце, ты возьмешь на содержание какую-нибудь танцовщицу, но, ничего не смысля в танцах, ты выберешь бездарно и, таким образом, ничего не приобретешь. А я? Я смотрю, я вслушиваюсь, — но в молчании моей любви не слушаю слов, — и могу поклясться: нет для человека ничего драгоценней запаха воска в единственном, необыкновенный вечер; золотой, светящейся на восходе или закате пчелки; черной жемчужины, ничьей, прячущейся пока в глубине моря. Да и сами деляги — я видел это — свое с трудом накопленное богатство, собранное взятками, злоупотреблениями по службе, скупкой, продажей, рабским трудом, бессонными ночами, потраченными на разработку финансовых операций и проверку счетов, — так вот, свое богатство они вкладывали в орех величиной с ноготь, на вид он сродни граненой стекляшке и зовется бриллиантом, — ценностью его наделило священнодействие поиска в темных глубинах земли, и то же священнодействие сделало драгоценным запах воска, мерцание золотой пчелки. Ценой собственной жизни спасают бриллианты от грабителей.

Главный дар был открыт мне — дар дороги, которую нужно преодолеть, чтобы настал праздник. Чтобы судить о твоём благородстве, я должен знать, что ты празднуешь и что твой праздник говорит сердцу, ибо каждый праздник — веха на твоём пути, преодоленный порог, оставленный позади кокон; он то, откуда ты идешь, и то, куда ты пришел. Только так я могу узнать, что ты за человек и стоит ли тратить усилия на благоденствие твоего живота, преуспевание, преумножение и здоровье.

Но для того чтобы направить тебя вот по этой дороге, а не другой, нужно, чтобы ты возжаждал вот этого, а не иного; твоя жажда и будет залогом твоего роста, она облагородит тебя, направит твои шаги, пробудит творческий дух. Достаточно страсти к морю, чтобы облагородить тебя и дожидаться от тебя кораблей. Я должен знать, чего заставляешь ты жаждать жителей своего царства. Ибо любовь — это жажда любви, благородство — стремление к благородству, радость от черной жемчужины — надежда, что однажды и ты добудешь ее из морских глубин.

ССХVII

Нет, не думай, что целое — это сумма отдельных частей. «От этих нам ждать нечего, — сказал ты, придя ко мне. — Они грубы, жадны, себялюбивы, подлы и вдобавок трусы». Ты и о камнях мог бы сказать мне, что они грубы, шероховаты, недвижимы, непробиваемы, а между тем именно из них творят нечто совершенно иное: статую или храм.

Я убеждался не однажды, что целое ни в чем не подобно составляющим его частям. Поговори с каждым в любом из соседних племен и убедишься: каждый в отдельности ненавидит войну, не хочет отлучаться от семейного очага, любит жену, детей и домашние праздники, не желает проливать кровь, ибо добр, кормит свою собаку, гладит осла, не терпит воровства, занят собственным домом, до блеска полирует пол, красит стены, ухаживает за своим садом. Послушав его, ты скажешь: «Мирно их царство, они живут любовью к миру...» Однако царство их похоже на супницу, где не утихая кипят войны. И доброта, нежность, жалость к животным, восхищение цветами, присущие каждому из жителей, — необходимые компоненты колдовства, ведущего к скрежету клинков, в точности так же, как снег, елка и горячий воск наколдывают взволнованное биение твоего сердца, но и там и здесь добыча ничуть не похожа на ловушку.

А как судить о дереве по его частям? По составляющим его элементам? Разве, говоря об апельсиновом дереве, ты коришь его за черноту корней, горечь древесины, клейкость или шероховатость коры, за кривизну веток? Что тебе до того, из чего это дерево сложено? Об апельсиновом дереве ты судишь по апельсинам.

И в точности то же самое я скажу о тех, кого ты изгоняешь и преследуешь. Каждый по отдельности он вот такой — такой или вот такой, но что мне за дело до того, каков по отдельности каждый в толпе. Дерево время от времени приносит мне души, похожие на клинок, они отдадут тело пыткам, но не согнутся, вопреки трусости большинства; приносит оно изредка и столь прозорливый взгляд, что он сквозь тщету оболочек прозревает истину, будто сквозь кожуру — мякоть плода, прозорливые, вопреки низменным вкусам большинства, смотрят из окна своей мансарды на звезды и живут, питаюсь лучом света, — и мне довольно этой малости. То, что ты видишь как противоречие, я считаю необходимым условием жизни. Дерево — условие существования плода, камень — храма, люди — условие существования той единственной души, что озарит светом все племя. И поэтому доброту, мечтательность, любовь к дому мне так легко переодеть в военные сапоги, ибо именно они необходимые компоненты для кипящей супницы войны, несмотря на свое с ней несходство, именно они, а вовсе не чума, не преступление и не голод. Я прощаю людям их недоброту, немечтательность, нелюбовь к дому (может быть, они слишком долго кочевали), потому что, может быть, именно так нарождается в ком-то благородство. Так как мне предвидеть при помощи логики, что выводит одно следствие из другого? Логика в переходе с одной ступеньки на другую нет.

ССХVIII

Эти люди, приукрашивая себя, хотят тебя уверить, будто днем и ночью одушевлены страстью. Врут.

Соврет дозорный на крепостной стене, если вдруг начнет повествовать тебе о своей негасимой любви к городу. Он думает об ужине.

Соврет поэт, если будет твердить тебе день и ночь об опьянении поэзией. И у него временами болит живот, и тогда на стихи ему наплевать.

Соврет влюбленный, утверждая, что день и ночь молится на свою возлюбленную. Его отвлечет блоха, куснув его. Или обычная скука, и он зевнет.

Врет путешественник, рассказывая, что днем и ночью восхищался необыкновенными красотами. В сильную качку его тошнило.

Врет праведник, говоря, что днем и ночью созерцает Господа. И у

Господа есть приливы и отливы, как у моря, Он оставляет иногда праведника, и он тоже бывает сух, будто обнажившаяся галька.

Врут те, кто говорят, будто день и ночь оплакивают своих мертвых. Можно ли оплакивать их день и ночь, если и любить их день и ночь было невозможно? Если при жизни с ними ссорились, от них уставали, не чувствовали к ним любви? Конечно, мертвый всегда ближе живого, ибо он уже сбылся и нет в нем больше противоречий. Но ты не верен и своим мертвым.

Врут все, кто не признается, что временами бывают опустошены и равнодушны. Врут, потому что не вникли в суть вещей. Слыша об их негасимом рвении, ты веришь в их преданность и начинаешь сомневаться в своей, краснеешь за собственное бесчувствие. Ты меняешь голос и выражение лица, если ты в трауре и на тебя не смотрят.

Но я знаю: неизменной бывает только одолевающая тебя скука. Она — свидетельство немощи твоей души, что не в силах разглядеть за дробной вещностью — картину. Так скучает, глядя на деревянные фигурки, не знающий, что такое шахматы. Ему невдомек, сколько они таят в себе. Но если изредка за твою преданность кокону тебя, дозорного, поэта, верующего, влюбленного или путешественника, вознаградят озарением, не жалуйся, что не видишь постоянно того, что так высоко вознесло тебя. Ибо озарение бывает столь пламенным, что может жечь зрящего. И праздник не может длиться все дни подряд.

Так что ты не прав, коря и осуждая людей за бесчувственность, осуждая, ты похож на косоглазого пророка, что день и ночь раздувает в себе священный пламень гнева. Я знаю: священнодействие, утонув в обыденности, покажется мертвой рутинной. Стремление к добродетели обернется однажды жандармскими порядками. Высокие принципы станут ширмой для недостойных игр. Но почему я должен огорчаться? Я прекрасно знаю, что человеку случается и послать. Стану ли я жаловаться, что он так бездейтелен? Я ведь знаю: дерево совсем не цветок — оно неистощимая возможность цветения.

ССХІХ

Я хотел взрастить в тебе любовь к брату. Но с любовью взрастил и боль разлуки с ним. Хотел взрастить любовь к жене. И взрастил боль разлуки с нею. Хотел взрастить любовь к другу, взрастил боль разлуки с другом; стоит выкопать колодец, как рождается тоска по колодезной воде.

И я понял: разлука с женой, другом, братом для тебя больнее любых других бед — и решил исцелить тебя, научив не разлучаться. Ибо далекий родник для умирающего в пустыне от жажды слаще, чем мир, где вообще нет родников. И даже если ты изгнан из своей земли навеки, услышав, что дом твой сгорел, ты заплачешь.

Близость дальнего благотворна; тебе кажется, дерево тянет к тебе свои ветки и дарит тень. Я решил исцелить тебя, ибо я — обживающий и хочу показать тебе, где жить.

Помни сладость любви по прощальному поцелую, — ты поцеловал жену, потому что утренний луч позолотил твои апельсины, уложенные пирамидой на спине осла, и, позолотив, позвал в дорогу, торопя не опоздать на рынок. Жена тебе улыбнулась. Она стоит на пороге, приготовившись, как и ты, приняться за свою работу, она подметет дом, вычистит кастрюли и примется за стирку, думая о тебе, стирая как сюрприз что-то вкусенькое. «Лишь бы он не вернулся слишком рано, — думает она, — а то мне не успеть, и не получится у меня никакого сюрприза». Вы неразлучны, хотя кажется, на взгляд, что ты ушел далеко-далеко, а она не хочет, чтобы ты возвращался. Но куда ты ушел, раз твое странствие служит дому? Ты трудишься ради радости

и веселья в нем. На свой заработок ты задумал купить ковер из пушистой шерсти и серебряный браслет жене. Поэтому ты и поёшь дорогой, ты пребываешь в мире любви, хоть и кажется, будто ты удаляешься от дома. Ты строишь свой дом, подгоняя хворостиной осла, поправляя корзины и протирая глаза, потому что еще очень рано. Ты ближе своей жене, чем в час досуга, когда сидишь на пороге и смотришь вдаль, не думая даже обернуться и порадоваться своему царству, мечтая, как повеселишься на свадьбе в дальнем селенье, думая о своем друге или завтрашних трудах.

Но вот ты проснулся окончательно, тебя разбудил твой ослик, ему вздумалось проявить усердие, и его копыта дробнее застучали по камням дороги, цоканье показалось тебе песенкой, и ты наслаждаешься начавшимся утром. Ты улыбаешься. Потому что уже выбрал лавочку, где купишь серебряный браслет. Знаешь ты и старика хозяина. Он обрадуется тебе, потому что вы с ним друзья. Расспросит о жене, о ее здоровье, потому что она у тебя изящная, хрупкая. Он наскажет о твоей жене столько хорошего, так проникновенно, так прочувствованно, что и самый неотесанный бродяга, наслушавшись его похвал, сочтет ее достойной золотого браслета. Но ты только вздохнешь. Ничего не поделает, такова жизнь. Ты не король. Ты торгуешь овощами. Вздохнет и торговец. Навздыхавшись вдоволь, вы отдадите дань почтения недостижимому золотому браслету, и тогда хозяин покажет тебе серебряные, те, что ему больше всего по душе. «Браслет, — примется он объяснять тебе, — должен быть тяжелым. А золотые — они ведь легкие. Смысл браслета мистический. Он — звено в цепи, что привязывает вас друг к другу. И любя, сладко чувствовать тяжесть цепи. Вот жена твоя изящно приподняла руку и поправила покрывало, она почувствовала тяжесть браслета, и у нее стало легко на сердце». Из задней комнаты он вынесет тебе самые тяжелые браслеты, попросит убедиться в их тяжести, взвешивая их на ладони, полузакрыв глаза и прикидывая, будут ли они тебе в радость. И ты тоже взвесишь браслет на ладони и тоже прикроешь глаза. Ты похвалишь браслет и еще раз вздохнешь. Ничего не поделает, такова жизнь. Ты не караванщик богатого каравана. У тебя один ослик. И ты покажешь на ослика, что ждет у порога, ослика, который не так-то силен, и скажешь: «Богатства мои так невелики, что сегодня поутру под их тяжестью он пустится рысью». Вздохнет и торговец. Навздыхавшись вдоволь, вы почтите тяжелый серебряный браслет, и хозяин разложит перед тобой легкие, потому что, в конце концов, самое главное в браслете чеканка, и чеканка должна быть тонкой. Он покажет тебе и тот браслет, который ты задумал купить. Ибо ты все решил заранее, как мудрый государственный муж. И отложил часть заработка на ковер из пушистой шерсти, на новые грабли, на пропитание. . .

Вот теперь вы танцуете сложный танец, всерьез, старик ювелир знает людей и если догадается, что ты у него на крючке, ни за что не выпустит из рук леску. И ты говоришь, что браслет для тебя слишком дорог, и уходишь. Он зовет тебя обратно. Он твой друг. А жена у тебя такая красивая, ради твоей красивой жены он сбавит цену. Он себе не простит, если такой чудесный браслет попадется неуклюжей дурнушке. Ты нехотя возвращаешься. Медленно-медленно, будто идешь себе и гуляешь. Недовольно поджимаешь губы. Взвешиваешь на ладони браслет. Они, в общем-то, мало чего стоят, если не тяжелы. И серебро, оно всегда такое тусклое. Ты еще не решил, купить ли тебе невзрачный браслет или чудесную пеструю ткань, которую ты приметил в одной из лавок. Но опасно выказать и слишком большое пренебрежение: если торговец потеряет надежду что-то тебе продать, он разочаруется и позволит тебе уйти. И тогда тебе придется краснеть, путаясь в неуклюжих причинах, по которым тебе пришлось к нему вернуться.

Конечно, тот, кто ни бельмеса не смыслит в людях, сочтет, что здесь танцует скупость, — нет, тут танцует любовь. Услышав разговоры об осле, овощах, философствование о серебре и о золоте, добротности и тонкости его выделки, видя, как ты уходишь и возвращаешься, он сочтет, что сейчас ты далеко-далеко ушел от дома. Но именно сейчас ты и живешь в нем. Ты исполняешь ритуальный танец любви, танец дома, и, значит, как ты можешь быть вне дома или любви? Твое отсутствие не отделяет тебя, но связывает, не отъединяет — сближает. И можешь ли ты мне указать границу, за которой отсутствие становится отъединением? Если ритуальный танец насыщен и напряжен и ты въяве видишь божество, с которым сливаешься и которому служишь, если твое божество воодушевляет тебя, кто разлучит тебя с твоим домом или другом? Я знал сыновей, которые говорили мне: «Отец умер, не достроив левое крыло дома. Я достроил его. Не кончил сажать деревья. Я посадил их. Мой отец завещал мне свое дело. Я продолжаю его». Или: «Он завещал мне быть верным королю. Я верен ему». И я чувствую: отец в этом доме жив.

О друге и о тебе. Если не в нем и не в тебе — питающий вашу любовь корень, если один и тот же божественный узел связывает для вас воедино дробный и разноликий мир, то нет расстояния, нет времени, которое могло бы вас разлучить, ибо от божества, которое вас объединило, не отторгнут вас ни мир, ни мор, ни смерть.

Я знал старика садовника, он рассказывал мне о своем друге. Долго-долго они жили как братья, пили по вечерам чай, праздновали праздники, спрашивали друг у друга совета, делились тайнами, но жизнь разлучила их. Со временем слова потеряли для них былую цену, и когда окончив дневные труды, они вечерами прогуливались вместе, то шли молча, поглядывая на цветы, сады, небо, деревья. И если один кивал головой на розу, то другой наклонялся и, увидев проеденный гусеницей лист, тоже огорченно покачивал головой. И одинаково радовались они раскрывающимся бутонам.

Но случилось так, что один купец нанял его друга на несколько недель погонщиком в свой караван. На караван напали разбойники, его занесло в другую страну, а дальше войны, бури, кораблекрушения, разорения, смерть и труды во имя куска хлеба качали его на своих волнах, будто море утлую лодку, перенося от одного сада к другому, пока не занесло на край света.

И вот уже на старости лет, после долгих лет молчания, мой садовник получил от своего друга письмо. Бог знает сколько лет оно странствовало. Бог знает сколько повозок, всадников, кораблей и караванов везли его с упорством морских волн, пока не принесли к нему в сад. И вот утром, сияя от счастья и желая им поделиться, мой садовник попросил меня прочитать полученное письмо, как просят прочитать любимое стихотворение. С жадностью ловил он на моем лице впечатление от чудесного письма. А в письме было всего несколько слов, потому что садовникам по руке лопаты и грабли, а не перья. «Этим утром я подрезал мои розы...» — прочитал я в письме и задумался о главном, которое не вместить в слова, и наклонил голову в точности так же, как мои садовники.

Мой садовник потерял теперь и сон, и покой. Каждого расспрашивал он о далеких странах, плывущих кораблях, караванах и войнах между царствами. Три года спустя случилось так, что мне пришлось снаряжать посольство на другой конец света. Я позвал своего садовника и сказал: «Ты можешь послать своему другу письмо». Пострадали мои деревья, пострадали овощи в огороде, зато настал праздник у гусениц, потому что садовник целыми днями сидел за столом, писал, зачеркивал и снова писал, прикусив язык от старательности, будто малый ребенок, — ему хотелось высказать самое главное, самое важ-

ное, передать своему другу себя целиком во всей своей явственной подлинности. Нужно было перекинуть мост через пропасть, воссоединиться с частичкой самого себя, преодолев время и пространство. Ему нужно было высказать свою любовь. И вот, краснея и смущаясь, он принес мне и попросил прочитать свой ответ, желая увидеть на моем лице слабый отблеск той радости, что озарит получателя, желая на мне проверить действительность своего откровения. И я прочитал (нет для тебя драгоценнее того, на что ты тратишь себя всю свою жизнь. Помнишь старух, что проглядели глаза, следя за танцем иглы, расшивая пелены для своего бога?). Так вот, я прочитал то, что доверил своему другу мой садовник с помощью неуклюжих стрательных букв, — молитву, исполненную горячей веры, высказанную в корявых словах: «Этим утром и я подрезал мои розы. . .» И я замолчал, потому что ощутил самое главное еще яснее: они славят Тебя, Господи, соединясь в Тебе над своими розовыми кустами, сами не подозревая об этом.

Ах, Господи, я молюсь за себя, ибо и у меня есть труд, я, по мере своих сил, просвещаю мой народ. Я получил от Тебя тяжкий труд, Господи, и нет у меня той небольшой и каждодневной работы, какую мне легко было бы любить, — я обживаю, я натягиваю связующие нити, но они неосвязаемы, хотя и даруют радости сердцу, ибо сладко возвращаться в свой дом, а не куда-то еще, слышать привычные голоса и утешать ту, что плачет о потерянном браслете, хотя плачет она о смерти, что разлучит ее со всеми браслетами. Но Ты обрек меня еще и на молчание, научив ценить не ветер слов, а глубинную суть; увидев ее, я склонился над тоскою людей и пытаюсь исцелить их.

Да, Ты пожелал сберечь мое время, которое я бы мог расточить на болтовню и словесную пыль из-за потерянного браслета (дело ведь не в браслете — в смерти), расточить на ловлю любви или дружбы. Но и любовь и дружба завязывают свой узел только в Тебе, и только в Твоей власти позволить мне до них дотянуться через Твое молчанье.

Что мне в помощь, если знаю, что не в Твоих силах явить мне себя на моей ступеньке, если ничего не жду от ангела из балаганчика? Что? Если говорю и с пастухом, и с пахарем, отдавая им многое, но ничего не получаю взамен? Если улыбкой воодушевляю дозорного, ибо я — царь, узел, связавший воедино царство, на которое они тратят свою жизнь и которое вознаграждает их моей улыбкой. Но чего мне ждать от ответной улыбки дозорного, Господи? Я бужу любовь не к себе, Господи, мне неважно, равнодушны они ко мне, ненавидят ли, любят, они должны меня чтить, чтобы прийти к Тебе, ибо я бужу любовь только к Тебе, Господи, и они и я питаемся этой любовью, и Тебе я передаю ее, как передаю преклонение колен дозорного своему царству, ибо я не стена, о которую бьются, я — зерно, что вытягивает из земли листву.

Но по временам, — ибо нет для меня царя, который мог бы вознаградить меня улыбкой, и иду я одиноким до того часа, когда Ты снизойдешь принять меня и растворить в тех, кого я люблю, — я устаю от своего одиночества, и мне хочется стать одним из всех и затеряться среди людей моего народа, — я еще не очистился до конца.

Видя, как счастлив мой садовник дружбой со своим другом, мне хочется порой покориться божеству садовников и тоже сделаться садовником в моем царстве. Ведь и мне случается не спеша спуститься по ступеням моего замка в предрассветный сад и навестить свои розы. Я оглядываю их так внимательно, наклоняюсь к неловко изогнувшемуся стеблю, я, который в полдень будет решать: казнить или миловать, воевать или жить в мире. Быть или не быть царствам. И с трудом разогнувшись, потому что я уже стар, я говорю в своем

сердце слова, что слышны и понятны всем садовникам на свете, живым и мертвым: «Этим утром и я подрезал мои розы...» Что мне за дело, если это мое послание будет странствовать долгие годы? И мне даже не важно, найдет оно адресата или нет. Не в послании суть послания. Чтобы быть заодно с моими садовниками, я поклонился их божеству—розовым кустам на заре.

Господи, не то же ли и с возлюбленным моим врагом, с которым я становлюсь заодно, лишь возвысившись до следующей ступеньки? И поскольку он в точности такой же, как я, и идет ко мне навстречу, стремясь подняться на ступеньку более высокую. Исходя из нажитой мною мудрости, я сужу о справедливости. Он судит о справедливости, исходя из своей. На взгляд, они противоречат друг другу, противостоят и служат источником войн между нами. Но и он, и я противоположными путями, протянув ладони, идем по силовым линиям к одному и тому же огню. И обретают наши ладони Тебя одного, Господи!

Я окончу свой труд, облагородив душу моего народа. Мой возлюбленный враг окончит свой и облагородит свой народ. Я думаю о нем, и он думает обо мне, хотя нет у нас общего языка, чтобы мы с ним встретились, ибо по-разному мы и милуем, и казним, разные у нас уклады и разные суждения, но мы можем сказать, он мне, я — ему: «Этим утром и я подрезал мои розы...»

Ибо ты, Господи, общая для нас мера. Ты — узел, что связал воедино несхожие деяния!



Юрий Стефанов «ТЫ БЫЛ МОЕЙ ЦИТАДЕЛЮ . . .»

*Ничто не строится на камне, все на песке, но
долг человеческий строить так, как если бы кам-
нем был песок. . .*

Хорхе Луис Борхес

Лет, помнится, двадцать тому назад, в одну из встреч с Норой Галь, блистательной переводчицей «Планеты людей» и «Маленького принца», я опрометчиво поинтересовался, не думает ли она взяться за «Цитадель», — ведь без знакомства с этой последней, посмертной работой Антуана де Сент-Экзюпери наше представление о его творчестве страдает, мягко говоря, некоторой ущербностью.

Боже, как гневно откинула Нора Яковлевна изящную седую голову в короткой стрижке, каким ядом налились ее мудрые глаза, сколько холодного негодования просквозило в ответе! Ни дать ни взять — строгая классная дама, которой бестактно напомнили о неблаговидном поступке любимого ученика.

— Я попрошу вас *никогда* больше не заводить со мной разговор об этой дребедени. «Цитадель» — не книга, а ворох черновиков, груда бумажного хлама. Сент-Экс посовестился бы издавать ее в том виде, в каком она до нас дошла, — сплошные повторы, невнятица, дешевая мистика, чепуха на постном масле. — Видная переводчица брезгливо передернула плечами. — Не пристало человеку быть рабочим стихии, грустно, когда писатель не стремится к ясности. . . Ну да ладно, *laissons celà*. Как там ваша статейка в КЛЭ, не пора ли обновить библиографию?

Вот те раз, подумал я. А если бы, не дай Бог, «Братья Карамазовы» или «Мастер и Маргарита» дошли до нас в виде «вороха черновиков» (впрочем, с романом Булгакова, вроде бы, так и случилось), — что же нам тогда, всю жизнь только и делать, что умиляться «Бедными людьми» да комментировать «Роковые яйца»? А взять «Мысли» Паскаля — чем не «груда бумажного хлама», причем в самом прямом, буквальном смысле слова: случайно попавшие под руку, разноформатные листки, иногда продырявленные и связанные веревочкой; один из них был найден зашитым в подкладку его куртки — это так называемый «мистический амулет», в котором великий мыслитель, чуть ли не предвосхищая лексику и стиль Рембо, пытается рассказать об опалившем его Озарении. . . Ну а Коран, наконец? Тут даже о «груде бумажного хлама» говорить не приходится. Речения Пророка некоторое время после его смерти передавались изустно и лишь спустя два десятка лет были собраны воедино, став священным Кораном.

Ход моих мыслей тогда, в семьдесят каком-то году, был, разумеется, более сумбурным, но, помню, именно эти параллели и проскользнули. Разница масштабов: «Маленький принц» — и огромная «Цитадель», «Бедные люди» — и «Братья Карамазовы». . . Второстепенность

того обстоятельства, что иные из великих произведений сохранились в форме «черновиков»: «Мысли», «Цитадель», «Мастер и Маргарита»... Неосознанное, бездоказательное, но неотвязчивое убеждение, что в «Цитадели», к тому времени уже читаной-перечитаной, есть нечто, роднящее ее не только с «Мыслями» Паскаля или проповедями немецкого мистика Майстера Экхарта, но и с Евангелием, Кораном, Бхагавадгитой... И, наконец, горькое чувство собственного отщепенства, иначе: ну как же так, мне «Цитадель» дороже всех прочих книг Экзюпери вместе взятых, я ставлю ее вровень с «Заратустрой» Ницше и «Бесами» Достоевского, а Нора Яковлевна Галь, блистательный переводчик «Маленького принца», как бы шокирована самим фактом существования этой книги...

Теперь-то я понимаю, что не только она так неуютно чувствовала себя в исполинской тени, отбрасываемой «Цитаделю». Когда мне позвонили из редакции «Согласия» с лестным предложением написать нечто вроде послесловия к опубликованному в этом журнале полному переводу одного из величайших произведений XX века, я, естественно, пролистал кое-какую специальную литературу. И что же оказалось? Оказалось, что даже на родине писателя «Цитадель» остается не только не понятой, но вроде бы толком и не прочитанной. Критик Жан Юге, в послевоенные годы занимавшийся книжной торговлей, в своей брошюре «Сент-Экзюпери, или урок пустыни» сообщает о том, что первое издание «Цитадели» раскупалось «не столько из интереса, сколько из пиетета». Критика либо обходила его молчанием, либо повторяла набившие теперь оскомину упреки в бессвязности, темноте и «дешевой мистике». М. Мижо, автор переведенной у нас биографии писателя (пикантных подробностей — навалом, дельной мысли — ни одной), заранее солидаризуется с суждениями Норы Галь: «Таким образом, изданные материалы представляют собой не законченное произведение (далась им эта законченность! — Ю. С.), а лишь «заготовки» для книги. Это «руда», из которой, отделив «пустую породу», писатель извлек бы, как всегда, самое существенное». Польская исследовательница А. Буковская в своей работе «Сент-Экзюпери, или парадоксы гуманизма» сетует на то, что разбираемый ею автор отступил от «гуманистической философии, не связанной с проблемой существования или несуществования Бога, а истолкованной только в категориях нравственных ценностей». В «Цитадели», утверждает она, «смешаны две несовместимые друг с другом модели гуманизма, в результате чего вся мелодия становится фальшивой».

«...Груда бумажного хлама...», «...пустая порода...», «...фальшивая мелодия...»

Подобные оценки «Цитадели» перечеркиваются, однако, словами человека, чье мнение об этой вещи, полностью, кстати, совпадающее с моим собственным, кажется мне куда более веским, чем скептические выкладки всех критиков и литературоведов вместе взятых.

Имя этого человека — Антуан де Сент-Экзюпери. В одной из последних бесед со своим другом Пьером Даллозом, тем самым, кому было адресовано его предсмертное письмо, Экзюпери признается: «По сравнению с этой вещью все остальные мои книжонки кажутся всего лишь подготовительными упражнениями».¹ Именно так, а не иначе. «Упражнениями», «черновиками» были «Южный почтовый», «Ночной полет», «Маленький принц» и другие замечательные «книжонки» писателя-пилота, а если не «беловиком», то итогом, «суммой» его творчества стало колоссальное здание «Цитадели».

Его фундамент был заложен в 1936 году, после того как автор в оче-

¹ Ввиду исключительной важности этого высказывания даю ссылку на источник: Dalloz P., Derniers Rencontres..., Revue «Confluences», 1947, № 12—14, p. 164.

редной раз заглянул в глаза смерти. Совершая вместе с напарником показательный рейс Париж—Сайгон, Экзюпери потерпел аварию в Ливийской пустыне. Истоком мистического озарения служит обычно некий болезненный толчок извне, мучительное соприкосновение с инобытийными сферами, «духовный ожог», по определению австрийского писателя Густава Майринка. Описывая это состояние, Паскаль в своем «амулете» с привычной для математика точностью отмечает его временные границы: «Приблизительно с половины одиннадцатого вечера до половины первого ночи — ОГОНЬ». Для Экзюпери этот «ожог», этот «огонь» обрел не только духовную, то и физическую реальность: он и его напарник едва не погибли от жары и жажды и были чудом спасены подоспевшими к месту катастрофы кочевниками-берберами. Память об этом ожоге и этом чуде и стала тем зерном, из которого выросла «Цитадель».

Вернее сказать, продолжает расти до сих пор. Автор поминутно напоминает нам, растущим вместе с его зерном, его деревом, его цитаделью, что главное в жизни — это мучительный рост, непрестанное преодоление: «Всякое восхождение мучительно... Перерождение болезненно... Легкое и доступное — бесплодно... Благословенны муки, рождающие тебя... Вне пути и восхождения ничего не существует... Любовь — итог преодоленной тьмой высоты...»

С каждым новым читателем, «одолевшим» «Цитадель», в ее стены закладывается новый живой камень, она становится все выше, все просторней, все мощней. Мы — читатели «Цитадели» — вступаем в некое братство «вольных каменщиков», целью которого, в конечном счете, является преодоление и преобразование самой человеческой природы, ее обожение: «Из зерна вырастет колос, колос преобразится в человеческое тело, из человека родится храм во славу Господу. И я могу сказать об этом зерне, что в его силах собирать камни. «Царство мое подобно храму», — говорит в другом месте главный архитектор «Цитадели», — я бужу и побуждаю людей. Я созываю их возводить его стены. И вот это уже их храм. Воздвигающий храм возвышает людей в их собственных глазах».

Какова же архитектура «Цитадели», как построено это циклопическое литературное сооружение?

Начать с того, что «Цитадель» — не просто великая книга, но целая литература, содержащая в себе множество произведений разных жанров, сплавленных воедино неугасающим духовным накалом; с подобными моделями, но еще большего, грандиозного масштаба, намного превосходящего личностные, человеческие мерки, мы сталкиваемся, знакомясь с Махабхаратой, Библией, Книгой тысячи и одной ночи. Однако, вопреки мнению некоторых недоброжелательно настроенных критиков, «Цитадель» строилась вовсе не затем, чтобы затмить и заменить эти боговдохновенные памятники, да такое не под силу и величайшему из гениев. Сент-Экзюпери отнюдь не претендовал на роль основателя новой религии, он не был ересиархом, но свою пророческую миссию сознавал отчетливо. «Я — вестник», — писал он, не подозревая о том, что несколькими годами позже исламская теория вестничества получит окончательное оформление под пером Даниила Андреева, в его «Розе мира», одной из немногих книг XX века, сопоставимых с «Цитаделью». Послание «вестника», «Цитадель» совершенно естественным образом ориентируется на священные тексты, невольно перенимая даже их формальную структуру. Отсюда, как уже говорилось, ее внутренняя полифония.

Здесь мы встречаем «Гимн тишине» (XXXIX) и «Гимн ночи» (CLXI), «Притчу о прокаженном» (XXVI) и «Рассказ о двух садовниках» (CCXIX), «Моление о царстве» (XLVII), «Молитву о человеке» (CLXXIV) и «Молитву одиночества» (CXXIV), «Поэму о засухе»

(CLVI) и «Сатиру на куртизанок» (XXXVII), «Проповедь к воспитателям» (XXV) и «Наставление зодчим» (XIX), «Рассуждение о долге» (XCVI) и «Размышление о времени» (CLIX) — всего не перечислишь, я только перелистал наугад несколько страниц...

Последовательность чередования этих композиционных блоков непредсказуема, ибо не подчинена навязанным извне формальным схемам: «Логика убивает жизнь. И сама по себе она пуста...» Экзюпери часто сравнивает свою книгу и описанное в ней царство с огромным деревом, с кедром, который, искривляя корни, пробивает безликую каменистую землю и питается ею. Математическая упорядоченность жизни и текста, высмеянная в притче о генералах и буквах Священного писания (XXII), враждебна истинному порядку, олицетворяемому деревом: «Дерево для меня и есть порядок. Порядок дерева — это целостность и единство, торжествующие над дробностью и разнородностью. На одной его ветке — гнездо, на другой нет. Одна ветка тянется к небу, другая клонится к земле». Как бы заранее отметая упреки в «бессвязности», писатель помещает в главе X притчу о слепом дереве, которое родилось в заброшенной лагуне без окон и отправилось на поиски света, поползло наощупь от стены к стене, «запечатлевая свою боль искривлениями ствола». Именно так и рождается, так и борется с мраком каждое подлинное произведение искусства, «запечатлевая свою боль» в неожиданных поворотах сюжета, в бессвязной для постороннего и равнодушного взгляда композиции, в мучительных темнотах и настойчивых повторах, которые с точки зрения подслеповатых критиков выглядят «пустой породой».

У Максимилиана Волошина есть прекрасная статья о французском поэте — Шарле Пеге, ныне почти забытом у себя на родине и мало известном в России. Его судьба роковым образом предвосхищает судьбу Экзюпери: во время Первой мировой войны он пошел на фронт добровольцем и геройски погиб в Марнской битве. Кроме того, обоих мастеров слова роднит сходство стилистических приемов: зрелые поэмы Пеге, как и поздняя проза Экзюпери, изобилуют тонко разработанными повторами основных тем, которые с бесконечным разнообразием варьируются, развиваются, перетекают одна в другую. Вот что пишет об этом приеме Волошин: «Так говорит человек, обращающийся к огромной толпе и громко выкликающий каждое слово. Одну и ту же фразу, один и тот же стих, один и тот же образ он повторяет настойчиво десятки раз, изменяя постепенно какое-нибудь одно слово, подставляя новый синоним, новое понятие, новый оттенок и всегда усиливая слова, точно ему необходимо крепко вбить в понимание слушателей каждое свое положение. Это тяжело, это однообразно, но в этом лежит громадная убедительная сила, а поэмы его приобретают гипнотизирующую власть и похожи на нескончаемые церковные песнопения».

Это определение почти целиком приложимо и к стилю «Цитадели» — я говорю «почти», ибо ритмическая проза позднего Экзюпери, как, впрочем, и поэмы Пеге, отнюдь не кажется мне «однообразной». Зарождаясь в виде изречения, афоризма, а то и просто выразительного словосочетания, емкой словесной формулы, символические темы «Цитадели» разрастаются вширь и ввысь — как древесные ветви, сплетаются и расплетаются, цветут и плодоносят. К французским изданиям книги обычно прилагается алфавитный указатель этих тем-символов, пользуясь которым можно проследить развитие каждой из них на протяжении текста. Все они естественным образом отвечают от ствола, от стержневой темы «Цитадели».

Вряд ли я ошибусь, сказав, что исходной точкой всего замысла книги послужила та строка из 59-го псалма, которую, в обратном переводе с французского, я вынес в заголовок данной статьи: «Ты был моей

цитаделью». (В синодальном переводе Библии этот стих звучит несколько иначе: «Ты был мне защитой и убежищем».)

«Ты» — это Бог. «Цитадель» — это прежде всего книга о Боге, который так же нуждается в человеке, как и человек в Нем. Это книга о мучительных поисках Бога: «Всякое творчество есть путь к Богу, обрывающийся только со смертью». Бог, в понимании Сент-Экзюпери, подобен сути и смыслу вселенской Книги, в которую вписано все мироздание: «От одной вежи к другой пойдешь ты к Тому, чье присутствие так ощутимо сквозь полотно жизни. К Тому, кто суть и смысл той книги, откуда я беру отдельные слова, к Нему — Мудрости, к Нему — Бытию и Жизни, к Нему, Кто возвращает все востребованное».

Здесь — к месту или не к месту — очень важно отметить, что, не смотря на великое множество ветхозаветных и евангельских символов и аллюзий, служащих как бы духовной «закваской» итоговой книги Экзюпери, взгляд ее автора на самую сущность Божественного более всего сходен с положениями исламской мистики. Библейские образы можно считать «плотью» «Цитадели», коранические формулы, понимаемые, разумеется, глубоко лично, — ее душой. «Бог сотворил мир как Книгу, — пишет французский эзотерик Фрительф Шюон, принявший Ислам вслед за своим великим учителем Рене Геноном, — и Его Откровение снизошло в мир в виде Книги, но человек должен различать в творении Слово Божие, должен вознестись к Богу при помощи Слова; Бог стал Книгой для человека, человек должен стать Словом для Бога».

Бог, согласно догматам Ислама, немислим как воплощение, но зато каждый верующий может причаститься Ему, коснувшись священного черного камня Каабы, и тогда его сердце, в свой черед, станет Каабой, святилищем, Цитаделью, в которой почитает Бог. В одной из самых поразительных сцен Экзюпери недвусмысленно намекает на свое знакомство с исламской формулой тождества между сердцем и Камнем, между этими двумя модальностями Цитадели: «На вершине горы я увидел большой черный камень — это и был Господь. «Это Он, — сказал я себе, — неизменный и вечный». Сказал — потому что не хотел оставаться в одиночестве».

Но знакомство с Кораном и положениями суфийский мистиков, вживание в атмосферу Ислама, сознательное или неосознанное воспроизведение коранической метрики и лексики — все это относится к последнему периоду жизни и творчества Экзюпери. Ниже я еще вернусь к этой теме, а сейчас мне пора обратиться к библейскому пласту его мифо-поэтической системы.

Библия была с отрочества любимым чтением Антуана. В письме к матери, датированном 1918 годом, — ему было тогда всего восемнадцать лет — он восторгается глубиной и художественной выразительностью Ветхого Завета: «Какая простота и мощь стиля, какая поэзия! Текст Заповедей — это потрясающее изложение нравственных законов, неподражаемое сочетание красоты и здравого смысла. А что говорить о Притчах Соломоновых, Песни Песней, Екклесиасте!» Позднее его заинтересуют «Мысли» Паскаля — с этой книгой он никогда не расставался, — творения европейских мистиков и православных аскетов...

Ветхозаветные и евангельские образы встречаются практически на каждой странице его книги. Его Кедр — это дерево из пророчеств Иереми и видений Даниила: «...дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает плодоносить», «Большое это было дерево и высокое, и высота его достигала до неба, и оно видимо было до краев всей земли». Его Колодец — это

Колодец Иакова, тот самый, возле которого Христос ведет с Самарянской беседу об «источнике воды, текущей в жизнь вечную». Его Зерно — это то самое евангельское зерно, о котором сказано, что если оно, «лав в землю не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Его «Ключ свода, объединяющий противоречивые истины», — это «Краеугольный камень» Евангелия.

Непрестанные размышления Экзюпери о Пути и Храме, Пустыне и Царстве свидетельствуют о том, насколько глубоко укоренились в его душе эти древние и вечно живые символические образы Нового Завета. Однако, отнюдь не подвергая сомнению традиционное толкование этих образов, он почти всегда осмысляет их в свете своего собственного опыта, как жизненного, так и мистического; вернее сказать, это осмысление становится возможным благодаря одновременной фокусировке обоих мысленных лучей. В силу этого духовные символы, прорастающие на страницах «Цитадели», обретают почти стереоскопическую объемность, почти осязаемую материальность. Как нелепо звучат слова упоминавшейся выше А. Буковской о том, что «мы имеем дело с трактатом о морали, написанным отвлеченным языком символов!» Какая уж тут «отвлеченность», если сам автор не устает повторять о своем отвращении к любым абстракциям: «Я знаю справедливых людей, но не справедливость. Свободных людей, но не свободу. Влюбленных, но не любовь. Точно так же, как я не знаю ни красоты, ни счастья, а только счастливых людей и прекрасные произведения». Символическая вселенная Экзюпери насквозь конкретна. Но эта конкретность не исключает, а как раз предполагает многозначность каждой ее детали.

Так, Цитадель — это прежде всего Бог, но в то же время и человек, ощутивший духовный ожог от скрытой в его сердце искры Божией. Выше я упомянул великого немецкого мистика — доминиканца Майстера Экхарта (ок. 1260—1327). В его трактатах и проповедях — почти на правах синонимов — повторяются понятия «неприступной крепости, цитадели», «искорки» и «ковчега». Все они служат для обозначения трансцендентного начала, «Божественной закваски», позволяющей нам, отрешившись от собственного «я», приобщиться Божественной благодати: «Постараемся же и мы, — пишет Экхарт, — стать Цитаделью, дабы вошел в нее Иисус, и мы приняли Его, и Он пребывал в нас навеки». Я не берусь утверждать, был ли Экзюпери знаком с писаниями доктора теологии Экхарта, под конец жизни объявленного еретиком, и если да, то в какой степени, но это для меня и не важно. В «Цитадели» можно отыскать сколько угодно параллелей с китайскими даосами, Бхагавадгитой или творчеством Густава Майринка, из чего не следует, что он прилежно изучал все эти источники, чтобы затем поделиться с нами на страницах своей книги результатами своих изысканий. Мистическое знание, добытое не опытным и не книжным путем, по сути своей едино для всех времен и народов, ибо исходит из одного источника, меняются лишь формулировки. Важно внутреннее духовное родство между представлениями немецкого проповедника, происходившего, кстати сказать, из рыцарского рода Хохгеймов, и французского аристократа, через пять столетий развивавшего поразительно схожие идеи посредством поразительно схожих образов.

Находятся критики, обвиняющие Экзюпери в попытке создать новую религию, в «богостроительстве». Действительно, в одной из его статей встречается фраза, которую при желании можно истолковать в этом смысле: «Нужно вновь придумать Бога, который был бы равновелик собору». Но «богостроение» Экзюпери, сутью которого была необходимость вновь «изгнать торговцев из храма», сделать его Домом Бога, а не прибежищем лавочников, не имеет ничего общего с «богостроительством» Горького и Луначарского, помышлявших в свое вре-

мя о создании «религии» без Бога, «сложного творческого чувства веры в свои силы, надежды на победу любви к жизни».

Майстер Экхарт и Экзюпери не мыслили никакого творчества вне живой, глубоко личной связи с Богом. «И Бог не желает от тебя ничего большего, — писал когда-то один, — как чтобы ты вышел из самого себя и дал бы Богу быть в тебе Богом». «Всякое творчество есть путь к Богу», — вторит ему другой. По отношению к ним речь может идти не о «богостроительстве», а о жертвенном пути преодоления и постижения, ведущем к Богу: «Новое царство потребует от людей их плоти и крови, чтобы стать выражением их самих. И когда так будет, люди не смогут жить вне божественной упорядоченности, явленной им как веление сердца зодчего». Мир держится жертвой, стоит на жертве: это убеждение, равным образом созвучное как ведическим гимнам, так и евангельским проповедям, составляет, на мой взгляд, сердцевину кшатрийской, рыцарственной мистики Экзюпери: «Тот, кто не тратит себя, становится пустым местом». Как тут не вспомнить евангельское: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Как не процитировать слова Экхарта о самоотречении, являющемся залогом спасения: «Если человек отрекается от себя самого, в него непременно внидет Бог, ибо тогда желания Божии станут его желаниями».

Третье значение символического образа Цитадели — мироустройство, одоление обступающего нас хаоса, спасение от рассеяния и гибели, «отъединение от пустыни». «Любой из домов в опасности», — неустанно предостерегает нас Экзюпери. «Храм в пустыне осаждают пески». «Прежде всего нужно строить корабль, снаряжать караван, возводить храм — они долговечнее человека». Духовное строительство неотделимо от строительства материального, физического, которое парадоксальным образом обретает метафизическую значимость. Любая наука, любое ремесло и искусство могут служить подспорьем для духовной реализации человека. Всякая деятельность во внешнем мире, если только она освящена духовно и соответствует космическому миропорядку, способна производить глубокие перемены в том, кто ею занят. Ремесло равнозначно священнослужению, создание прекрасной вещи — путь к осуществлению самопожертвования. Эти и сходные с ними мысли разбросаны по всей книге. Экзюпери находит для них поразительно проникновенные и поэтичные средства выражения. Вспомним строки, описывающие слепого старика, кряхтящего, словно старое кресло, и медлящего с ответами на вопросы, потому что прожитые годы затуманили в нем смысл слов: «Но тем осмысленней, тем проникновенней веяло от него работой, на которую он положил жизнь, веяло от узловатых рук, от дрожащих пальцев, — уже не вещественной, но ставшей благоуханным ароматом. Благодаря ей он чудесно отъединялся от своей коснеющей плоти, становясь все счастливее, все неуязвимее. Нетленнее. И приближаясь к смерти, чувствовал не ее леденящее дыхание, а дрожь мерцающих звезд у себя в руках».

Обжитой, очеловеченный трудами поколений Космос предстает в книге Экзюпери то в образе реального, насколько это возможно, города или дома, то в виде оазиса среди песков, то в виде храма, то в облике корабля. И каждое из этих жилищ, обиталищ, укромов, обителей вновь сравнивается с телесной модальностью человека, одухотворенной незримым присутствием Божественного: «Без сердца нет дома». Космос, храм, дом, человек — все это представленные в разных масштабах проявления одной и той же сущности — Цитадели, которой постоянно противопоставляется другая тема, носящая теньевую, а то и откровенно зловещую окраску. Это тема «термитника», «муравейника», где кишат человекообразные, но утратившие свою человеческую суть создания.

«Муравейник» — негатив Цитадели, пародия на нее. «Тараканы», «муравьи», «термиты» — антиподы строителей духовной твердыни. Созидатели Цитадели — «живые камни», обитатели «термитника» — «пустые горшки, выстроившиеся вдоль дороги». Первые привыкли дарить и жертвовать, вторые — кланчить и хапать. Строитель — это живая алхимическая печь, атанор, в котором преобразается человеческое естество. Пожиратель — это «прожорливая печь, сжигающая человеческую плоть». Один «сбывается в Господе», в другом «искажается Его лик».

Не стоит, пожалуй, сгущать краски и говорить об антибуржуазной направленности как об основной теме «Цитадели». Ее автор не имел ничего против «свободного предпринимательства», «частной инициативы» и «рыночной торговли»: в его царстве полным-полно свободных ремесленников, предприимчивых караванщиков и даже куртизанок, «купающихся в цветочном молочке». Но в то же время не уставал повторять: «Хлеб — насущен, человек должен быть накормлен, голодный — недочеловек, он теряет способность думать. Но любовь, смысл жизни и близость Богу важнее хлеба. Лавочнику, распухшему от безмятежной жизни, я предпочитаюномада, он всегда бежит по следам ветра, и служение такому просторному Богу совершенствует его день ото дня. Бог отказал в величии лавочнику и дал его номаду, поэтому я отправляю мой народ в пустыню». Единообразие, унификация, однобоко понимаемое равенство принадлежат к числу понятий, особенно ненавистных для автора «Цитадели». В притче о беженцах-берберах развивается мысль о том, что пресловутое «равенство» способно превратить человека в «домашнюю скотину», подавить в нем любое творческое усилие: «Безысходное рабство там, где толпе дано право уничтожать человека». «Расплоди тараканов, — пишет Экзюпери, — и у тараканов появятся права. Права, очевидные для всех. Набегут певцы, которые будут воспевать их. Они придут к тебе и будут петь о великой скорби тараканов, обреченных на гибель».

Одно дело — «благое сотрудничество», совсем другое — коллективизм муравейника, будь он буржуазным, национал-социалистическим или коммунистическим, безликое скопище, неспособное тратить себя ни на что большее, чем оно само: «на дом, родину, Господнее царство».

Тема «таракана», «недочеловека» естественным образом наводит на мысль о сопоставлении мистико-моральных позиций Экзюпери и Ницше. Автор «Цитадели» никогда не скрывал своего восхищения трудами немецкого философа: «Я просто обожаю этого типа!» Это обожание, как любое из проявлений чувств у Экзюпери, не было, разумеется, абстрактным. Перелистав хотя бы десяток страниц его книги, мы начинаем понимать, что он то и дело вводит в текст аллюзии на те или иные формулы Ницше, развивает их, углубляет, отрицает, осмысляет, дополняет. Несправедливый и, в сущности, холуйский взгляд на Ницше как на певца «белокурой» и даже «белобрысой» бестии был, разумеется, глубоко чужд французскому писателю. Экзюпери понимал, что такое толкование, называя его хулой или хвалой, простительно лишь для тех, кого он сам именовал «муравьями» и «тараканами». «Сверхчеловек» Ницше, с его призывами к восхождению и преодолению, имеет много общих черт с владыкой Цитадели, уверенным в том, что «вне пути и восхождения ничего не существует». «Переход», «мост», «переправа» — все эти слова нужно, разумеется, понимать в духовном смысле — мы очень часто слышим и из уст ницшевского Заратустры: «В человеке важно то, что он мост, а не цель; в человеке можно любить только то, что он — переход и уничтожение». «И вот какую тайну поведала мне жизнь, — продолжает Ницше. — Смотри, говорила она, я всегда должна преодолевать самое себя». Размышлениям о преодолении и восхождении целиком посвящены XXXII—

XXXV главы «Цитадели». «Таракан» Экзюпери и «моргающий человек» Ницше неспособны выпростаться из своего ничтожества, как бабочка из кокона, преобразиться, стать людьми, из которых рождается храм. Для них главное — польза, а не «возрастание в человеке человеческого», они не знают, но хотят знать, что «человек есть мост, а не цель».

Экзюпери не менее, а может быть, и более требователен, а порой и беспощаден к человеку, чем Ницше. В его царстве не рассуждают о «правах человека». «Люди нередко ошибаются, требуя уважения к своим правам, — пишет он. — Я озабочен правами Господа в человеке». Тому, «кого сгноило призрачное счастье потреблять готовое», нет доступа в его Цитадель. И нам, русским читателям его книги, не мешало бы поразмыслить о том, не слишком ли мы рьяно взялись не только насаждать в нашей многострадальной стране пресловутые «рыночные отношения», но и восхищаться сопринродной им «моралью». Ведь цивилизация, по Экзюпери, «держится на том, чего она требует от людей, а не на том, чем она их снабжает». «Поймите, — восклицает он в статье «Мораль необходимости», — мы обмануты нашими поверенными. Всеми этими ничтожными паразитическими наростами... Всеми этими буржуазными наростами, укрытыми от ветра, солнца и звезд». Воистину пророчески по отношению к России звучит и еще одно его положение — из той же статьи: «Мы возлюбили свободу и один за другим разломали шпангоуты нашего корабля. И были за это наказаны: в трюм хлынула вода. Поймите, нам надо вновь переменитьсь. Вновь обратить в страсть то, что стало привычкой, пожертвовать тем, чем так удобно обладать. Отжившее — это вовсе не натиск моря, но негодный корпус нашего корабля».

Корабль, как говорилось выше, — тоже одна из ипостасей Цитадели. Корабль, ковчег — древний символ последнего укрытия во время вселенского потопа, того укрытия, где хранятся начатки будущего мира. Это символ храма и — шире — церкви, помогающей людям переправиться через бурное море бытия. Именно в таком качестве он то и дело всплывает на страницах «Цитадели». Корабль — храм, корабль — царство, корабль людей — «без него им не добраться до вечности». Кораблик, изображенный на старинном гербе Парижа и снабженный гордым девизом «*Fluctuat, nec mergitur*» («Его захлестывают волны, но он не тонет»), — Экзюпери, конечно же, помнил и об этом, знакомом любому французу образе. Символика корабля, как, впрочем, и многих других фундаментальных тем «Цитадели», воистину неисчерпаема. О «ковчеге» как хранилище трансцендентного в человеке проповедовал Майстер Экхарт; немало страниц посвятил космической символике ковчега вскользь упомянутый выше Рене Генон. Интересно было бы сопоставить корабль-царство Экзюпери со знаменитым стихотворением Мандельштама «Сумерки свободы», где говорится о гибели «корабля времени», «корабля-государства» и попытках спасти его:

В ком сердце есть — тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идёт.

Здесь мне в который раз хочется подчеркнуть, что и образ строящегося, пересекающего океан, тонущего корабля тоже подан не в абстрактном, аллегорическом или морализаторском плане, а в виде пластичной и живописной картины, изобилующей конкретными подробностями и даже специальными терминами: «Бог сызнова лепит море. Я слышу треск мидель-шпангоутов. У них не должно быть голоса, они для нас основа основ, наш костяк и опора». «Оглушительный, похожий на раскат грома треск раздирал деревянную обшивку. Корабль наливался тяжестью и, падая, готов был раздавить сам себя. Его падение выжимало из людей рвоту».

Такая же пластичность и конкретика, такой интерес к броской и

в то же время глубоко символичной детали, придающей изображаемому поразительную достоверность, подкупает нас и в многочисленных упоминаниях колодца. Колодец, «источник воды, текущей в жизнь вечную», — это та же Цитадель, но растущая не ввысь и вширь, а вглубь. Без Колодца «жизнь превращается в призрак, в тень, отброшенную беспощадным солнцем». Экзюпери сравнивает колодец с соснами матери-земли, к которым спешит прильнуть все живое, с подземным святилищем, возле которого чувствуется «присутствие Бога». Сознательно или неосознанно следуя знаменитой алхимической формуле, согласно которой «то, что наверху, подобно тому, что внизу», автор нередко совмещает в одном пассаже образ колодца с образом неба и небесных светил: «Так глубок был этот колодец, что вмещал в себя только одну звезду. Но грязь окаменела в колодце, и звезда в нем погасла». Смысл этого отрывка — в уже отмеченной выше взаимосвязи, взаимоответственности небесного и земного, божественного и человеческого: в заброшенном, заметенном песками колодце иссякает влага и гаснет звезда; то же самое происходит и в зачерствевшей, заскорузлой человеческой душе. Колодец обращается в мертвенное Зеркало, выпивающее человеческую суть, равно враждебное как звезде на дне колодца, так и стремящемуся к нему каравану: «Смерть звезды на пути каравана губит его вернее, чем вражеская засада». «Вода бывает нужна и сердцу...» — писал Экзюпери в «Маленьком принце». Это та самая «вода живая», о которой говорится в Евангелиях и Апокалипсисе, образ бессмертия и вечного блаженства; это ведическая сома и авестийская амрита, дарующие «чувство вечности» тем, кто их вкушает.

Мотив «духовной жажды» постоянно присутствует как в художественных произведениях Экзюпери, так и его публицистике, не говоря уже о письмах. «Сейчас в душе пустыня, где умираешь от жажды», — пишет он матери в 1940 г. «Я изо всех сил ненавижу нашу эпоху, когда человек умирает от жажды», — это из письма генералу Х., датированного 1943 г. «Ах, генерал, — продолжает он, — весь мир поставлен перед одной проблемой, одной-единственной. Вернуть людям духовную значительность. Духовное беспокойство. Омыть их слух чем-нибудь вроде григорианского псалма... Невозможно и дальше жить ради холодильников, политики, игры в белот и кроссвордов! Это невыносимо». А вот что говорится в уже цитированной мною статье «Мораль необходимости» по поводу религиозной и духовной жизни тогдашней Европы; вернее сказать, о ее безрелигиозности и бездуховности: «Первый парадокс для человека — это Бог. А вы не желаете сражаться за Бога... Мы выстроили собор, а потом он был отдан не Великому Архитектору, но церковным служкам и старушкам, сдающим напрокат стулья. Собор был построен для того, чтобы в нем сдавали напрокат стулья... Но я наотрез отказываюсь смешивать сдачу стульев напрокат со смыслом собора...» Все эти отзывы, то трагические, то язвительные, свидетельствуют о том, что Антуану де Сент-Экзюпери, как и многим его современникам, было душно в атмосфере, созданной «гниением души», было тесно в стенах католического храма, куда заглядывают лишь лицемеры и пустосвяты. Для писателя-воина было неприемлемо деление верующих на «ортодоксов» и «еретиков»; он, как и всякий мистик, не порывая живой связи с Традицией и Откровением, с некоторых пор стал считать для себя чересчур обременительным груз окостеневших, превратившихся в мертвую букву догматов и обрядов. Он не сделался «антихристианином», как его предшественник Ницше, не перешел в Ислам, как его современник Генон, его последняя книга одухотворена и пронизана библейскими и евангельскими темами и вариациями, но в личностном плане он отстранился от современного ему католицизма, сделав шаг в сторону других ветвей

авраамической традиции — в сторону ветхозаветного монотеизма, Ислама и, как ни странно, православной мистики, — уж слишком отчетливо звучат в «Гимне тишине» мотивы греческого исихаста Григория Паламы, учившего, сколь важно «внимать себе в безмолвии».

Теория «посланичества», «вестничества», о которой я вскользь уже упоминал, ненавязчивым, но явным пунктиром пронизывает всю ткань «Цитадели». Теория эта — исламского происхождения. В суфийских писаниях, как древних, так и современных, подробно разработана тема «наби», пророка, «которому говорит Аллах». Там проводится различие между «наби», приобщившимся к тайне Бога посредством собственных размышлений и видений, и «расулом», получившим явное откровение. В переводе на общедоступный язык это различие сводится к различию между мистиком, свершающим свой духовный путь как бы вслепую, наугад, и эзотериком, который получил ритуальное посвящение и тем самым обрел непосредственный доступ к сокровищам «традиционных» знаний. Экзюпери был мистиком, Генон — эзотериком. Однако нелишне добавить, что, согласно суфийским представлениям, «наби» ближе к Богу, чем «расул», ибо ему потребовалось больше жертвенности и самоотвержения для познания Абсолюта; он, по словам Экзюпери, сам «износил бывшее царство, которое никто не мог бы омолодить». Он добровольно «взял на себя всю тяжесть мира».

Неоспоримо влияние на Экзюпери религиозно-этических положений Корана, его стилистики, его поэтики. «Цитадель» можно безо всякого преувеличения назвать «Подражанием Корану», куда более грандиозным, чем пушкинские «Подражания». Наше понимание этой стороны вопроса осложняется поверхностным знакомством с текстом священной Книги мусульман и полным невежеством в области его традиционных толкований. Однако внимательный читатель, хоть раз в жизни открывший русский перевод (вернее, грубый подстрочник) Книги, не может не заметить, сколь многим «Цитадель» обязана «сильным и поэтическим» образам Корана, его «странным риторическим оборотам», его «смелой поэзии». Как и подобает подлинному «наби», автор «Цитадели» не философствует и не аргументирует, он не столько излагает идеи, сколько изрекает духовные истины. Он сопрягает максимально далекие друг от друга понятия, чтобы от их столкновения вспыхнул тот самый ОГОНЬ, о котором, как говорилось выше, писал в своем «амулете» Паскаль. Возрождая приемы коранического красноречия, Экзюпери обрывает на полуслове напряженную тираду и обращается к новой теме, чтобы несколькими строками (или страницами) ниже вернуться к незаконченной линии, обогатив ее только что родившимися образами или оттенками смысла. Он на глазах у нас экспериментирует со словом и символом, нащупывает те или иные способы их сочетания и взаимовоплощения, он дарит нам редкостную возможность присутствовать при таинстве рождения своих притч и гимнов, наставлений и псалмов.

Согласно исламской экзегетике, смысл всего Корана заключается в его первой суре (главе), смысл первой главы — в ее первом слове — «бисмиллахи» («во имя»), смысл первого слова — в букве «ба», смысл буквы «ба» — в диакритической точке над ней, символизирующей Бога до начала творения, олицетворяемого черным Камнем.

Равным образом можно сказать, что суть «Цитадели» заключена в ее первом слове — союзе «ибо», предполагающем нечто бывшее ранее, связанным с чем-то предыдущим. Это предыдущее здесь не сформулировано, заменено формулой умолчания. Перед союзом «ибо» нужно представить себе книгу, неизмеримо более грандиозную, чем написанный и наговоренный текст «Цитадели», книгу мистического опыта, вмещающего в себя все мироздание, — ту самую Книгу, в виде которой, как мы помним, «снизошло в мир Откровение».

Известно, что строительство «Цитадели» совершалось не совсем обычным — по крайней мере, для самого Экзюпери — образом. Писатель чаще всего наговаривал ее текст по ночам на диктофон, а потом правил расшифрованную и перепечатанную машинисткой запись. Благодаря этому, читая «Цитадель», мы в известной степени можем почувствовать живую интонацию его голоса, сохраненную на страницах книги примерно с той же достоверностью, с какой речи Мухаммада сохранялись в памяти его первых слушателей. И кто знает, сколько бы мы потеряли, если бы писатель, вняв увещаниям своих критиков, биографов, а то и переводчиков, принялся «редактировать» свой текст, превращая его, согласно известному присловью, из живого кедра в телеграфный столб...

Примерно те же самые мысли приходят мне на ум, когда я вновь и вновь задумываюсь над упреками в «незаконченности» «Цитадели». Много бы мы приобрели, если бы военный летчик Антуан де Сент-Экзюпери благополучно вернулся 31 июля 1944 г. на свою летную базу на Корсике и продолжил работу над книгой? Еще несколько мотивов получили бы новую огласовку, еще несколько камней легли бы в стены Крепости, еще несколько побегов зазеленело бы на ветвях исполинского Древа. Но разве не ясно, что Цитадель — это модель мироздания, и не нам, жителям Планеты людей, сетовать на его незавершенность: «завершенный город — некрополь». И разве сам Архитектор и Садовник не напоминал нам, что «люди живут отдавая, а не получая»?

Мы и так получили от него бесконечно много.

От него — и от Марианны Кожевниковой, переводчицы этой книги, щедро отдавшей чуть ли не половину жизни, чтобы мы могли, наконец, познакомиться с одним из самых глубоких и необычных литературных произведений XX века. Вникать в него нелегко даже в переводе — мы привыкли к верхоглядству, «снятию пенок» и «чтению по диагонали».

Легко и приятно в летнюю жару выпить залпом стакан газировки, а зимой, с морозу, тяпнуть рюмку водки. Но невозможно проглотить одним духом даже малый корец мёду — у него другая плотность, другой «удельный вес». Именно такова на вкус поздняя проза Экзюпери — ее невозможно глотать, ее надо вкушать.

Поблагодарим же Марианну Юрьевну, поднесшую нам целый том этого словесного меда, за ее подвиг преодоления, претворения и дарения.

Преодоления темнот и зияний оригинала, его мучительного синтаксиса и парадоксальной лексики.

Претворения его иноязычной плоти и крови в мёд и соль, радость и боль родной для нас речи.

И дарения нам, простым читателям, того подлинного чуда, которым по праву может быть названа «Цитадель», воздвижению которой пока не видно конца.



В. Г. Короленко ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ПОРТРЕТ

*По неопубликованным письмам В. Г. Короленко к родным
(1892—1919)*

15 ноября 1904, Петербург.

Сегодня пошли в цензуру мои «Воспоминания о Чернышевском». Мы с мамой сегодня прочитали корректуру, я кое-что исправил и — пустили! Может быть, наконец, они и появятся законным образом в свет⁵⁰. Получишь книжку (ноябрьскую) «Русского богатства» — и увидишь их; или — еще не суждено. А подумываем и о «Чудной»⁵¹. <...> Еще обнимаю тебя, моя Сонюшка. Рад, что ты уже все-таки «проехала некоторое расстояние». Как и на велосипеде, ты будешь ездить хорошей: «не ворухнешься». Познакомся поближе со своим дідом и бабой. От них поучись малороссийскому языку.

27 ноября 1904, Петербург. С. В. Короленко.

Какие тебе сообщить новости? Нас все еще не отпускают из-под цензуры. Это старается Главное управление — своего рода чиновничья инерция. «Банкеты» вроде нашего, оказывается, были и в других городах, и наше заявление только отличается наибольшей определенностью. В «Руси» появилось известие, что в Москве предстоит перемена: уходит вел. князь Сергей. Это — оплот реакции. Поговаривают также об уходе Муравьева. Газеты необыкновенно осмелели: в «Сыне отечества» были приведены все фамилии подписавшихся на нашем банкете (601 подпись) и, кроме того, теперь в редакции присылаются и тоже печатаются письма из публики. Проят, дескать, присоединить и наши имена... Правда, «Сын отечества» получил уже (в 10 дней) два предостережения...

19 января 1905, Петербург. Е. С. Короленко.

(После 9 января вся редакция «Русского богатства» (Н. Ф. Анненский, А. И. Иванчин-Писарев, А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин и П. Ф. Якубович) была арестована.)

Кажется, их скоро выпустят, так как теперь для всех становится очевидно, что среди страшного возбуждения, с одной стороны, и гнусной трусости со стороны администрации, вызвавшей кровопролитие (больше тысячи убитых и раненых), — наша депутация писателей являлась единственной представительницей ума и порядка. Если бы их послушались, не было бы этого позорного расстреливания безоружных, окончательно заклеившего в глазах всего света падающее самодержавие.

Вчера Трепов вызывал к себе редактора «Наших дней», вместо которого явился Ганейзер. Если ты читала третьегодний № «Наших дней», то видела, что поговорить Трепову было о чем. Он то грозил, то

просил «обождать». В середине «будущей недели» все должны увидеть, что реформы не прекратились и правительство имеет в виду какие-то важные меры... Растерянность в администрации очевидная, не знают — хватать или выпускать, грозить или просить... Они ждали, что подлое расстреливание безоружных наведет ужас. Это, конечно, так и было, а отчасти и есть. Но результаты далеко не соответствуют ожиданиям. Наряду с угнетением идет страшное негодование. А из провинции вести о растущем подъеме общественных требований. Даже в Симбирске меньшинство (18 против 22) противопоставило покорным заявлениям свои, очень резкие. В Саратове, говорят, под петицией собрано больше 10 тыс. подписей...

Сегодня мы собираемся в межредакционное собрание для обсуждения, как вести себя ввиду ареста товарищей. Теперь настроение сравнительно спокойное, и это отлично. В литературной среде угнетения нет и следов, но, слава Богу, нет и истерики (что проявлялось отчасти в тревожные дни).

27 января 1905, Петербург. Е. С. Короленко.

Выйдет книжка — вздохну с облегчением. Теперь времена такие, что ни в чем уверенным быть нельзя. Между прочим, в начальники Главного управления назначен Назаревский (из Москвы). Говорят, что это плохо: он привык там теснить печать и привык, что печать ему уступала... Кроме того, по-видимому, бюрократическая Москва переселяется в Питер (Трепов, Булыгин, Назаревский), а это значит, что растет влияние Сергея Александровича. Но... у нас это все гадательно, и мы, вообще, не унываем. В газетах появились тексты заявлений фабрикантов и инженеров. Под заявлением последних, говорят, подписался Витте, как инженер-технолог!..

30 января 1905, Петербург. С. В. Короленко.

28-го была панихида по Михайловскому в Казанском соборе. Народу было больше тысячи человек, полиции тоже много. По окончании панихиды публика чего-то ждала, и я нарочно остался, чтобы в случае чего уговорить... Наконец, начали расходиться, но молодежь запела. Тогда из дворов и переулков выехала эскадра жандармов и вышли пешие отряды полицейских... Обошлось, однако, благополучно.

8 февраля 1905, Полтава. С. В. Короленко.

Из моих товарищей по редакции не освобожден один Пешехонов, но обещают отпустить и его. <...> Москва еще полна отголосками трагедии с кн. Сергеем Александровичем⁵², но в общем — население Москвы к нему относилось очень плохо.

13 февраля 1905, в дороге.

Дорогая Дунюшка. <...> Со мной в купе едет «патриот», который вследствие своего «патриотизма» утверждает, что русский народ негодяй и пьяница, которого надо драть... Это единственная неприятность в дороге. И кажется — до самого Петербурга.

8 марта 1905, Полтава. И. Г. Короленко.

А засим у меня такой проект. Я, вот уже лет 8 и даже более, собираю и группирую материал из газет по разным вопросам и теперь являюсь единственным в России обладателем очень своеобразной коллекции бытового материала. Мы с Дуней занялись теперь его систематизацией, и я вижу, что мне нет никакой возможности справиться с этой горой фактов. Между тем, это очень интересная вещь, и если бы ты, со своей обстоятельностью, захотел войти в это дело, разобрать вопрос за вопросом и выбрал бы то, что тебе по душе, то мог бы не торопясь, помаленьку написать любопытную книжку-другую. Теперь время как раз пересмотра прошлого, и для поучения на будущее можно бы дать очень интересные картины. У меня, например, есть материал о деятельности земских начальников с самого введения этого института. Потом о церковно-приходских школах; полиция, администра-

тивный порядок, духовенство, дворянство, постепенное возрастание беспорядков и сопротивлений, которые теперь охватили всю Россию, раскол-сектантство, брожение в этой области и преследования и т. д., и т. д. Для начала ты мог бы взять какой-нибудь небольшой отдел и справиться с ним. А затем и дальше. Кое-что мы бы могли бы сделать вместе, а то и ты один. Как хочешь... Эх, ей-Богу, как было бы хорошо!

26 марта 1905, в поезде. Е. С. Короленко.

Со мной едет офицер (в Харбин). В папахе вид у него устрашающий, но без папахи — добродушный, болезненный и нервный. Вдобавок нездоров: все кашляет... Смотрю и жалею: что за воин! А все-таки собирается сначала победить японцев, потом усмирить окраины, наконец ввести реформы, «потому что наш строй никуда, действительно, не годится».

30 марта 1905, Петербург.

Дорогая Наталочка. Как поживаешь? Что подделываешь? Помнишь ли обещание писать? Дорогой, между прочим, я купил «Юрия Милославского», три поэмы Козлова, среди которых и «Наталья Долгорукова» (я говорил тебе, что эта поэма, так сказать, предшественница некрасовских «Русских женщин»), и еще чрезвычайно интересную книжечку «Рассказы из времен Меровингов» Огюстена Тьерри. «Юрий Милославский» у нас на близкой очереди, и если ты его не достала в библиотеке, то он все-таки у нас есть. А Тьерри прочтем со временем. Я подберу целый ряд таких же классических вещей по общей истории. Потом от истории перейдем к общественным наукам.

5 апреля 1905, Петербург.

Дорогая моя Наталочка. Очень рад, что тебе понравилось и заинтересовало чтение Соловьева. Эти главы — лучшее из всего остального именно потому, что он в них вложил все понимание русской истории, и если уметь разбираться, то этот же процесс продолжается даже теперь — и даже в некоторых наших действиях. Мне отчасти понятно также и то, что ты запуталась в позднейшем, так как не читала предыдущего с такой же подробностью. А ты еще не написала мне, как с указателем справляешься? Помнишь: справиться насчет исторических лиц, упоминаемых в «Бусурмане» и «Серебряном»? А я, между тем, здесь приобрел у букинистов еще несколько исторических романов: из времен Петра, Екатерины II, Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны, Павла, а один даже — из времен Владимира Святого... Целый запас, по которому параллельно с настоящей историей познакомимся с прошлым. Если тебе надоест однообразие, то можно будет на время переменить предмет.

7 апреля 1905, Петербург. Е. С. Короленко.

У нас тут идет «съезд писателей». Участников 130, от нескольких десятков газет, в том числе много провинциальных. На меня возложили вступительную речь, которую я написал и наполовину читал, наполовину говорил. Настроение у меня особенного не было, но сошло изрядно именно потому, что написано. Речь, вероятно, появится в «Праве». Съезд идет довольно интересно. Между прочим, есть представители печати кавказской, польской, латышской, малорусской, финляндской. Кавказцы сообщили много интересного. Ведь у них там уже льется кровь и крестьянство заявляет свои требования. Аграрный вопрос в ходу, и необходимо найти какие-нибудь формы его мирного разрешения... Но в общем все-таки съезд поставлен не вполне правильно: имеется в виду не то профессиональный союз, не то политический, и постановления — не то принципы для программы, не то платформа. Все сознают, по-видимому, эту двойственность. Я лично из заседаний выношу все крепнувшее намерение оставаться в сфере писательства.

Тут я — я, а практика организации — не по мне. Да и теперь и перо — оружие в общественной борьбе.

25 апреля 1905, Полтава. И. Г. Короленко.

Вернулся я, брат, в Полтаву из Питера, усталый как собака. Трепался по заседаниям, съездам, принимал резолюции и все время чувствовал, что это дело не мое и что я боец только пером, а не активной политикой: так это меня утомляет и так меня в это самое время тянет к столу и бумаге.

27 августа 1905, Полтава. Всему семейству.

Дорогие мои. Проводив вас, решил от огорчения низвергнуться в пучину, для чего и отправился прямо с вокзала в уединенное место в купальнях Полякова. Но, кинувшись в холодные воды Ворсклы, почувствовал, что на свете есть еще удовольствия, почему остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю. Наталка тоже здорова, и вчера у нее были вечером именинные гости, больше девицы.

31 августа 1905, Полтава.

Дорогой Перчик. Сейчас получил твое письмо. <...> Если у тебя было намерение как можно больше причинить мне боли, то ты можешь быть удовлетворен: мне действительно очень больно. <...> Я думаю, что и любовь, и дружба требуют не того, чтобы всегда соглашаться во всем, а того, чтобы откровенно говорить свое мнение. Я тебе много раз говорил и теперь повторяю, что не во всем согласен с твоим образом действий. Не сердись и пойми меня, Перчик, потому что, клянусь тебе, я чувствую в данную минуту не горечь и не полемическое настроение, а горячую к тебе любовь и желание быть понятным. Вот в чем, по моему, дело. У нас, в Нижнем, был кружок, связанный дружбой и взаимным настроением. Хорошее было время, и, кажется, все мы были тогда лучше. Для удержания этого нижегородского настроения купила Джанхот. Это оказалось утопией: нижегородское настроение распалось, общение исчезло, Джанхот этой связи не восстановил. Вместо отношений дружеских и «бессчетных» явились «деловые», причем — что всего хуже — эти деловые отношения остались перепутанными с прежними неделовыми. Ни Сергею Дм., ни Гориновым уже в Джанхоте никакого интереса не было. Это была неприятная ошибка, общая ошибка, правда, которую и я чувствовал очень больно. И что мне было особенно больно — это то, что некоторый неденежный интерес к Джанхоту остался только у нас, а другие оказались привязанными к нему лишь формальным договором. И я считал и считаю не совсем правильным с твоей стороны, что ты слишком стоял на всех деталях этой формы, не считаясь с печальной подкладкой этой общей ошибки.

Одним из эпизодов явился «Листок»⁵³. Ты был формально прав по всем пунктам, но неправильно было то значение, которое ты придавал этой формальной правоте в своем полемическом увлечении спором. Ведь сущность спора состояла в том: Протопопов желал сначала сохранить те связи и то хорошее, что было в Нижнем и что всем нам, и ему в том числе, давало когда-то очень много. Скоро он увидел, что этого уже нет и что пытаться восстановить это не стоит. И если перевести на грубый язык всю его полемику с тобой, то выйдет вот что: «Было хорошее время, когда я готов был поступиться материальными соображениями, чтобы только сохранить «общение». Теперь этого нет, я ошибочно впутался в эту историю, тратить на это деньги не хочу и думаю только, как выйти из этой трогательной идиллии с наименьшими убытками. Выпустите меня, пожалуйста». Ты на это отвечаешь: «А мне какое дело!» Он ушел, сделав уступки, а потом нашел, что за увлечение идиллией заплатил слишком дорого, и стал требовать отдачи (хотя и не в свою пользу) части им уступленного. Это было неправильно и по существу, и по форме и особенно меня огорчало потому, что подчеркивало гибель всего прежнего: Сергей Дмитриевич расценил

это все и находил, что поплатился слишком дорого. Речь шла о пустяках, о которых прежде он и говорить бы не стал. Прости, Перчик, постарайся не сердиться и выслушать все так, как я говорю. Меня огорчало именно твое формальное отношение к этому вопросу и то, что ты, в жару полемики, совершенно игнорируешь эту подкладку и потому так настаиваешь на своих правах по «Листку» во всей их полноте. <...> По моему мнению, ликвидировать эти отношения было бы хорошо, но нужно это сделать спокойно и серьезно. Затем, когда поедешь в Нижний, то постарайся оставить в Одессе свое раздражение (в том числе и на мое неудачное вмешательство) и посмотри, не сможешь ли ты что-нибудь сделать для спасения газеты, как несомненно хорошего общественного дела. <...>

Ну, обнимаю тебя, дорогой мой Перчина. Неужто нам на старости лет язвить друг друга и заподозривать свои взаимные чувства? Бросим, брат, это дело, не будет ли легче доживать на свете.

4 сентября 1905, Полтава. С. В. Короленко.

Твое настроение, твоя бодрость, твое веселье и смех — для меня все равно что солнце. Если я этим летом все-таки начал самую трудную для меня работу⁵⁴, то это потому, что, уходя к себе наверх, я уносил с собой воспоминание о том, что вы обе здоровы и веселы и что ваше настроение поправилось. Это потому, что вы обе — часть моего существа. Это вещь естественная, и всегда так бывает, что родители живут детьми. Закон природы! — как и то, что дети не могут в такой же степени жить родителями. Это, Сонечка, не упрек а факт, упрек будет дальше. Дети смотрят больше вперед, на всю жизнь, и это натурально. Но я иной раз, и довольно часто, думаю, что мы для вас значим немножко меньше, чем бы следовало, даже принимая в соображение этот закон природы. Твое настроение тотчас отражается во мне, но мое для тебя — ничего. Я не знаю, что бы не сделал, если бы видел, что тебе это *нужно* и ты об этом просишь. Ты для меня не могла отказаться *хоть один раз* от нездоровых и вредных бессонных ночей, даже когда думала, что и я от этого впадаю в бессоницу. Я бы это понял, если бы речь шла о требованиях, с которыми ты принципиально не согласна. Но тут речь шла о вредной прихоти, которую и ты сама признавала вредной <...>. Не смейся над всеми этими советами, потому что вообще над тем, что диктуется горячей любовью, смеяться не надо. И если бы ты захотела усвоить основной смысл того, что я тебе говорю и повторяю, то увидела бы, что это правда. В человеке есть такой уголок души, где сидит его *воля*, т. е. то душевное (или мозговое, как хочешь) свойство, которое управляет всеми остальными. Стоит почаще пускать его в ход, несколько раз победить и усталость тела, и особенно те склонности, которые вызывают усталость, — как ты увидишь, что эта *управляющая сила* крепнет, а то, с чем приходится бороться, — слабеет. А раз ты это заметишь сама, — все сделано. С твоего возраста человек может сделать себя *железным* и физически, и морально. Но нужны, необходимы сознательные усилия воли, направленные на себя.

5 сентября 1905, Полтава. Е. С. и С. В. Короленко.

Оказывается, что вчера, наконец, и в Полтаве разразились маленькие события: на Александровской улице произошла во время обычного воскресного гулянья демонстрация с народной поговоркой и, конечно, с нагайками. По-видимому, все это в довольно скромных размерах: сколько известно, ни убитых, ни изувеченных, ни даже, кажется, арестованных не было. Вчера нам принес это известие уже вечером знакомый, а сегодня сообщила и Елена, вернувшись с базару. Начала она с того, что вчера полиция и казаки били публику безобразно, а на вопрос, как это вышло, ответила, что публика тоже безобразничала:

— Начали кричать: давай самодержавство, давай сюда царя...

Очевидно, слово «долгой» на базаре успели переделать в «давай», нельзя сказать чтобы с полным сохранением смысла.

12 сентября 1905, Полтава. С. В. Короленко.

Я получил твое ответное письмо. Спасибо тебе за него, и еще раз прости мне это твое огорчение. <...> И если у меня была в письме горечь, то она в значительно большей степени относилась ко мне же: вот, думал я, — ребенок страдает и опять пассивно отдается своему настроению, а ты бессилён и свой голос уже обратил в какие-то старчески-чудаковатые шаблоны. Ты, Сонюшка, поймешь, как мне хотелось, чтобы ты услышала этот мой голос и то, что в нем есть настоящего. <...>

Без горя впереди жизнь, конечно, не обойдется. Пусть будет впереди горе, но для него нужны и силы, а их, Сонюшка, нужно, *необходимо* запастись всеми способами. Один католический святой, основатель монастыря, на упреки, что он слишком много обращает внимания на питание братии и вообще на «тело», — ответил так: «Конечно, я знаю, что наша плоть есть лишь осел, который обречен до своей смерти нести бремя нашего духа, своего господина. Так позаботимся же о бедном ослике, чтобы он мог бодро нести эту тяжесть...»

А мы с тобой, Сонюшка, вдобавок хорошо знаем, что очень трудно узнать то, где кончается ослик и где начинается хозяин. Поэтому заботиться нужно об обоих сразу.

Ну, дело уже немного сошло на шутку. Пусть так и будет.

20 сентября 1905, Полтава.

Дорогой Иларион. Не знаю, читал ли ты в 37 № «Южных записок» совершенно мальчишескую выходку «украинцев» против съезда русских писателей, и в том числе против Милюкова и меня. Я сегодня отослал ответ. Интересно, что, не выждав даже ответа, — они уже открывают кампанию коллективных протестов. Всего любопытнее то, что я на съезде ни с какими речами по национальному вопросу не выступал, а они приводят и мою речь, и победоносные возражения какого-то «остроумного депутата «Киевской старины»!..

Правда, это все со слов какого-то неведомого корреспондента «Самостийной Украины». Но редакция «Южных записок» обнаружила изумительную непроницательность: имея анонимную пачкотню явного Хлестакова, с одной стороны, а с другой — целую группу передовых русских писателей и бюро съезда, выказавшегося за «право самоопределения» и областную автономию, — они помещают статью Стояна, с какими-то ужимками и оговорками читающего азбучную мораль и допускающего со стороны бюро съезда возможность дурацких уверений, что «в России не существует национальных вопросов» и т. п. Я, да и не я один, с большим изумлением читал уже и заметку Л. Ж. в одном из предыдущих №№ «Южных записок», в которой на русскую передовую интеллигенцию возлагается ответственность за то, что холмские униаты тысячами переходят в католичество! Но теперешний эпизод оставляет назади даже и эту наивность. Если «Южные записки» ставят своей задачей пальбу по передовой русской интеллигенции, тогда лучше не ставить имен русских писателей в своем проспекте. Точно так же и я могу сочувствовать подобной задаче и предпочту отвечать на выстрелы, не числясь одним из сотрудников органа, который придумывает или берет явно выдуманные предлоги для своей кампании.

29 ноября 1905, Москва. Всему семейству.

Дорогие мои. <...> Переговоры о газете⁵⁵ не привели пока ни к чему, хотя я сказал, что всего вероятнее — на себя организации дела не возьму. Деньги есть, газета предполагается 3-рублевая, 6 раз в неделю. Вся организация, приглашение сотрудников и т. д. —

возлагается на меня, и вообще — все отдается в мое распоряжение, даже место издания: Москва или Петербург. Есть в этом много заманчивого, но... Потолкую еще в Петербурге с товарищами.

Вчера до часу ночи сидел у Григорьева⁵⁶. Он молодцом, но пережить ему пришлось много. Между прочим, Дума была занята представителями крайних партий (человек 800), которые поставили свои требования (немедленное вооружение этих партий, выдача миллиона рублей на это дело). Дума решила отказать. Гор. голова заболел, тов. гор. головы заболел, гласные разбежались. Григорьеву пришлось надеть цепь и объявить отказ (осталось всего гласных человек 5). Подняли настоящий ад — крики: «Позор! Думы больше нет! Мы — хозяева города!» С одним из гласных тут же случился паралич, с другим — обморок. В толпе особенно бесновался Тан⁵⁷. Наконец, кому-то пришла в голову блестящая мысль: «Нам нечего делать в позорной Думе. Идем в великий университет!». В университет не пустили войска, и все кончилось благополучно. «Московские ведомости» напечатали призыв православного народа «на Красную площадь», чтобы сказать там «грозное слово». В воскресенье собрались довольно жалкие кучки, которым были розданы листки, и пока на этом «грозное слово» покончилось.

4 декабря 1905, Петербург. Е. С. Короленко.

Отношения наши с товарищами по «Русскому богатству» наладились отлично. Вчера до 1½ ч. ночи мы беседовали у Пешехонова, и кончилось тем, что Мякотин и Пешехонов заявили, что «мы» теперь ближе друг к другу, чем когда бы то ни было». Я ехал с некоторым страхом в этом отношении, главным образом, благодаря «Сыну отечества», его тону и узко-партийному направлению, начало которого совпало как раз с вступлением в редакцию Мякотина и Пешехонова. Оказывается, что это — недоразумение. Предполагалось, что газета будет свободна от «тактики», что сама партия преобразуется из конспиративной в открытую, с соответствующими изменениями в ее программе и т. д. Оказалось, однако, что это не вышло, так как существующая организация пожелала превратить газету в орган партии. Совершенно неожиданно для Пешехонова и Мякотина стали появляться статьи, вроде письма Мельникова, призывающего к террору, или заметка третьего дня по поводу нового губернатора Клоачова («желаем поскорее прочитать его некролог»). Вследствие всего этого целая группа с Пешехоновым и Мякотиним предъявляет ультиматум, вследствие которого или газета снимет с себя ответственность за решения центрального комитета и станет органом независимым, или Пешехонов, Мякотин и др. выйдут из редакции. А сил у эсеров для ведения газеты мало. Наконец, возможна еще комбинация, при которой «Сын отечества» станет проводником идей народно-социалистической открытой партии, т. е. отделением «Русского богатства». Во всех этих случаях крайне неприятное недоразумение какого-то конкурбината наших сотрудников с нынешним «Сыном отечества» кончится. В этом смысле на днях должна в «Сыне отечества» появиться статья. Мякотин, между прочим, заявил мне прямо, что они стосковались от вечно-крикливого тона и очень желают видеть в «Сыне отечества» «благородный тон»... моих статей. Это все, конечно, между нами (т. е. в нашей семье). Ты понимаешь, как приятно мне было убедиться, что течение этих бурных дней не разнесло в разные стороны меня и моих старых литературных товарищей. Никогда еще между нами (в том числе и с Мякотиним) не было такого откровенно-дружеского общения. Мы теперь сделаем попытку программно-идейного обоснования нашего направления. Ближе всего еще можно назвать «народно-социалистическим». Это и пытались они провести в «Сыне отечества», но традиция эсеров поглотила эту попытку. Я откровенно заявил, что

целиком не отдам себя никакой партии, хотя бы и новой, но *литературное* направление «Русского богатства» в таком виде готов поддерживать вместе со всеми товарищами. Очень меня все это радует, и поездка моя сюда — не даром.

6 декабря 1905, Петербург. Всему семейству.

Здоров, только ложусь каждый день часу во 2-м или даже третьем. Вчера было у нас бурное заседание Союза печати, которое окончилось, увы, — распадением Союза. Правду сказать, наделали изрядно глупостей, и взрыв явился естественным последствием.

Толкуют о новой общей забастовке, в ответ на репрессии. По делам печати начинается много судебных дел, и, чуется мое сердце, не избежать и мне некоторых из них за «Русское богатство». Ну что ж! Лишь бы дали перьев и чернил. Впрочем, это еще впереди, и до тех пор, если не будет забастовки, еще успею побывать в Полтаве и даже пожить. <...> От московской газетной комбинации отказался. Причин много, и очень уважительных. В «Сын отечества» я не войду, но Мякотин и Пешехонов настояли на независимости газеты от тактики партии. Это все-таки хорошо, хотя для меня этого недостаточно.

4 марта 1906, Мустамяки.

Да, Сонюшка, и мне тоже большое лишение — разлука с вами, и чем бы я ни был занят, я чувствую это лишение очень сильно. О настроении моем не беспокойся. Правда, в Петербурге, при невозможности работать, оно портится, но теперь я опять принялся за работу и потому чувствую себя хорошо. Первый день у меня ушел на письма и деловые мелочи, второй — все принимался и портил бумагу; зато сегодня уже нашел свою колею и вошел в работу. Пишу дальше воспоминания («гимназические годы»), а кроме того, в голове мелькает один публицистический план. Мысль о мелкой полемике со всеми этими литературными шавками, вроде Иваненков, или охрипшими барбосами, вроде Буренина, внушает мне положительно отвращение. Мне хочется поэтому поднять вопрос на некоторую высоту, с которой будет виднее <...>

И от Наталочки получили комплимент за «воспоминания»... Эх, если бы я начал их года три-четыре назад. Теперь не до того, и хотя кое-кто читает, но не так, как читалось бы прежде. Ну, да это второстепенное: дело это все же будет сделано и найдет еще своих читателей. А что дочкам нравится, это для меня много. Для вас это все «история» (правда — близкого человека)...

13 марта 1906, Петербург.

Как тебе, моя Дунюшка, ответить на твой вопрос? Конечно, я ежеминутно чувствую, что нет тебя со мной, но все-таки, Дунюшка, сейчас не зову. Поживи, отдохни. На тебе эта бродячая жизнь отражается сильно, да и детишкам тоже нужно, чтобы хоть один из нас пожил с ними. Правду тебе сказать, я сильно подумывал и сам о Полтаве; меня останавливает только соображение о том, что теперь местные администрации делают что хотят. Николай Федорович пророчит, что у наших полтавских администраторов тоже явится соблазн арестовать меня на основании усиленной охраны, особенно ввиду «выборов»...

Кстати, о выборах. Читаю все в газетах о своей кандидатуре и о том, что присутствие мое на выборных собраниях оказывало бы хорошее действие на выборщиков-крестьян. Все это — фантазия. Я состою под следствием⁵⁸, выбираться не могу, а если бы явился на собрания, то подвергся бы тюремному заключению от 1 до 4 месяцев и выборы были бы недействительны. Это гласит закон о «свободе выборов», я здесь с Ник. Федоровичем наводил справки самые точные, и наши полтавские юристы тоже это хорошо знают. Итак, выставляя меня, они только направляют часть голосов в пустое пространство,

так как реально я ни быть избранным, ни участвовать в выборных собраниях не могу. Я — то самое вредное «постороннее лицо», против присутствия которых администрация должна ограждать «свободу выборов».

Пешехонов все еще сидит. По-видимому, какой-нибудь пустяк, вроде участия в Крестьянском союзе, оглашенном давно в газетах.

21 марта 1906, Петербург. Е. С. Короленко.

Здесь много толков по поводу победы в городах партии к.-д. В общем, это, конечно, хорошо, но нехорошо, что здешние «вожаки» делают глупости, иной раз и принципиальные (например, в инциденте с Гучковым. Оказывается, он даже и не говорил того, что ему приписывали, а они уже поторопились опровергнуть ужасное обвинение в том, что они разговаривали с революционерами. Удивительная вина! И что это будет за политическая партия, которая станет бояться «неблагонадежных знакомств»). Вообще, хотя большинство в столицах и городах высказалось ясно, но... состав будущей Думы все еще большое туманное облако!

17 июня 1906, Хатки. И. Г. Короленко.

Пока кругом все спокойно, хотя разные толки ходят. Конечно, если «правительство» захочет, — погромы могут произойти во всякое время и на всяком месте. Но собственно народ склонен к другому. <...>

Теперь сообщу тебе маленькую семейную, так сказать, новость. Продолжатель нашего рода, Володя Короленко⁵⁹, впутался в амурную историю. Какой-то его товарищ, пом. присяжного поверенного, ввел его в свой дом и, как говорит Володя, смотрел сквозь пальцы и даже покровительствовал его связи со своей женой, дамой поведения даже не двусмысленного. А затем сей муж (кажется, Бойко) запутался в делах и попробовал сдать на Володю заботу об его супруге и трех детях. Тот, конечно, на попятный, и для начала дела муж его снабдил пощечиной. Володя вызвал его на дуэль. Тот отказался. Секунданты Володи (как он говорит, очень «солидные») находят, что теперь он должен побить Бойка палкой... Впрочем, вспоминаю, что я тебе эту историю, кажется, описывал. На всякий случай — докончу, что я посоветовал ему не свирепствовать и удовольствоваться теми глупостями, которые уже сделаны.

26 ноября 1906, Петербург. Е. С. Короленко.

Ты, конечно, знаешь: Гольцева⁶⁰ похоронили в Москве. Мы отсюда послали телеграмму... Много разного вспоминается. Гольцев был «москвич» до мозга костей. В последние годы спился, скандалил, потерял всякую популярность. А все-таки — были у него и хорошие стороны. Уходят люди, а еще так, кажется, недавно мы встречались «друзьями» (хотя и по-московски).

Была у меня барыня, моя корреспондентка. Сидела два часа. Впечатление — ничего. Почти уже старушка, довольно (хотя и не совсем) простая. Беда только в том, что говорит очень тихо, да еще при этом закрывает рот рукой. При остроте моего слуха можешь себе представить приятность двухчасового разговора (а у меня как раз в этот день был насморк, когда «острота слуха» еще усиливается!). <...> Соня сейчас усердно занимается в соседней комнате с Верой Стахевич... пастилой и конфетами. Но так как, кроме пастилы, около них лежат и книги, то — пока она откладывает письмо к вам и только всех целует.

1 декабря 1906, Петербург. Е. С. Короленко.

Здесь все пока идет обычным темпом. Наши «эн-эсы» ездили в Финляндию, где совещались об организации «народно-социалистической партии». Их еще не легализовали, но терпят пока. Что будет дальше? «Русское богатство» вышло, и опять Мякотин терзает кадет.

Редакционного собрания у нас еще не было, но будет на днях. Кажется, у нас произойдет «компромисс», — я разделю редакторство с кем-нибудь из товарищей, оставив себе беллетристику; но это еще только предположения. <...>

Вчера провожали на Волково Гарина-Михайловского. Вот неожиданная смерть. На похоронах народу было мало. Одна из сестер пригласила архиерея, который говорил что-то несуразное, указывая на то, что Гарин всегда писал в «истинно-христианском духе»... К концу явился Сильчевский, растерзанный, пьяный, с диким взглядом и, кажется, тоже говорил что-то на могиле. Я ушел до конца похорон, так как мне стало нехорошо.

4 декабря 1906, Петербург. Е. С. Короленко.

Наше редакционное собрание состоится на этой неделе. Вчера была предварительная беседа у Анненского, которой, в общем, я остался доволен. Я высказал все, что было на душе. Мякотин и Пешехонов очень оспаривали, но, думаю, кое-что и запало (Пешехонов это и сказал прямо). Мне же они сделали тоже довольно справедливый упрек: почему я, со своей стороны, не прислал в «Русское богатство» публицистической статьи с изложением своих взглядов. Тогда все и стало бы ясно, и читатель видел бы, что вопросы тактики не главное в журнале. Пожалуй, и правда. Это надо будет сделать. Пешехонов изложил план ближайшей статьи: на Думу нельзя смотреть лишь как <на> объект для немедленного демонстративного «сорвания» или центр и лозунг восстания. Нельзя также говорить, как кадеты, что Дума должна делать в отведенных пределах свое дело, а страна пусть не мешается... А нужно, чтобы шло параллельно движение страны и Думы. Я возражаю на это, во 1-х, что кадеты не говорят вовсе, что Дума должна изолироваться от движения в стране. Во 2-х, что на общих положениях теперь не отъедешь: что значит «движение в стране»? Кадеты признают одни формы движения, стремясь к закономерности, эсеры и максималисты — другие... «Ну а вы (говорю), эн-эсы, какое же «движение» рекомендуете сами?» Мякотин быстро нашелся: «Вот, например, препятствовать выделам наделов по новому закону» (об общине). Хорошо. Какими средствами? Если воззванием, то это опять «выборгское воззвание»: «делайте то-то». Но за это будут «усмирать» крестьян, а не эн-эсов. А где же у партии связи в общинах, люди, которые «сами бы и исполняли веления партии», как это требует Мякотин в последней статье? Пешехонов насупился и некоторое время стоял молча, как Вий, весь закрывшись бровями и чубом. Все это я гнул, конечно, к тому, чтобы показать товарищам, как легко критиковать чужие программы и тактику. Я сознаю все ошибки «выборгского воззвания», но констатирую их с грустью: русская жизнь вся бьется в заколдованном круге и ищет выхода. И все еще пока мечутся из стороны в сторону и ищут пути. Последовательны вполне лишь максималисты и черная сотня, но эта последовательность как раз ничего не решает. А наш журнал выбрал кадет и терзает их за то, что они не указали выхода. Ну так где же выход «эн-эсов»? «Параллельное движение»... Общая формула, которую каждая партия может наполнить своим содержанием. Мой вывод из этого, который я старался внушить товарищам: большая терпимость к чужим исканиям выхода, широкие соглашения и союзническая, самая хотя бы тщательная, но не враждебная критика взаимных действий.

6 декабря 1906, Петербург.

Письмо твое, сердитое-пресердитое, получил... А между прочим, я перечислил письма совсем не для показания своих заслуг, а потому, что ты мне написала: почему совсем нет писем. Ну я и ответил. За что же реприманд? <...> Эх, Дунюшка, не ворчи ты на меня понапрасну. Знаешь, и без того в Петербурге мне не сладко. Завтра

вот, с 11 ч. утра, опять наше редакционное собрание и опять те же все разговоры. <...> Настроение у товарищей подвинулось без меня довольно далеко в сторону их партии. В Ник. Федоровиче встречаю союзника лишь отчасти. Правда, решено очень твердо: «Русское богатство» — журнал не партийный и должно избегать партийной узости. Пешехонов издает свои программные статьи, которые печатались в «Русском богатстве» и назывались «Наша программа». Все признали, что это заглавие была ошибка, и теперь решено на «Нашей программе» не ставить, как предполагалось, вверху: «Русское богатство». Предстоящая хроника подвергается обсуждению... Но все же... еще не вполне я уверен, что в дальнейшем удастся уберечь журнал от превращения, хоть и не формального, в партийный орган. Будем стараться...

Между прочим, обратили ли вы внимание на высылку из Петербурга иеромонаха Михаила, профессора духовной академии? Он заявил открыто о своей принадлежности к нар.-соц. партии. В академии по поводу его высылки — трехдневная забастовка...

5 февраля 1907, Полтава. И. Г. Короленко.

Из газет ты уже знаешь, что я прошел в «выборщики» от гор. Полтавы. Была попытка привлечь меня к некоему делу, как председателя Полтавской общественной библиотеки, но попытка столь явно вздорная, что прибегнуть к ней прокуратура все-таки постыдилась. Теперь, однако, узнаю, что у них была заготовлена и другая «липа»: после выборов поступило заявление в уездную комиссию, что избранный от гор. Полтавы Короленко в Полтаве не живет постоянно, так как издает журнал в Петербурге. Решено сделать мне запрос и потребовать объяснения. Думаю, что и это у них едва ли выгорит, хотя... своя рука владыка. Штука тем более глупая, что и без того победа «правых» в губернии обеспечена. Очевидно, они питают лестное для меня, но, кажется, тоже напрасное опасение, что я могу нарушить полноту их победы и испортить цельность впечатления...

12 февраля 1907, Полтава.

Дорогой мой Иларион. Ты напрасно так нервничаешь по поводу моей кандидатуры. Хотя я и не избран, но чувствую себя отлично. Мы знали, что идем на провал: администрация напрягала все силы. По целому уезду выборы кассированы совершенно неправильно (10 голосов). То же по одному городу (Прилуки). Затем еще незаконным образом устранены 3 избирателя. Итого — удалено 16 левых голосов, созданы непререкаемые поводы для кассации, и все-таки правые проходили в первый день одним голосом (5 человек!). Что же было бы, если бы не было вопиюще незаконных кассаций? Далее — я все-таки получил абсолютное большинство (2 голоса), а на меня была направлена главная сила их агитации: «Полтавский вестник» каждый день печатал безобразную ругань и клеветы против всех нас вообще, против меня в особенности (я так привык, что этот лай не производит на меня никакого впечатления). И если при таких приемах получились столь ничтожные результаты, то это показывает скорее нашу силу, а их ничтожество, чем наоборот. Это они чувствуют и сами, и многие из них конфузятся и этих результатов, и своего союза с заведомыми погромщиками, каков, например, священник Пирский. Чувство, с которым я шел на баллотировку, было очень сложное: я сначала не думал выступать кандидатом в Думу, а только выборщиком. Потом решил идти, видя, что отступление имело бы вид отступления перед вероятным разгромом. И я не ждал даже того, что получилось. При второй баллотировке у меня не потерялся ни один из наших шаров и прибавилось 4 перебежчика от них. Вышло +82 и —80. Я не попадаю в Думу потому, что при перебаллотировке их кандидаты получили больше на 2 и на 3 голоса. Мы заявили перед собранием, что, неза-

висимо от исхода выборов, считаем выборы незаконными. Теперь я, конечно, огорчен все-таки нашим поражением, но мысль, что мне можно вернуться к своему столу и работе, доставляет мне лично эгоистическую радость. Как видишь, и тебе огорчаться нечем. Все мы смотрели на мой выбор, если бы он совершился, как на тяжелую обязанность. Теперь она снята, и состав Думы от этого изменится мало, да и кассация почти несомненна. <...> Что бы там ни было, а время интересное.

1 апреля 1907, Петербург. И. Г. Короленко.

Так как ты, наверное, тоже прочел в газетах о «приговоре», который прислан в Полтаву четырем лицам (и в том числе мне) от истинно-русских шалыганов*, так как сие может отчасти действовать на твое слабое сердце, то считаю нужным известить тебя, что я жив, здоров и надеюсь пребыть в таком же состоянии и впредь. Анализ сего документа обнаруживает, что он происхождения местного, полтавского. Это, конечно, не лишает его всякого значения, но все же сильно уменьшает таковое и позволяет предполагать, что это — предвыборный маневр, вызванный, вероятно, опасением кассации выборов. Меня сей приговор застает пока в Петербурге, куда я выехал на наше годовичное редакционное собрание и пробуду до Страстной. Кроме того, как раз пишу брошюру о филоновском деле⁶¹, которую, быть может, сначала напечатаю в «Русском богатстве», а потом выпущу в большом количестве. Это будет мой ответ клеветникам. Теперь в моем распоряжении находятся уже официальные документы, так как следствие по моему делу закончено и состоялось постановление о прекращении дела, так как факты подтвердились.

7 июня 1907, в поезде. И. Г. Короленко.

Третьего дня к моей квартире вдруг приставили полицейских, которые стали усердно и грубо переписывать приходящих ко мне знакомых. Меня дома не было. Мне сообщили, что это, по-видимому, предстоит арест. Потом неожиданно выяснилось, что это они охраняют... меня! Якобы получили известия, что на меня намерена покунуться черная сотня. Конечно, пустяки. Просто захотели составить список моих знакомых и их места жительства. Наутро я отправился к губернатору и потребовал немедленного прекращения этого безобразия. Посты сейчас же сняли. Я с самого приезда (с 20 мая) всюду ходил, ездил на велосипеде, днем и вечером, и никто не покушался. А тут вдруг будут ломиться в парадное крыльцо... Сегодня, в заранее назначенный нами день, мы и уехали, причем на улице около дома караулили, с одной стороны, шпики, а с другой — доброжелатели, напрасно встревоженные полицейской демонстрацией... Ну, теперь катим на отдых. А сказать правду, отдохнуть-таки нужно.

11 ноября 1907, Петербург.

Дорогая моя Дунюшка. С первого же дня по нашем приезде начались у нас совещания и заседания, иной раз даже утром и вечером. <...> О внутренних наших трениях разговоры в нашем тесном кружке были и еще будут. Ник. Фед. и (отчасти) Пешехонов — пообмякли, Маледикт⁶² — продолжает кадетствовать. Предстоят большие разговоры о хронике и политике (Южаков не пишет совсем, благодушно довольствуясь получением гонорария и авансов). Пешехонов писал не хронику, а программы. Теперь отказывается. Кудрин, конечно, может его заменить, но мы боимся: писать будет не по-русски, а по-французски... Вообще, вопросов, и притом сложных, много. Несколько дней придется кипеть.

18 ноября 1907, Петербург. Е. С. Короленко.

Мечусь я здесь, «як Марко у пекли», даже девочек вижу хоть

*Бездельников (област.).

каждый день, но иногда мельком. <...> Журнал переживает такой кризис, какого еще и не было. Цензура разъярена и, по-видимому, будет давить. На днях мне придется сходить в Главное управление, чтобы переговорить с Бельгардом и выяснить этот вопрос. А тут и внутри — трудно. Южак с марта месяца не дал ни одного обозрения, а жалованье получает аккуратнейшим образом. Значит, журнал запла- тил уже 800 рублей за обозрения, которых нет и которые пришлось за- мешать другим, платным материалом. Пешехонов отказывается от внутренней хроники, и кем заменить — тоже не знаем. Да, сказать правду, и внутренней хроники у нас не было: Пешехонов все состав- лял не хроники, а программы для эн-эсов. Теперь он, бедняга, судит- ся, и еще неизвестно, чем суд кончится. Может быть, и плохо (года на 3!). И это из-за участия, якобы, в Крестьянском союзе, которое ограничилось тем, что он прочел один доклад по аграрному вопросу. А в знаменитом тогдашнем «Сыне отечества» напечатали тотчас же о его избрании в Комитет и т. д. Теперь мы все озабочены: он ведь не так здоров, чтобы сидеть годы в тюрьме... Ну, будем надеяться еще на снисходительность суда, а все-таки, как видишь, дела наши — та- бак. Только еще подписка этого года была недурна. <...> Зато книги сели совсем. Иду еще я и Михайловский, да и то с уменьшением. Бедняге Петру Филипповичу трудно.

Ну, вот тебе наши дела. Ты спрашиваешь о Думе... Плохо. Ко- нечно, интересно, что она как бы превратилась в Учредительное собра- ние и отказала в самодержавии. Но теперь — наверстывает усиленным раболепством. Вчера вечером принесли огорчительные известия о за- седании: звонкая балалайка Родичев не мог воздержаться от оратор- ской выходки: напомнив о «муравьевских галстуках», он показал жестом на шею и сказал, что когда-нибудь это будет называться «столы- пинскими галстуками». Поднялся огромный скандал. Родичев, как мальчишка, «взял свои слова обратно» (зачем же было говорить)... Ну, остальное знаешь из газет: Родичева исключили на 15 заседаний, и он, и Дума сочли нужным «извиниться» перед Столыпиным. При этом зачем-то встал Милюков, а за ним — и большинство кадет, пови- новавшихся лидеру против желания. Этим фракция как бы еще сама признала, что исключение на 15 заседаний и извинения Родичева, да- леко превосшедшие нужную меру, — недостаточны. Вообще, нравствен- ный удар кадетам огромный, и большой выигрыш Столыпина. И это тем более жаль, что речь Родичева, по-видимому, была превосходная и произвела большое впечатление. Сейчас мы перечитали газеты: наи- лучший отзыв дал Пиленко в «Новом времени». Он признает, что речь была очень хороша, и упрекает правых и центр, что они своим нака- занием мстят теперешнему меньшинству. Вообще — огорчительный эпизод.

21 ноября 1907, Петербург. Е. С. Короленко.

Здесь мы все еще совещаемся, обсуждаем и спорим. Дел много, есть щекотливые внутренние отношения. Дня три назад произошел большой спор личного свойства, между прочим, и у меня... С кем? Легко догадаешься — с Мякотиним. Он принял довольно острую фор- му, причем все товарищи были на моей стороне. Николая Федоровича, председательствовавшего в собрании, мне же пришлось удерживать, и даже... В первый раз еще я видел разъяренного А. Г. (Горнфель- да), Мякотин отказался от своих слов, т. е. заявил, что он этого не говорил, и кое-как дело опять склеилось. Надолго ли?

Все это меня порядочно утомляет и волнует, так что ты поймешь, как бы хотелось мне поскорее в Полтаву, к тебе и к работе.

24 ноября 1907, Петербург. Е. С. Короленко.

Идет у нас спешная работа над ноябрьской книжкой. Дается она очень трудно. Елпатьевский и Петрищев написали (не сговорившись)

по статье об октябристах. Елпатьевский — немного елейно, благодушно, слишком мягко. В сущности, дескать, «хорошие господа». Петрищев — рекомендует их мазуриками. Пришлось вести переговоры, совещания. Елпатьевского несколько переделали. Все еще слишком мягко, но зато — корректно. Петрищев набрал газетных мелочей (иной раз сомнительных) и обобщил: все такие! Тон очень дурной, мелко газетный, с оттенком инсинуации. Взятся переделать — вышло еще хуже. Теперь возмись с верстаными листами...

11 мая 1910, Полтава. И. Г. Короленко.

Ты, наверное, читал письмо Толстого по поводу моих статей «Бытовое явление»⁶³. Перед отъездом из Алупки я получил по этому же поводу письмо другого рода: какой-то брянский черносотенник прислал целый листок ругательств, расположенных в алфавитном порядке. Начинает с Анафемы, а кончает Юбочником.

9 июня 1910, Хатки. К. И. Ляховичу, эмигрировавшему во Францию.

В Ваших письмах проглядывает некоторая оскоми́на от «заграницы». Чувство обычное, особенно для нас. Мы приезжаем со смутным представлением, что за границей — «свобода» и каждого приезжего сейчас же торжественно ведут в храм свободы к некоему священнодействию. А тут часто, вместо храма свободы, — приглашают в кутузку (как Вас). И начинает казаться, что там «не лучше нашего». Отсюда — настроение очень многих эмигрантов, отсюда же «инцидент Горького» с американцами. Но, конечно, это aberrация. На чужбине вообще гораздо хуже, чем на родине, — это, конечно, верно, — при прочих равных условиях.

21 июня 1910, Куоккала. Е. С. Короленко.

Читаю корректуры и налаживаю материал для июльской книжки. Материала этого маловато: приходится хлопотать о рецензиях и даже самому заполнять прорехи. «Бытовое явление» все набрано, но очень некрасиво, и я распорядился переверстать. <...> Здесь познакомился с Чуковским. Впечатление еще не определилось, но пока, в общем, довольно приятное. Между прочим — ходит всюду босиком (на даче. В Петербург надевает сапоги).

28 июня 1910, Куоккала. Е. С. Короленко.

Здесь затишье в полном смысле: в редакционные дни приходит один-два человека. Сегодня был типичный «стрелок» с большими познаниями «из ссыльного быта» и такими характерными манерами, что... я все-таки дал 2 рубля. Между прочим, у него и такой прием:

— Лгать!.. Помилуйте. Кому же?! Владимиру Галактионовичу Ко-ро-лен-ко. . . Подумайте: вероятно ли это?!

Ну, и конечно, тут же налгал, должно быть, три короба.

7 июля 1910, Куоккала. Е. С. Короленко.

Вчера был я у Репина и ушел от него прямо очарованный. Какой удивительно обаятельный человек, когда его видишь у себя, на свободе. Прежде я его встречал на людях, и первые два раза — со Стасовым. Тот огромный и громкий, а Репин — точно грибок или улитка на стволе дуба. Ну а у себя он сам по себе. Когда-нибудь, когда вместе будем в Питере, свожу тебя к нему. Это одно из светлых впечатлений жизни.

16 июля 1910, Куоккала. Е. С. Короленко.

Вчера я был в Петербурге <...> Приехали в Куоккалу часов в 10^{1/2}. На «своих именинах» я, таким образом, не был. <...> По приезде я нашел у себя три чудесных букетика роз. Два от девиц, один от Чуковского (и сейчас пахнут на моем столе).

14 сентября 1910, Хатки.

Дорогой Иларион. Получил твое сердитое письмо. Ей-Богу, если бы я заразился твоим тоном, — пошла бы у нас полемика, вроде твоей с С. Дм. Из всех возможных слов ты выбираешь самые колочие. Чу-

ковский тебе должен и не отдает. Ты его считаешь жуликом. Я его узнал, и он мне жуликом по натуре не кажется. Значит ли это, что я «становлюсь на его сторону» и обязан после этого считать жуликом тебя? Не отрицаю даже и его некрасивого поступка, а в Москве пытался тебе его объяснить. Все эти нищезанятия, модернизмы, сверхчеловечества, жизнь мелкой газетной богемы способны порождать некоторую грязноватую беспечность. Теперь, по-моему, он лучше, потому что дышит атмосферой более чистой и серьезной, и я уверен, что деньги он тебе отдаст⁶⁴.

Затем ты пишешь, что я действовал с «единственной целью лишить тебя твоих денег». Ну подумай, Иларион, откуда у меня могла явиться такая «цель»? А потом — как же я действовал? Ни с Чуковским, ни тем более с Гессеном⁶⁵ я об этом деле не говорил. Вообще не говорил ни с кем в Петербурге. Узнал о ходе С. Дм. от тебя. Он мне как-то написал о Чуковском, которого за что-то очень не любит, — я, к слову, сказал ему, что едва ли путь для взыскания выбран правильно. Я сам — редактор-издатель и представляю себе, что ко мне приходят и говорят: ваш сотрудник — Пешехонов, или Елпатьевский, или Петрищев — должен мне и не отдает. Нельзя ли делать ежемесячные вычеты из гонорара? Я бы ответил, что не считаю себя вправе вмешиваться в частные денежные дела своих сотрудников. Редакция не департамент, редактор не начальник. Касса будет делать вычеты, если сам NN сделает распоряжение. Уверен, что никакого другого ответа Гессен С. Дм-чу не дал и не даст. Значит, прием просто нецелесообразен прежде всего. <...> Вообще, когда я говорил и писал вам двум (тебе и С. Д.), то говорил по существу, отнюдь не имея в виду «становиться на сторону» Чуковского (которому, по моему мнению, в данном случае ни тепло ни холодно).

Меня очень укололо (больно укололо, и если ты этого хотел, то достиг) — то обстоятельство, что ты хочешь сделать что-то нарочно для того, чтобы показать что-то мне, то есть из злого чувства ко мне. Если ты этого еще не сделал, и если захочешь после моего письма остановиться до тех пор, пока это чувство у тебя пройдет, и ты будешь думать только о том, как (совершенно справедливо) получить свои деньги, а не о том, чтобы этим мне досадить, — то я почувствую в этом, что твоё настроение по отношению ко мне смягчилось. Подумай, дорогой Иларион, и, если можешь, сделай это. А там взыскивай с Чуковского сколько хочешь, и чем спокойней ты это обдумаешь и сделаешь, тем это, конечно, будет действительнее.

9 декабря 1910, Сестрорецк (санаторий).

Дорогая моя Дунюшка и мои дочки. Досиживаю свой срок. О Толстом написал 30 с небольшим стр. и вижу, что на эту книжку никак уже не поспею. <...> Над Толстым надо хорошенько еще подумать и сосредоточиться: так, с маху, как бы не наделать промахов. Предмет деликатный.

23 декабря 1910, Петербург.

Дорогая моя Наталочка. Ругала своего престарелого Папа? Пожалуй, и стоило, хотя... измыкался твой Пап, как старый пес, и уезжает с угрызениями совести: не все сделано, не ко всем схожено и т. д. Ну зато — сегодня уже в путь, и даже коньки уложены. Расчистим мы с тобою каточек — и... дух захватывает, когда подумаю, что недели три проживем вместе без необходимости звонить в телефон, идти на собрания, объясняться с авторами...

17 марта 1911, Петербург. Е. С. Короленко.

Наверное, ты уже знаешь из газет: сегодня, в ночь, Якубович умер. Мне об этом сказали от Анненских в телефон. Ужасная потеря и для нас, и для журнала. Мы уже были к этому подготовлены, но все-таки и сейчас слезы застилают глаза. У него было воспаление легких; кри-

зис разрешился, закупорка стала проходить. Не выдержало сердце. Я его и не видел: не допускали, чтобы не утомлять и не волновать. А я по-своему думаю, что это была ошибка. Слишком оберегали, и человек угасал в застое. Если хотите из Полтавы прислать телеграмму, то можно на «Русское богатство»...

20 марта 1911, Петербург. Е. С. Короленко.

У нас тут грусть. Вчера похоронили Якубовича. <...> Прошли (с Петербургской!) до Исакия пешком, потом сели. Я шел все время с Розой Федоровной⁶⁶ непосредственно за колесницей. Под конец я почувствовал, что она шатается, и ей чуть не сделалось дурно. Я мигнул Лукашевичу, и он взял ее под другую руку. Впрочем, она оправилась и дошла. Были речи на могиле: Семевский, Мякотин — как всегда, умно и дельно. Какой-то молодой человек хорошо. И уввы! наш Ник. Сергеевич⁶⁷ (которого выпустили) натрещал на французский лад (с выкриками и чуть не завываньями) Бог знает чего. Вроде: «Посмотрите!! Вот неутешная подруга... Вот сын... в его детских глазах...» и т. д. Кругом пожимались, и было совестно. Народу было довольно много, полиция только срезала красные ленты и изменила маршрут, так что многие не могли присоединиться на пути.

25 марта 1911, Петербург. С. В. Короленко.

У нас после смерти Якубовича и тяжело, и трудно. Столько этот больной и слабый человек значил для журнала. <...> Нового лица на место Якубовича пока не приглашаем. Вместо того решили, что все будем принимать участие в обоих отделах.

5 декабря 1911, Петербург. Е. С. Короленко.

(Речь идет о поездке Н. В. Короленко во Францию к своему будущему мужу, политическому эмигранту К. И. Ляховичу.)

Наталочка приходила часа на 1½ перед обедом. Лиза больна, она уступила ей свой обед, и поэтому мы с ней варили на спиртовке кашу. <...> А что мы тебя, Дунюшка, не вызвали сразу из Полтавы, так ведь тогда ничего и не было известно. Предполагалось совсем другое, да и теперь еще не совсем решено. А затем — ведь это же поездка, о которой ты сама прежде говорила с легким сердцем: «Ну что ж, захочешь и съездишь». Дунюшка, помнишь, как огорчилась мамашенька, когда мы с тобой хотели ехать венчаться в Москву?.. Теперь наша очередь. Я вот на это смотрю спокойно. Сегодня, кроме огорчения из твоей болезни, она была такая оживленная и веселенькая. Пусть берет свою долю счастья, где хочет и сможет. А нам с тобой теперь нужна бодрость, чтобы не тормозить и не уменьшать этой доли. Ну, и стараемся, моя дорогая старушка, поддержать в себе силы и бодрость, чтобы, когда будет нужно, еще пригодиться нашим детям. <...> И на Костю не сердись тоже: я уже писал тебе, что он на сей раз ни при чем. Всем орудует Наталья. Теперь, кажется, уже можно сказать, что ее чувство определилось и она действительно любит. И Бог с ней.

15 января 1912, Петербург.

Наталочка, моя дорогая. Не знаю, получила ли ты мое письмо, где я писал тебе: забудь наши наставления или — еще лучше — помни их, но поступай, как тебе укажет твое сердце и твоя мысль. Теперь это мне вспомнилось, когда прочел письмо мамы. Насчет белья исполнил беспрекословно: конечно, нужно купить там — и дешевле, и лучше. А насчет остального — мотай на ус, но поступай, как тебе нужно. Не думай, что мы тут о тебе сокрушаемся. Твои радостные письма точно приносят немножко вашего солнца в наши здешние туманы, и мама тоже светлеет. Вообще о нас не думай с заботой: мы здоровы. <...> Наталочка, ты настойчиво доказываешь, что Костя хороший. Поверь мне, я это думал всегда; и скажу больше — я его любил и независимо от того, какое значение он имеет теперь в твоей жизни. Мы пока не

сблизились, но и это может прийти. Конечно, придет, и я этому буду очень рад. <...> Твой Пап.

12 ноября 1912, Полтава. С. В. Короленко.

Пиши на письмах даты, на письмах даты, даты, даты, — дрянная, рассеянная девчонка.

22 ноября 1912, Петербург. Н. В. Короленко.

(Об аресте С. В. Короленко.)

Я в Петербурге и сегодня буду иметь свидание с Соней. Пока ее держат, подозревая в «соучастии по делу Горбачевского и других лиц». Самое дело, насколько я мог узнать, состоит в привозе из Риги двух корзин с неизвестным содержимым. Одну корзину на вокзале взял какой-то студент Миронов и свез к себе. Другую Валя привез на свою квартиру и ушел. Как водится, за обоими отлично следили, должно быть, из самой Риги. Ведь это ты, Наталка, и твоя сестрица, по молодости лет и неопытности, считаете, что никакой слежки не бывает, что все это выдумки романтически настроенного воображения. В действительности, такая порода людей, которые следят за каждым шагом своего ближнего, — существует и исполняет свои обязанности не без успеха, — как и другая, которая интересуется содержанием переписки. Вот бедного Валу и проследили с его корзинами. И у Миронова, и у Вали (обоих арестовала на улице) произвели обыск и посадили «за-саду». В это-то время наша Софьюшка и надумала посетить земляка, которого давно не видела, и — торжественно ввалилась в ловушку... Теперь, понятно, «они» (охрана) и считают, что она пришла не за чем другим, как за второй корзиной... На случай, если ты тоже подумаешь, что Софья могла «по доброте сердечной», исполняя чью-нибудь просьбу и т. д., действительно впутаться в судьбу корзин, — могу тебя успокоить. Действительно, ничего подобного. Да ты и знаешь, что Валя никогда бы к Соне ни с чем подобным и не обратился. Не думай, что я тебя «успокаиваю»: кроме чистой случайности, — ничего нет, но — охрана, понятно, подозревает другое. Впрочем, скоро дело передают в губ. жанд. управление, и, наверно, оно все же разъяснится. Свидание мне дали беспрепятственно и ускоренным порядком. Это, говорят, признак хороший.

28 ноября 1912, Петербург. Н. В. Короленко и К. И. Ляховичу.

Дорогие мои. Уже знаете: я оправдан⁸⁸ вчера утром, а вечером, когда я был вместе с гурьбой знакомых, пришедших из суда, у Анненских, позвонил телефон и Татьяна Александровна с кем-то заговорила радостно и громко. Я по своей глухоте не разобрал, из-за чего вдруг все общество весело оживилось, но кто-то сказал: «Да ведь это ваша Соня!» И все смеялись, когда я кинулся, опрокидывая стулья, к телефону. Звали Соню к Анненским, но она была у меня в «Палерояле» с Маней и Любой, и было уже поздно, а сна от волнений этого дня все-таки устала. Теперь спит у меня на кушетке. Лицо у нее здоровое и спокойное.

В «Речи», которую получите сегодня, найдете почти полный текст моей речи. Говорил я, кажется, хорошо и, как оказывается, очень спокойно по наружности, хотя мне казалось, что еще слишком возбужденно. Ходили легенды о каком-то особенном недоброжелательстве ко мне суда и т. д. Я этому, положим, не верил и ранее, а теперь убедился, что этого решительно нет. Даже Крашенинников держал себя по отношению ко мне внимательно и корректно. Публики было не очень много, но все-таки небольшая зала была полна. Много знакомых лиц. <...> Грузенберг⁸⁹ говорил очень хорошо. Прокурор в свою обвинительную речь вставил даже несколько любезных слов по адресу Короленка как художника. Совещались менее получасу.

13 декабря 1912, Петербург.

Честь имею донести любезнейшей супруге моей, что вчерашнего

числа (12 декабря) я подписал договор с «Нивой». При сем присутствовала дочь наша Софья, которая в конторе нотариуса помогла мне считать текст договора с черновиком. Все было предварительно обсуждено с разных точек зрения, и, кажется, Сажин⁷⁰ довел доверенного «Нивы» до изнеможения. Под конец еще выговорил значительную надбавку на случай, если подписчиков окажется больше 200 тыс. Дело сделано. Треть условленной суммы получена и тотчас же переведена мною на текущий счета (пока) в Полтавское отделение Соединенного банка. <...> Я был очень рад, что почти случайно со мной в банк зашла Сонюшка и участвовала в самом процессе заключения договора. После этого мы с нею отправились к Палкину и немножко кутнули. А ранее — тоже вместе купили ей 3 кофты.

15 декабря 1912, Петербург. Е. С. Короленко.

Прислал, наконец, Шолом Алейхем свою повесть. Помнишь: первоначальная переписка шла через тебя. Я рад, что мы были осторожны и не связали себя никакими обещаниями. Повесть, на мой взгляд, никуда не годится: легковесный фельетон в 20 печ. листов. Ни одного живого лица, а только весьма избитые рассуждения в лицах о еврейском бесправии. Прислал он половину. Придется отказать. Хорошо, что мы не приняли без предварительного прочтения.

13 января 1913, Полтава. Н. В. Короленко.

Мы с мамой вместе занимаемся подготовкой издания: я правлю по оттилкам, а она эти правки приводит в порядок и наклеивает исправленное, вписывая вставки. Живем себе, два старичка, дружно. <...> Относительно больших расходов правда, но все же просьба не посылать другим — не безусловна. Дело лишь в том, чтобы помощь ввести в известные пределы. Ты знаешь, мне приходится посылать и вообще расходовать на сторону много. Теперь прибавились расходы Мани, ведь жалование Николая сразу прекратилось⁷¹. Дело, значит, в том, что если без расчета и плана будем раздавать в 6 рук (Соня тоже на этот счет довольно таровата), то можно и обанкротиться. Но, деточка моя, я понимаю, что иной раз нельзя отказаться. Хорошо бы в таких случаях писать мне. Ну, это пустяки.

22 января 1913. Полтава. С. В. Короленко.

(О скульптурном портрете ее работы.)

Мама усердно покрывает меня мокрыми тряпками, и я опасаясь, что скоро потеку. И то уже черты стали излишне сглаживаться, а морщинки поменьше исчезать. Думаю, что это мне вредно. Есть, верно, какой-нибудь более умеренный способ сохранения. Спроси у скульпторов.

5 февраля 1913, Полтава, С. В. Короленко.

Мама «готовится к лечению», и у нас стучит машинка. Молодая девица кроит и шьет кофты и т. д. — на случай, если придется лечь в больницу или какую-нибудь частную лечебницу (ради ванн). Очевидно, до сих пор кофты не составляли предметов первой необходимости. <...> Начал уж ворчать, — доворчу до конца. Купите вы коллективно пачку почтовой бумаги и конвертов. Терпеть не люблю ни этих клочков, ни закрыток, в которые приходится тоже вкладывать клочки. Вообще — улучшайте понемногу свои эпистолярные нравы.

8 апреля 1913, Полтава. Н. В. Короленко.

С тем, что Костя пишет о наших иностранных обозрениях, — увы! — согласен и борюсь с этим как могу. Одно время даже как будто наладилось. Но... теперь опять пошло по-старому. Это особенность обозревателя. Н. С. Русанов — как будто член партии, и притом партии французской. И даже не партии, а фракции. Это отражается необыкновенной уязвостью.

15 сентября 1913, Хатки. С. В. Короленко.

Что это у тебя за нетерпение уехать и что за нетерпимость и не-

выносливость к людям? Дочка моя. Надо это в себе победить. <...> До черносотенства тебе нет дела. Нужно уметь держать свою линию, не навязывая своих мнений, с холодной вежливостью. Там, где чувствуешь грубость; с сдержанным достоинством всюду. Пусть чувствуют, что ты человек другой, но не разменивай «своего» на мелочное и бесплодное раздражение.

17 сентября 1913, Хатки. С. В. Короленко.

Юбилейные поздравления все еще тянутся. На днях прислали из «Русского богатства» целую залежь: 100 телеграмм и несколько десятков писем (еще июльские). Завтра посылаю письмо в редакции газет и, может быть, этим положу конец нескончаемому юбилею. <...> Я думаю, под конец пребывания ты ближе узнаешь своих санаторных соседей и убедишься, что этот грешный мир, даже и черносотенный, не так уж плох. Помнишь Саловых в Наугейме? Ведь какой, бедняга, был черносотенец!

13 мая 1914, Ларден. И. Г. Короленко.

Теперь мы около Тулузы, во французской деревне. <...> Наташа (ты, верно, уже знаешь) — беременна. <...> Кстати, теперь ее фамилия уже Ляхович (m-me Lakhowitch, по-здешнему). Повенчались даже вдвойне. Французы требуют гражданского брака. Для России — церковный. Хлопот с бумагами Кости было довольно много. <...>

Я теперь думаю *значительную часть* редакционной работы с себя снять и буду свободнее. При пересмотре своих произведений — вижу, что планов у меня еще на две моих жизни, ну а времени, пожалуй, и немного. Ввиду этого думаю заняться вплотную своей работой, а при сем, пожалуй, можно будет пожить временами и в твоей щели. Моя хибарка станет на бугре, и огоньки твоего и моего дома будут перелгдываться вечерами. Думаю об этом с каким-то особенным удовольствием, но... Как еще удастся все сие устроить и когда, — не знаю.

31 августа 1914, Ройа. Н. В. Ляхович.

(Короленко с женой приехали в водолечебницу.)

Поезд полз тихо и останавливался на маленьких станциях по часу. <...> Публика простая, и я вступал в разговоры. Вообще, ехали почти все время изрядно, хотя было пасмурно и шел дождь. Холод — прямо осенний (особенно в поезде) — ветер все время дул навстречу. Под вечер пришлось позакрывать окна. На последних станциях надела масса народу. Вагоны оказались набиты битком, и эти вагоны... Таких уже, пожалуй, не встретишь у нас на захолустных дорогах: низкие, рукой достанешь до потолка, совершенно без «удобств». Правда, на станциях стояли подолгу, но... все-таки публике приходилось порой и тут обходиться «по простоте» и без стеснений. В поезде не только нет электрического освещения, но и очень убогие фонарики зажжены не все. В других отделениях виднелись какие-то матовые светлые кружки в потолке — у нас и этот кружок был темен. Не только читать — трудно рассмотреть, который час. Наконец, в темных низинах замелькали огни. Ройа. Мы вышли. Темное небо, дождь, ветер — прямо буря. Никаких признаков носильщиков. К счастью, большой наш чемодан — в багаже. Выходим на улицу (вокзал заперт со всех сторон, как крепость). Несколько пассажиров суются, как и мы, не зная, куда идти. Я начинаю расспрашивать, нет ли гостиницы. Какой-то господин утешает: «Все полно. Едва ли найдете»... Вплоть у вокзала какое-то здание. Похоже на гостиницу, но темно, подъезд не освещен, только у полуоткрытой двери — темная фигура. Оказывается, «Gertipus», и темная фигура — хозяин. Какое-то семейство и мы входим. Хозяин дает по огарку, по ключу и отправляет семейство наверх — разыскивать себе комнаты. Нам показывает сам в 1-м этаже. Комната большая, кровать одна (но в полкомнаты), стол с подвязанной некрашеной ножкой... Мы все-таки обрадовались и ночь провели благо-

получно. Утром прибегли к звонку... Никого. Спускаюсь вниз на розыски и встречаю после некоторых поисков — хозяина. Сообщаю ему, что звонил несколько раз... «Oh, ça ne marche pas»,* — говорит он весело... Если что нужно, надо спускаться вниз. Вообще — примитивно. Но оба мы с мамой выпалились и чувствуем себя отлично... Отправимся после кофе на розыски.

21 сентября 1914, Ройа. Н. В. и К. И. Ляховичам.

Дорогие мои. У нас здесь благополучно, но из Петербурга пришла телеграмма: «Журнал закрыт на время войны. Надеемся продолжать дело». Это большая катастрофа, и я не знаю, как журнал оправится от этого удара. Пешехонов писал, что опасались за август. Прошло благополучно. Ну вот — напоролись на сентябрь⁷². Очень жалею, что меня не было. Как раз вчера же пришло письмо Мякотина. Пишет, что только что закончил 2 статьи. Наверное, одна из них и послужила камнем преткновения. По-видимому, надеются еще «продолжать дело», но... если нельзя будет объявить подписку на 1915 год (а война, конечно, так скоро не кончится), то, конечно, придется закрыть лавочку. Ужасно меня это огорчило, но — я все-таки окреп настолько, что физически это на мне не отразилось.

9 ноября 1914, Ларден. С. В. Короленко.

Одышка почти прошла, и даже разные неприятные известия уже меня в нее не ввергают, по крайней мере, в очень слабой степени. А в таковых известиях недостатка нет. Кроме войны и ее безобразий, — закрытие «Русского богатства»... А теперь новый удар: Розинер⁷³ третьего дня прислал телеграмму: цензура запретила «Бытовое явление», «Черты военного правосудия», «Дело Глускера», «О свободе печати» и судебную речь по поводу последней статьи. Можно сказать, что из моей публицистики вынули душу. А я-то отчасти из-за них и согласился на предложение «Нивы». Ничего «специально» относящегося до военных действий тут не было, и в свое время все прошло. Я написал Розинеру, чтобы он изложил мне подробности дела и что я ни на какие партикулярные сделки с цензурой не согласен. Но... По-видимому, в России теперь существует предварительная цензура, так что они тут, вероятно, ни при чем. Огорчило это меня сильно.

10 марта 1915. Лярден. С. В. Короленко.

(На предложение прислать статью в газету «Речь», главный орган кадетов.)

Что касается «Речи», то у меня есть много чувствительных для меня возражений против *очень* многого, что в ней пишется в последнее время по вопросам внешней политики и о «задачах войны»... И у меня большая охота выступить не в качестве участника в ее хоре, хотя бы и со своей особой партитурой, а в качестве определенного противника и возражателя. Удерживает меня, помимо других соображений, сознание, что я совершенный невежда в вопросах внешней политики перед таким знатоком ее, как Пав. Николаевич (Милюков). Но вместе с тем я чувствую всем нутром, что слишком «реальная» нота, которую взяла «Речь» и, может быть, вся «кадетская партия» (что для меня еще не вполне ясно), — глубоко противна традициям передовой русской литературы, — это во-1-х. Во-вторых, она совершенно противна нравственным обязательствам перед «союзниками» в этой очень трудной войне. И наконец — как она вяжется с фразами той же «Речи» о цели войны — «защите малых народностей»... Они, очевидно, становятся бессодержательными словесными украшениями к «слишком» уж откровенно реальному содержанию политики, рекомендуемой «Речью», да и не одной «Речью». Сильно опасаясь, что право идеологического первородства тут уступается за весьма скудную

* «О, это не действует» (франц.).

чечевичную похлебку «реализма» <...> По этому же предмету я получил одновременно с твоим также и письмо Ал. Вас. (Пешехонова). Так как в ответе ему мне пришлось бы повторяться, — то я прошу тебя передать письмо это ему для прочтения товарищам.

24 марта 1915, Ларден. Е. И. Скуревич (тете).

Поздравляю с прошедшей Пасхой. У нас тут она прошла незаметно. Мне помнится, что у нас и в католических костелах есть служба вечером в субботу? Здесь служили в четверг и пятницу, а в субботу служения не было. В самую Пасху — ранняя месса в 7¹/₂ ч., а потом в 10 утра, но без выдающейся торжественности. Магазины тоже открыты всю Пасху. У нас украшают гроб, вроде плащаницы, и в костелах. Здесь этого тоже не было... Дня за два я встретил молодого военного, вышедшего из церкви. Кондуктор указал мне его и сказал: «Это здешний священник». Здесь священники тоже обязаны отбывать воинскую повинность. Скинет сутану и надевает мундир. Сев к нам в вагон, священник козырнул кому-то совершенно по-военному.

2 июня 1915, Марсель. Н. В. Ляхович.

Приехали мы вчера очень благополучно, хотя оказалось, что пересадка не одна, а две: в Сетте и Тарасконе. Носильщиков добиться невозможно. В Сетте, к счастью, попался какой-то, по-видимому испанский, молодой лодырь, который, прекратив спор с другим таковым же лодырем, пошел на мой зов. Пересадка в Тарасконе оказалась неожиданной и застала меня спящим. Мама, видя, что вагон опустел, разбудила меня. Носильщиков опять совершенно не оказалось, и после напрасных воззваний — пришлось признать данное положение «*forçе тајеиге*»* и... самим понести вещи на другую платформу. К счастью, багаж наш действительно не тяжел, тем не менее мы опять решили, чтобы мне сдержать данное слово, — поискать носильщика, чтобы подать вещи в новый поезд. И тут — опять оказался тот же благодетельный лодырь и даже с тем же товарищем. Он охотно взял вещи, прошел через один переполненный вагон, и затем мы все-таки нашли вагон почти пустой, где и устроились. Тут нас француз развлекал разговорами, которые маме очень понравились: он говорил, что в войне виноваты одни правители, что если казнят убийцу, уничтожающего одного человека, то что сделать с теми, кто убивает миллионы... Но... в конце концов, свел на то, что Франция не начинала войны, начали немцы и т. д. И оказался он, вдобавок, настоящим *embusque*** , получив *conge**** для похорон *beau-frère*, ухитрился продолжить его неопределенно долго. Но когда добродушный тюркос, у которого отрезали пальцы на ногах, попросил у него дать ему на выпивку, он вынул свою воинскую книжку и сказал, что он такой же солдат. Я дал тюркосу 50 снт, и за это он под конец пути разыскал нас в вагоне и разбудил криком: «*Bonjour, rара!*» Это было уже под Марселью. Тюркос был весел, очевидно, выпил. Мы оба с мамой до его прихода сладко спали, но поезд уже приближался к Марсели. Тюркос на прощание опять громогласно заявил: «*Adieu, rара!*» и подал руку мне и маме.

16 августа 1915, Эссентуки. Н. В. Ляхович.

...Время подходит трудное и, как говорится, «чреватое» неведомыми грозами. Из газет вы видите, каковы дела. Я думаю, и теперь вы больше можете видеть из наших газет, чем из французских. А в наших уже проскакивает опасение даже... за Петроград. Пока нет снарядов, немцы лютуют, как лавина, и где эта лавина остановится, — сказать трудно. <...> Вообще же — будущее туманно и насыщено электричеством. <...>

* Чрезвычайные обстоятельства (франц.).

** Укрывшийся в тылу (франц.).

*** Отпуск (франц.).

Какие газеты вы получаете? Надеюсь, продолжаете получать «Речь». А «Русские ведомости»? Характерно, что «Русские ведомости» сильно пошли в ход. «Русское слово» с его барабанным стилем, с Немировичами и Григ. Петровым, наоборот, стало падать. Правда, и теперь его тираж — самый большой из всех газет, но разница значительно уменьшилась. «Новое время», говорят, тоже сильно упало. Вообще, происходят разные изменения в обществе и народе, интересные, но, конечно, меньше всего видные в курортных местах. Я считаю, собственно, свое возвращение в Россию с того времени, как вернусь с Кавказа более или менее оправившимся. Вероятно, приму участие и в местной работе, и в печати. До сих пор послал только один маленький полубеллетристический очерк. К редакционной работе приступал, впрочем, уже и здесь. Она меня не утомляет, да пока ее еще и мало.

21 декабря 1915, Полтава.

Дорогая Наталочка. Ты вот художница. Приучай с детства Союшку к изяществу и опрятности. По-моему, «дупло» было непозволительно с этой точки зрения. Не надо ни изысканности, ни щегольства. Но надо то, что гораздо труднее: нужно возможное изящество при простоте и нужна «привычка» носить платье так, чтобы это потом делалось уже само собой, без усилия.

1 ноября 1916, Полтава. К. И. Ляховичу.

То, что Вы пишете об охоте начинать и неохоте кончать, — знаю и я. А прежде знал еще в большей степени. И теперь у меня среди бумаг — очень много начал без концов, а порой нахожу и законченные, но никуда не отосланные. Теперь порой прочитываю их с удовольствием и удивляюсь, — чем был недоволен тогда. С этим нужно в себе бороться и преодолеть.

Работайте понемногу, но каждый день, в определенные часы. Это удивительно регулирует работу и настроение и делает работу чрезвычайно успешной. Больше всего написали те, кто писал каждый день по несколько страниц. Диккенс начинал и кончал в определенные часы, обрывая на половине периода (может, и преувеличения, но все-таки характерно). Золя писал 3—4 страницы в день. Остальное время подготавливал материалы и жил для отдыха и впечатлений. Я, к сожалению, только теперь перехожу на эту систему работы. <...> Мечтаю все о «Современнике». Но на совести еще лежат две-три неотложные публицистические темы: одна украинская, другая о безобразных формах борьбы с «немецким засильем».

29 ноября 1916, Полтава. К. И. Ляховичу.

По всей России ходят речи депутатов в списках. Идут нарасхват, особенно речь Милюкова. Очень также любопытно совещание (19 окт.) Протопопова с депутатами блока у Родзянки. Кое-что, но очень сокращенно, было и в газетах. Теперь со дня на день ждут отставки Протопопова или нового конфликта из-за него. Удивительно. А ведь я его знал довольно бледной, но «приличной» фигурой (я был очень близок с его братом Серг. Дмитриевичем). И знаете: Селиверстов, генерал, о котором Вы упоминаете в Вашей заметке, был дядя Протопоповых, и Падлевский, убивший его в Париже, оказал козвенную, но огромную услугу нынешнему министру: после Селиверстова А. Д. Протопопов наследовал миллионные селиверстовские заводы в Симбирской губернии. Очень «деликатное» теперь положение сотрудников «Русской воли». Если Протопопов уйдет из министров, то, чего доброго, захочет вернуться в газету, чтобы руководить в ней общественным мнением. Это будет картина.

4 февраля 1917, Полтава. Е. С. Короленко.

О письме Горького ты знаешь: зовет в «Луч», но я сомневаюсь: вся компания, конечно, люди порядочные, но я совсем их не знаю, и

главное — какую линию будет держать газета, — кажется, и им самим еще неизвестно. Какой при этом смысл может иметь афиширование моего имени? Горький уже когда-то издавал с.-д. газету под смехотворным редакторством Минского⁷⁴!

Амфитеатрова выслали за криптограмму: нечто вроде акrostиха в прозе. Читать надо по начальным буквам каждого слова, и тогда выходит, что писать решительно ни о чем нельзя, цензура свирепствует и уничтожает статьи, а о Протопопове: «Такого холопа реакция еще не создавала! Куда он ведет страну, страшно подумать. Провоцирует революционный ураган». Школьная выходка, зашифровавшая то, что во многих газетах говорится и без всякого шифра.

4 марта 1917, Полтава. Е. С. Короленко, которая гостит у сестры в Дубровке.

Дорогая Дуня или вообще дорогие дубровцы. Теперь, без сомнения, и вы уже знаете: правительство свергнуто и установлено новое, думское. Наверное, до вас уже дошли газеты с этими известиями. Сообщу поэтому лишь то, что касается Полтавы. У нас телеграммы с этими известиями задержал губернатор и не пропускала цензура. Только третьего дня их перепечатал «Полтавский день» из «Южного края», выпустив, как телеграммы, без цензуры. А вчера губернатор получил распоряжение от начальника военного округа — пропускать, и газеты выпустили дневной экстренный выпуск. У редакций хвосты. Все, по-видимому, спокойно. Дума (городская) вчера послала привет Государственной думе. В здании губернского земства состоялось смешанное заседание с участием общественных деятелей и рабочих. Получил приглашение и я, грешный, и даже пришлось (немного) говорить. <...> Переворот в значительной части — военный, с участием самых разнородных элементов, объединенных «разрухой», голодом, сознанием военной опасности. Как эти разнородные элементы спойются, — увидим. Министерство: блок и левые (Керенский — министр юстиции). Великий князь Кирилл Владимирович явился в Государственную думу во главе флотского экипажа и предложил свои услуги. Пока — все (сравнительно) гладко, что будет дальше.

22 июня 1917, Полтава. А. С. и С. А. Малышевым

(Семья сестры Е. С. Короленко. О выступлениях украинских националистов).

Настоящая психология рабов: сидели тихонько при настоящих насильниках, а теперь излишне храбрятся. Я уверен, что народ, которого пока ослабляет эта якобы новая воля, — в сущности и не думает об отделении от России. Бурлит, шумит, пенится по всей России, как молодой квас. Авось устоится, станет вкуснее. Вон уже речи социалистов, как Скобелев, становятся сдержанны и вдумчивы. В даже министр земледелия перестал думать, что он на митинге. Будем ждать хорошего, пока не пришло худое.

30 октября 1917, Полтава.

Дорогие мои девочки. У нас благополучно. В Питере большевизм уже отшумел, в Москве шум тоже, по-видимому, смолкает. В Полтаве он просто поджал хвост. <...> «Совет революции» все-таки действует, только у нас его задача — охрана «спокойствия». В нем большевики исподтишка только пакостят в своем духе: устроили цензуру, и «Полтавский день» выходит с пробелами, телеграммы с известиями о поражениях большевиков в Петербурге и Москве задерживаются и т. д. Но и этому будет положен конец.

2 ноября 1917, Полтава. Н. В. Ляхович.

Полтава, можно сказать, в «междоусобице», в каких-то сумерках. Никто настояще не знает, что будет. Большевики трусят, опасаясь нападения, да и большевиков трусят. Так обе стороны не знают настоящего, куда податься. Я писал статью против цензуры. Цензор —

закройщик Городецкий, фигура отчасти комическая, отчасти злое-
щая, полуграмотный закройщик, не то большевик, не то шпион и
provokator, мою статью и еще одну заметку вычеркнул. Этот эпизод
немного конфузит большевиков. Костя объявил, что он ее печатает
в «Вестнике губ. комитета», и у него тронуть не решились. <...>

Что, собственно, происходит в столицах — в точности неизвестно.
Большевики выпустили свою газ. «Молот» и в ней врут бессовестно и
безоглядно: Керенский, дескать, разбит наголову, бежал и т. д. Каж-
жется, им мало кто верит. Вообще, надо надеяться, что в Полтаве
пройдет без столкновений...

8 ноября 1917, Полтава.

Дорогие мои дочки. <...> У нас спокойно. <...> Большевики
сбавили тон. Закрытие «Дня» и запрещение моей статьи обошлись им
не так уж легко. Городецкий («цензор») оправдывается и лжет, будто
он моей статьи не запрещал, но редакция захотела выпустить только
ее на белом листе с протестом. Тогда он «перешагнул и через Королен-
ка». Это неправда, но и она показывает, что они смущены. Третьего
дня (или четвертого) был митинг всех социалистических партий. Сан-
домирский громил большевиков (хотя не обошлось без крупных
ошибок). Когда вышел Городецкий («и») взял слово, — ему долго не
давали говорить. Кричали: идите цензуровать Короленка. Председа-
тельствовавал Костя, и ему стоило много труда убедить аудиторию дать
и сему цензору «свободу слова». Вообще — конфуз большевикам из-
рядный. Городецкий напечатал в «Известиях совета революции»
объяснение, где, наряду с преувеличенными комплиментами по адресу
«гиганта Короленка», говорится, что во имя революции он предска-
зывал, что придется перешагнуть через Анатоля Франса, перешагнули
уже через Плеханова, перешагнут и через Короленка... Но, в сущ-
ности, ни через кого они не перешагивают, а просто топчутся на месте,
чувствуя, что вокруг них образуется пустое пространство. Вчера в их
«Известиях» — призывы к спокойствию и антипрогрессные увещания в
довольно приличном тоне. Почта так и не признала их, а когда они
захватили телефон, — телефонистки все забастовали. Тогда они потре-
бовали, чтобы земство немедленно рассчитало забастовщиц (вот те и
«право стачек»), но земство, конечно, и не подумало исполнить сей
«приказ». Так и идет: ни то ни се.

20 ноября 1917, Полтава. Н. В. Ляхович.

У нас тоже довольно благополучно. Большевики, положим, про-
должают свои озорства: «День» опять закрыли. Потребовали, чтобы
они не печатали объявлений. Объявления теперь, по декрету Ленина, —
монополия правительства. Т. е. в Полтаве могли бы их печатать толь-
ко «Известия совета революции», которые, как ты знаешь уже из моих
статей, печатаются на пограбленной у того же «Дня» бумаге. «День»
не подчинился, и его закрыли. Теперь мы почти без газеты. «Извес-
тия» — жалкий листок, еще много мизернее, чем был «День». Редак-
тирует его тот же «цензор» Городецкий. <...> Так как эту дрянь нель-
зя считать газетой, то Полтава, благодаря большевикам, теперь об-
ходится без газеты...

15 декабря 1917, Полтава. Н. В. Ляхович

У нас по-прежнему в городе сравнительно спокойно. Именно срав-
нительно. Участились грабежи, недавно ночью проломили голову учи-
телю, убили девушку (кажется, во время кутежа). Вообще, в другое
время это бы заставило кричать о «росте преступности в нашем го-
роде». Но теперь — это норма, «ничего особенного». <...> Вчера была
тревога. Полтава теперь во власти украинцев. Пришел новый полк.
Говорили — большевистский. Оказалось — украинский. Стали сильно
поговаривать о предстоящем аресте большевистского «совета рево-
люции»... Они перетрусил и, между прочим, пригласили Костю для

совета, — что им делать. Он посоветовал — сидеть тихо. Арестуют так арестуют. Потом выпустят. Но эти молодцы, по-видимому, так рассуждать не согласны и стали грозить забастовкой электричества и водопровода. <...> Рабочие говорят, что бастовать не намерены и что к этому их большевики принудят разве силой. Но силы у большевиков сейчас нет. Большевики пожинаяют то, что посеяли: убили общерусский патриотизм, и теперь на местах, когда они стали «правительством», их бьют местные областные патриотизмы. Рада действует нерешительно, непрямо, с лукавством, часто тоже нехорошо. Но на ее стороне областное чувство родины, и большевики почти всюду пасуют: их разоружают и разгоняют, как ничем не объединенное стадо. Интересно, что казаки объявили свою республику впредь до воссоединения с остальной Россией. Большевистская Россия областями не признается.

17 декабря 1917, Полтава. Н. В. Ляхович.

Украинцы овладели положением и арестовали несколько членов совета революции, объявивших довольно неудачно забастовку водопровода и электричества. Забастовка не состоялась. Рабочие были против, а украинцы их поддержали, и электричество, на время погасшее, вдруг засветилось, сменив в нашей квартире убогий керосиновый свет. Вода тоже то иссякала, то опять текла. Членов совета, требовавших забастовки, сначала арестовали (без соблюдения всяких форм), потом выпустили. Пока это происходило, какой-то «умный человек» (говорят, еврей Дунайский) не нашел ничего разумнее, как убить начальника гарнизона, и притом не того, кто распоряжался все время, а нового, только что приехавшего (говорят — хороший был человек). Сам Дунайский, совершив этот идиотский подвиг, скрылся, а украинцы-солдаты приволокли пулеметы к губернаторскому дому и давай жарить по «совету». Говорят, при этом убили двух где-то захваченных евреев и выбили все стекла. Затем объявили город на военном положении и стали на улицах обыскивать и отбирать оружие (а изредка — и кошельки). Вчера состоялось заседание думы, в котором обеим сторонам воздали по заслугам и потребовали отмены военного положения. Вот наши события.

5 января 1918, Полтава. Н. В. Ляхович.

У нас тут какая-то неразбериха: кругом то украинцы разоружают большевиков, то большевики украинцев. Заблудилась русская история в бессмысленных дебрях.

7 января 1918, Полтава. Н. В. Ляхович.

Скоро прочтешь в газетах, что Полтава занята большевистскими эшелонами. Совершилось это вчера, под вечер. Отряд пришел из Харькова и с южного вокзала довольно шумно двинулся в город, по обыкновению тратя много патронов больше для собственного ободрения. Жители сначала изрядно напугались, но все обошлось довольно мирно.

13 января 1918, Полтава. Н. В. Ляхович.

Разрешение «социального вопроса» у нас продолжается. В ночь на вчерашнее число арестовали Маламу и Булюбаша (старик 80 лет), Гриневича и еще нескольких «капиталистов». Свели «в штаб» на вокзал, поторговались и полюбовно сошлись на 600 тысячах. <...> То же было с Молдавским и другими. Кажется, торговались коллективно. Наконец нашлось нечто, что способно ввести дисциплину. Муравьев плотит своим красногвардейцам по 15 рублей в сутки, но зато не признает никаких ограничений власти. Говорят, даже расстреливает солдат, а офицеров буквально хватает за горло и трясет. И они терпят... Вот он — экономический материализм. Только куда Муравьев направит этих кондотьеров — это вопрос, над которым приходится сильно задуматься.

26 февраля/11 марта 1918, Полтава. Н. В. Ляхович.

Положение у нас неопределенное. Большевики еще держатся. Пришло много из Киева. Вымогают «у буржуазии» деньги. У Семенченко 5 раз были обыски, черт знает зачем: просто некий Билинкович, бывший санитар в театральном лазарете, — сводит свои счета. Он теперь что-то вроде военного командира. В последнее время, впрочем, ушел куда-то, в какой-то поход. Общее настроение антибольшевистское, а так как у большевиков суется и орудуют молодые (порой даже юные) евреи, то вместе с тем нарастает и юдофобское настроение. Бывают и грабежи. Недавно ограбили всю милицию одного участка среди белого дня. Обобрали все деньги даже из карманов у солдат милиции.

12/25 марта 1918, Полтава. Н. В. Ляхович.

... Большевики бегут, гайдамаки и немцы подходят. Вчера был тревожный вечер. «Умные» большевики разгоняют и обезоруживают городскую охрану, и, значит, город остается без охраны, как раз когда никакой власти не будет. Костя энергично отстаивал созыв думы, но тут вдобавок приехал Раковский⁷⁵; неумный он человек, а теперь стал ультрабольшевик и повел такую линию, что еще укрепил большевиков в нежелании уступить. Когда после этого он явился к нам, то Пашенька отказалась подать ему руку, а я его так отчитал, что бедняга чувствовал себя очень неловко. Мне было даже жаль его, тем более что с ним была и жена — разведенная жена Кадриана⁷⁶, человек очень милый и очень несчастный: для него она оставила мужа и двух детей. Теперь оба путаются с большевиками и вчера же должны были стремительно бежать. Немцы, несомненно, Раковского бы расстреляли, если бы он попался. Можешь себе представить ее настроение, да и его тоже. Оба извелись страшно. Ее мы приняли очень радушно. А ему... правду некуда девать: вмешался в наши дела — как дурак в сказке...

<...> Оборона, несмотря на запрещение большевиков, все-таки организована и готова выступить, как только они уйдут совсем. Теперь мы опасаемся только того, что они (простецы) не успеют выбраться. «Начальство» их, конечно, уже убралось или уберется. А вот эшелоны застряли. Жаль будет по человечеству, если их застигнут гайдамаки и немцы... Пойдет взаимная бойня.

14/27 марта 1918, Полтава. Н. В. Ляхович.

Эти дни Полтаву громили грабители и красногвардейцы. Разграбили с десяток (или больше) магазинов. Кое-где врывались и в дома. Тревога была такая, что даже в нашем углу у Будаговских все не спали (кроме Ал. Вик-ча) и всю ночь просидели одетые, готовые убежать «в лес». Но уж это напрасно: мы все спали, и я в том числе отлично спал всю ночь. Теперь большевистский «административный отдел» овладел положением, и два дня уже в городе спокойнее, а, кстати, понемногу идет и эвакуация на Лозовую. Милицию и оборону они разоружили, но когда их красногвардейцы уйдут — то наличные силы самообороны с хулиганами справятся. Самое худшее, кажется, миновало. Я каждый день работаю и «Современника» подвигаю.

16/29 марта 1918, Полтава. Н. В. Ляхович.

Немцы вступили в город. Сейчас (8 часов утра) мне сказали на улице, что немецкий развед проехал мимо нашей бывшей части к институту. Над городом летают аэропланы, по ясному небу ползет дым: в 4 ч. утра большевики зажгли мост через Ворсклу. Трещат пулеметы, и слышны взрывы. Кажется, взрывают вокзал и мастерские. Большевики, очевидно, убрались еще не все... На этой стороне Ворсклы их уже нет. Немцы стараются показать свою культурность: проезжая по улицам, кавалеристы кланялись встречным кучкам обывателей.

9½ час. утра.

В городе, говорят, были жертвы — частью от разрыва ядер, частью, кажется, от ярости гайдамаков, разыскивающих большевиков. Теперь дума восстановлена, а также городская милиция. Самое трудное прошло. Как будут вести себя гайдамаки и немцы, — посмотрим. Горько, конечно, чувствовать себя «под немцем», с которым воевали. Но публика мало чувствует горечь этого унижения: надоели большевики, надоела анархия. А первый немецкий разъезд, вступивший в Полтаву, — все кланялся направо и налево...

28 декабря 1918/10 января 1919, Полтава. Е. С. Короленко.

Не знаю, чего желать, чтобы ты двинулась или чтобы переждала на юге, пока пути станут чище. Третьего дня и вчера мне рассказывали ехавшие из Одессы, что там на ст. Одесса-дачная и Выгода какой-то петлюровский отряд действует по-большевистски: останавливают поезда, обыскивают и, под видом «реквизиций», грабят. Офицеров (гетманцев и добровольцев) будто бы даже расстреливают. Вообще — какая-то банда. У нас в Полтаве — не совсем спокойно, но войска все-таки более или менее дисциплинированы. Тут были убийства и расстрелы. Убивали разбойники и погромщики, преимущественно евреев. Расстреливал пойманных разбойников полевой суд. Это, конечно, уменьшило опасения погрома.

3/16 января 1919, Полтава. Е. С. Короленко.

Минута для меня трудная. Большевики не пришли еще. Петлюровцы не совсем ушли. Часть осталась, в том числе остался военно-полевой суд. <...> Между прочим, арестовали полусумасшедшую Чижевскую (помнишь — раз приходила, чтобы я написал, как все ее обижают. Потом пошла к большевикам). Нам сообщили, что ей грозит расстрел. Все это происходит на виду у всех. Людей держат арестованными в номере гостиницы, потом судят в другом номере, потом уводят в третий и там расстреливают. Люди совсем озверели. <...>

Вот я поговорил с тобою, и хотя не знаю, прочтешь ли ты даже эти строки и когда прочтешь, но мне уже стало легче. Авось удастся положить маленькое начало задуманному нами кружку, цель которого — борьба с озверением. Если бы удалось на этот раз, — это дало бы возможность продолжать и при большевиках.

7 сентября 1919, Хатки. Е. И. Скуревич.

Здесь, в Хатках, мы провели время довольно приятно. Здесь спокойно, никаких разбоев и грабежей не было. Вчера арестовали Василия Ростовского, как бывшего большевика. По общим отзывам, он вел себя очень хорошо, и за него многие заступаются. Я тоже написал соответствующее заявление миргородскому коменданту.

Примечания

⁵⁰ «Воспоминания о Чернышевском» были написаны к вечеру его памяти, устроенному нижегородской интеллигенцией 9 марта 1890 г.; для печати не предназначались (имя Чернышевского тогда было под запретом), но в списках пошли по рукам, были нелегально отлитографированы в Москве, а в 1894 г. изданы в Лондоне «Фондом вольной русской прессы». Напечатаны в «Русском богатстве», 1904, № 11.

⁵¹ Рассказ «Чудная», написанный в 1880 г., опубликован лишь в 1893 г. в Лондоне; в «Русском богатстве» появился в 1905, № 9, под измененным заглавием «Командировка».

⁵² Великий князь Сергей Александрович убит 4 февраля 1905 г. на Сенатской площади в Кремле членом Боевой организации эсеров И. П. Каляевым.

⁵³ Газета «Нижегородский листок», в которой И. Г. Короленко, С. Д. Протопопов и В. А. Горинов были пайщиками.

⁵⁴ Короленко начал писать «Историю моего современника», которую далее именует «воспоминаниями» или «Современником».

⁵⁵ В ноябре 1905 г. на съезде Всероссийского крестьянского союза решено издавать газету для народа, под редакцией Короленко. Проект не был осуществлен.

⁵⁶ В. Н. Григорьев, близкий друг Короленко, гласный Московской городской думы.

⁵⁷ Н. Г. Богораз (Тан), писатель.

⁵⁸ В январе 1906 г. «Русское богатство» было приостановлено, а Короленко отдан под суд, который состоялся 15 мая 1906 г. и завершился оправдательным вердиктом.

⁵⁹ В. Ю. Короленко, племянник В. Г. Короленко.

⁶⁰ В. А. Гольцев, редактор журнала «Русская мысль».

⁶¹ В январе 1906 г. Короленко выступил против «бесчеловечной по форме и размерам» карательной экспедиции полтавского губернского чиновника Филонова против сорочинских крестьян, требуя судебного разбирательства. Вскоре Филонов был убит террористами, а Короленко пытались привлечь к ответственности «за подстрекательство к убийству», грозили расправой, травили в печати и т. д.

⁶² Маледикт Коркин — так склонный к каламбурам Н. Ф. Анненский именовал непримиримого Венедикта Мякотина (т. е. вместо «доблоречивый» — «злоречивый»).

⁶³ 27 марта 1910 г. Л. Н. Толстой писал Короленко о своей благодарности за прекрасную, по мысли и по выражению, статью о смертной казни.

⁶⁴ Долг (300 р.) был возвращен в 1916 г., после смерти И. Г. Короленко, когда В. Г. Короленко, ставший опекуном детей брата, написал Чуковскому очень решительное по тону письмо.

⁶⁵ И. В. Гессен, редактор газеты «Речь», где в это время работал К. И. Чуковский.

⁶⁶ Р. Ф. Якубович, жена П. Ф. Якубовича.

⁶⁷ Н. С. Русанов.

⁶⁸ Короленко судили как редактора журнала за публикацию «Посмертных записок старца Федора Кузьмича» Л. Н. Толстого («Русское богатство», 1912, № 2).

⁶⁹ О. О. Грузенберг, адвокат Короленко.

⁷⁰ М. П. Сажин, заведовал конторой «Русского богатства» в 1907—1916 гг.

⁷¹ После смерти Н. А. Лошкарева Короленко ежемесячно помогал своей сестре.

⁷² «Русское богатство» было закрыто за антивоенную позицию; не выходило только один месяц — октябрь. В ноябре 1914 г. появилось под названием «Русские записки», в другой обложке, с другими именами издателя и редактора и т. д. Прежнее название и имя Короленко, редактора-издателя, восстановлено после февраля 1917 г.

⁷³ А. Е. Розинер, заведующий издательством А. Ф. Маркса.

⁷⁴ Большевицкая газета «Новая жизнь» выходила в ноябре 1905 г. с участием Горького, В. И. Ленина и др.

⁷⁵ Х. Г. Раковский, председатель Совнаркома Украины, в прошлом один из лидеров румынской социал-демократии, знакомый Короленко по поездкам в Добруджу, к шурина В. С. Ивановскому.

⁷⁶ Домну Кадриан, член румынской социал-демократической партии.

Вступительная заметка, публикация и примечания М. Г. ПЕТРОВОЙ

ИГРА БЕЗ МАСОК

Корни легенд теряются в глубине веков, ветви же их простираются по все дни. Но вот, казалось бы, Шекспир жил не в такие уж отдаленные времена, до сих пор существует даже таверна, в которой он любил бывать; тем неожиданнее, что он для нас едва ли не большая загадка, чем легендарный Гомер. Во всяком случае, так следует из любого учебника по литературе. Удивительно также единственно достоверное его изображение, которого лучше было бы вовсе не иметь. И что это за устрашающая надпись на его могиле — «да покарает Бог того, кто потревожит эти кости?» Все это интригует, завораживает, но об этом забываешь, как только откроешь творения Шекспира. Впрочем, его биография сама напоминает осколки какой-то грандиозной драмы. Если их уже невозможно собрать в единое целое, то, наверное, можно хотя бы расположить в соответствующем друг другу порядке, чем и занимаются шекспироведы всего мира.

В 1992 году в «Огоньке», в двух подряд номерах, 8 и 9, И. Шульженко в статье «Логодедал» рассказала об академике И. М. Гилилове и о его сенсационном открытии в области шекспироведения. И. М. Гилилов нашел ключ к разгадке проблемы Шекспира. Уточнив датировку сборника стихотворных посвящений «Жалоба Розалинды» (честеровский сборник), он установил имена тех, чьей памяти этот сборник был посвящен, а именно: граф Ретленд и его жена Елизавета Ретленд. Графа Ретленда давно и серьезно прочили на роль Шекспира, но только теперь его право на это подтверждено уточнением датировки честеровского сборника, в котором современные Шекспиру поэты и будто сам Шекспир в стихотворении «Голубь и Феникс» оплакивают величайшего из поэтов эпохи, недавно перешедшего в мир лучший. Поскольку величайшим поэтом того времени был признан Шекспир, то совершенно очевидно, что именно его и имели в виду авторы сборника. А стихотворение, стоящее в сборнике под именем Шекспира, не что иное, как мистификация, плод коллективного пера шекспировского кружка, т. к. в 1612 году канонический Шекспир был жив; между тем творчество его, как ни странно, после 1612 года — год издания честеровского сборника, создания «Бури» и смерти Ретленда — оборвалось, хотя Шекспир будто бы еще жил до 1616 года на покое в Стрэтфорде.

Открытие Гилилова оказалось поистине универсальным в вопросах шекспировской проблематики, своеобразным волшебным ключом. В какую дверцу его ни вставь, ключ этот срабатывает. Ключ этот — игра, точнее сказать, Игра с большой буквы. Популярное пожелание Гете — «желающий постичь поэта должен отправиться в страну поэта» — в случае с И. М. Гилиловым оправдалось как нельзя лучше. Вместо того, чтобы раскапывать пустые могилы, как это было, когда искали рукописи Шекспира в могиле Саутгемптона, во Франции, и вместо того, чтобы сокрушаться по поводу пропажи этих рукописей, И. М. Гилилов обратил свое пристальное внимание на эпоху, в которую творил

Уильям Шекспир, и на его окружение. Жил Шекспир, разумеется, не в безвоздушном пространстве, а реальный облик его всегда как-то ускользал. Нет, факты его биографии не настолько фантастичны, чтобы совсем утратить реальные очертания. Напротив, они как бы сознательно заземлены — вот, мол, в каком прозаическом субъекте какие творческие возможности! И все эти лукавые, подмигивающие, что-то не договаривающие упоминания о Шекспире в современной ему литературе, например: «наш коллега Шекспир», «острый малый» и т. п. Как будто Уильям Шекспир Бог весть какой шалун, а не автор серьезных произведений, пользующихся шумным успехом. «Острого малого», хотя бы и «коллегу», собрать по перу при случае выбрали бы как мальчишку, как это было с Кристофером Марло, — «лающий пес». Но Кристофер был сыном сапожника. А перед Шекспиром однажды даже публично извинялись за печатные оскорбления. Любопытно заметить, что извинялся даже не сам оскорбитель, к тому времени покойный драматург Роберт Грин, а его издатель. Это случилось в самом начале карьеры Шекспира, в 1592 году, когда его легко могли просто уничтожить, как того же Кристофера Марло. Но что-то не позволяло литературной братии обращаться с ним неподобающим образом. Что это могло быть: высокий титул? высокое покровительство? Казалось, проблема Шекспира — это гордиев узел, который можно только разрубить. Но академик Гилилов потянул за нужную нить, и она привела его к успеху.

Говоря о Шекспире, мы чаще всего имеем в виду Книгу, а не человека. Представить его без маски так же трудно, как Британию без традиций. Около трехсот лет допытываются, кто же был доподлинно Шекспир, и вместе с тем ровно сто лет известно, что им вполне мог быть Роджер Мэннерс, граф Ретленд. И. М. Гилилов напомнил, что времена Шекспира — это те самые «старые добрые времена», когда весь мир и впрямь казался театром, не фигурально, а буквально. «Весь мир лицедействует» — было начертано над «Глобусом». Шумная театральная жизнь тех дней — лишь отражение духа карнавальная игры, который царил тогда во всех слоях английского (и не только английского) общества. Но лишь в Англии появился наиболее яркий его выразитель. Постигнув смысл такой игры, всеобщей театрализации, академик Гилилов и нашел свой ключ к проблеме Шекспира. Не только весь мир, но прежде всего сам Шекспир лицедействовал. Он и его дружеское окружение создали драму из своей собственной жизни. В начале это была веселая комедия масок. Конец ее обернулся трагедией, о чем красноречиво свидетельствует книга, расшифрованная И. М. Гилиловым, — честеровский сборник поминаний птицы Феникс и Голубя.

Таков хор для их трагической сцены. Расшифровка Гилиловым честеровского сборника вплотную подводит к тому, чтобы признать Ретленда величайшим поэтом эпохи, иначе говоря, Шекспиром. Подтверждение этому находится в самой Игре, которую затеял человек, скрывший себя под маской Потрясающего копьём, что является буквальным прочтением английского Shakespear. Нет нужды искать ни прототипов — это был реально существовавший человек, ни соавторов — были друзья. Один из них — знаменитый драматург Бен Джонсон. Именно в его всем известном стихотворном послании, пышно озаглавленном «В память моего возлюбленного мистера Уильяма Шекспира, автора, который покинул нас» и предварявшем Первое собрание шекспировских пьес 1623 года, черным по белому стоит подлинное имя Шекспира. Учитывая ключ Гилилова, это стихотворение может быть прочитано сегодня совсем по-иному. Его ложно-классический стиль по-прежнему вводит в заблуждение, в деталях же оно весьма простодушно, при условии посвященности читателя в то,

что это стихотворение не только с рифмами, но и с подводными рифмами.

Благодаря расшифровке Гилилова стало известно, что Бену Джонсону принадлежит игра именами в предисловии, также стихотворном, к книге «Кориэтовы нелепости», где он прямо называет героя этих вымышленных путешествий Томаса Кориэта — Роджером, что в свою очередь приводит нас к Роджеру Ретленду, являвшемуся одним из авторов этой книги. Смелость, с какой высказался Бен Джонсон, поразительна и, видимо, рассчитана была на посвященных. Посвящение — это тот самый лицедействующий кружок Мэннерса, о котором говорит И. М. Гилилов. С уходом из жизни Мэннерса и его жены Елизаветы Ретленд в 1612 году перестанет существовать мистер Шекспир, не станет и кружка. Бен Джонсон не был единомышленником Шекспира в вопросах творчества, но их жизненные пути, по-видимому, были тесно переплетены. Так или иначе, он был хорошо осведомлен обо всем, что касалось Шекспира, которого он, по его собственным словам, любил. Не потому ли он и был приглашен издателями Первого Фолио к сотрудничеству? Сохраняя верность правилам Великой Игры, Бен Джонсон в своем послании к Шекспиру еще раз поиграл именами, а также, как кажется, позволил себе и другие — имеющие к этому отношение — намеки.

В послании Бена Джонсона восемьдесят строк. Большая часть из них посвящена искреннему восхвалению шекспировского таланта. Он называет его «душой века», «удивившим сцену», рассуждает о достоинствах его, сравнивая с величайшими классиками античности, призывает его вновь подняться, говорит о том, что сама природа гордится созданием такого человека. Наконец мы подходим к интересующему нас фрагменту. Это строки 65 — 68. В оригинале они выглядят так:

Look how the father's face
Lives in his issue, even so, the race
Of Shakespear's mind and manners brightly shines
In his well-turned, and true-filed lines.

В переводе это звучит так:

Взгляни, как лик отца
живет в его созданных, такова же участь
Шекспировой души, и мэннерс ярко сияет
в его хорошо отточенных и полных правды строчках.

Не здесь ли поворачивается основной ключик игры? Что такое мэннерс (manners)? Это, конечно, и манеры, и сценические образы, но это еще и имя. Имя это — Мэннерс, он же граф Ретленд. Если учесть правила Великой Игры (что после открытия И. М. Гилилова становится самоочевидным), то это слово ЗДЕСЬ может означать лишь Имя. Тогда полустих 67-ой строки превращается в источник важнейшей информации:

Мэннерс ярко сияет...

Приоткрыв завесу над тайной, Бен Джонсон, повинувшись ассоциативной логике, далее, в строке 74, упоминает об Элизе и нашем, как он его называет, Джеймсе. Дословно этот фрагмент выглядит так:

Сладчайший лебедь Эйвона! Что было за зрелище
увидеть тебя появившимся на наших водах
и совершающим свои полеты над берегами Темзы,
чему способствовала Элиза и наш Джеймс.

Конечно, строку об Элизе и «нашем Джеймсе» можно понимать как дань покровителям Шекспира. Мы не знаем, какое отношение имел будущий король Иаков I к Шекспиру, а вот с Мэннерсом он был дружен еще задолго до своего восшествия на трон. Он был сыном казненной Марии Стюарт; сомнительно, чтобы королева Елизавета входила в тот круг душевных интересов и связей, которыми жил Иаков. Быть может, они где-то смыкались на почве театральных пристрастий — пьесы Шекспира или того, кто называл себя Шекспиром, чаще других ставились при дворе. Каким-то образом королева Елизавета способствовала успехам «эйвонского лебедя» на берегах Темзы, но ясно другое: королева имела больше оснований быть недовольной и Шекспиром, и его труппой, а в день «Эссекского мятежа» — в особенности. Как раз накануне, по настоянию причастных к заговору лиц, был разыгран «Ричард II», сцена свержения короля была встречена шумным одобрением. Мифический Шекспир ускользнул, как мыльный пузырь, а реально причастные к этому столь громкому событию люди в той или иной степени все пострадали. «Вы знаете, что я — Ричард II?» — сказала королева Елизавета начальнику тауэрской стражи. Как такие слова отразились на судьбе Шекспира — история содержит в тайне, а Мэннерс действительно какое-то время провел в заключении и в довершение всего был разорен. Когда в 1603 году королева умерла, множество поэтов отдали стихотворную дань усопшей — шекспировская муза, по свидетельству драматурга Генри Четтля, не уронила «ни одной траурной слезы». Итак, скорее всего, в послании имеется в виду другая Элиза, быть может, Елизавета Ретленд — Феникс незабвенного Голубя, следуя терминологии сборника «Жалоба Розалинды». Судя по ее биографии, она была талантливым поэтом, автором, как сказано в «Логодедале», неизвестных миру произведений, и даже соперником своего отца, поэта Филиппа Сиднея, по свидетельству того же Бена Джонсона. Здесь, возможно, приоткрывается еще одно покрывало тайны — тайны шекспировских сонетов. Филипп Сидней был признанным мастером сонетной формы, значит, Элиза могла соперничать с ним именно в этом жанре, т. е. также писала сонеты. Следовательно, ничто не мешает предположить, что шекспировские сонеты (или какая-то — быть может, большая — их часть) принадлежат ей. Известно, что в Первое шекспировское Фолио сонеты не вошли. Спрашивается: почему? Ведь они стали широко известны еще при жизни Шекспира. Сонеты рассматривались неоднократно под разным углом зрения, и, кажется, нет ничего поспешного в том, чтобы увидеть в них женскую руку, — так много там чисто женской психологии. Вообще весь этот сонетный цикл напоминает жанр писем-ответов. Если это так, тогда в джонсоновском послании Элиза закономерно поставлена рядом с Мэннерсом — как поэт, так же, как это было в честеровском сборнике, где Феникс и Голубь названы равновеликими — *co-surperets*. Мы же теперь знаем, кого оплакивали авторы честеровского сборника.

Послание Бена Джонсона словно поставлено на котурны, но сколько искреннего восхищения и неподдельного чувства в этих двух строчках:

Но тише! вижу тебя на этом небосклоне
первым, и там ты создаешь Пляяду.

Это строки по счету 75—76. В них заключен поистине шекспировский пафос! Видимо, Бен Джонсон настолько дорожил той Пляядой, которую Мэннерс создал на Земле, что имел все основания простирать свои мечты и выше. Между тем ни о какой пляеде вокруг канонического Шекспира ничего не известно. Содружество талантов, Пляяду, создал Роджер Мэннерс и был тем «первым» в ней, для кого невоз-

можно найти достойного соавтора: шедевры избирают одиночек. Впрочем, театральное искусство всегда несколько коллективно.

Меньше всего, разумеется, Бен Джонсон хотел оказать своему «возлюбленному мистеру Шекспиру» медвежью услугу своим посланием. Тем не менее, странности этой эпистолы все-таки дали себя знать, хотя и не теми своими особенностями, которые так тщательно шлифовал автор. Есть в послании одно место, лишенное какой бы то ни было темноты, между тем оно привело к грандиозному недоразумению. Узнав об этом, участники Великой Игры с удовольствием потерли бы руки. Весь мир знает и уверился в малограмотности Шекспира. Ну как же, совсем простой парень! Да и что возразишь, когда во всех учебниках блистает цитата из этого послания — «ты мало знал латинский и еще меньше греческий». Но в оригинале нигде не сказано — «ты мало знал»; на это, похоже, нет и намека. В подлиннике стоит просто — «ты мало имел». Вот эта строка (31):

... thou hadst small Latin and less Greek,
что в переводе означает:

... ты мало имел латинского и еще меньше греческого.

Не идет ли здесь речь просто о характеристике шекспировского творчества? Не значит ли это, что «ты мало имел от римлян и еще меньше от греков», — поскольку античное искусство во все времена почиталось эталоном, образцом для подражания? Действительно, начиная от своих современников, Бен Джонсон углубляется в глубину столетий и нигде не находит равного или похожего на Шекспира. Он говорит, что и «могучая строка Марло» отстоит от сделанного Шекспиром неизмеримо далеко. Затем, не пропустив «грозного Эсхила», он перечисляет множество имен: от Еврипида и Софокла до Аполлона и Меркурия. Эти рассуждения занимают самое большое место в эпистоле — всю ее центральную часть, тридцать строк из восьмидесяти. При чем здесь малограмотность? Это была бы слишком ничтожная причина для возбуждения такого мощного полета фантазии во времени. И разве не очевидно, что творения Шекспира мало имеют общего с каким-либо античным — и не только античным — образцом, тогда как пародийности в них хоть отбавляй? Да и не носят ли все так называемые промахи Шекспира в географии и в языках преднамеренный характер?

Таков Бен Джонсон, и такова его премудрая эпистола. Стихотворение читают и перечитывают, а все еще грезят о стрэтфордском держателе акций. Устойчивость традиции поразительна, что само по себе лишь доказательство причастности Уила Шекспера, пайщика «Глобуса», к великой Игре Потрясающего Копьем. Мало того, что в его имени корень псевдонима Ретленда, — он тоже своего рода гений и — «не без прав», как значится на его гербе. Тайному до смерти не изменил, а под занавес выдал шедевр вполне в духе славной Плеяды. Его завещание, не дающее покоя шекспироведам своей двусмысленностью, как бы неуместной игрой воображения, — словно последний акт одной из комедий Потрясающего Копьем. Не с него ли писал Шекспир своего Фальстафа? Не исключено, что это он играл однажды в «Гамлете» роль призрака. Да и кто лучше мог сыграть высокую тень отца Гамлета, кроме долговязого Уила Шекспера! Сколько скрытой соли в том, что друзья увековечили участие своего антрепренера в постановке «Гамлета» как нечто из ряда вон выходящее! Кажется, они не упускали повода, чтобы лишний раз покатиться со смеху. Зато стало известно, что *Шекспир* был высокого роста, — на эту путаницу все и было рассчитано, — как будто эта черта, в общем-то довольно внешняя, что-нибудь проясняет в его ускользающем облике. И то сказать, высок был его обладатель! И кончина его не так темна, как представляется. Из биографии Мэннерса, исследованной И. М. Гили-

ловым, ясно, что он был тяжело больным человеком. Во всяком случае, знаменитую реплику Офелии:

Поехали, мое ложе! —

мог написать лишь человек, слишком хорошо знающий, что значит быть подолгу прикованным к постели. Возможно, Мэннерс покончил с собой, то есть умер без покаяния, чем и объясняется мрачный обряд его похорон. Иначе, как сказано в «Гамлете», его «сопровождал бы град камней». Покровительство короля Иакова спасло честь Мэннерса от поругания. Считается, что место погребения Шекспира — в Стрэтфорде. Какого Шекспира? Уила Шекспера — уроженца Стрэтфорда? Факт само собой разумеющийся. О месте погребения Потрясающего Копьем Бен Джонсон говорит буквально следующее в строках 19—21 своего послания:

Я не положил тебя ни рядом с Чосером или Спенсером,
ни чуть поодаль от Бьюмонта, а сделал для тебя комнату:
твое искусство — монумент без могилы...

Только ли это библиотечная аллегория? Чосер и Спенсер удостоились покоем в стенах Вестминстера. Где и о какой «комнате» идет речь — Бен Джонсон ничего этого не проясняет, но с какой-то целью он упоминает о ней, не так ли? Очень может быть, что место последнего упокоения Мэннерса находится рядом с могилой его жены Елизаветы Ретленд в соборе Святого Павла в Лондоне. Комната остается закрытой. Но открыта Книга — Бен Джонсон так и пишет с прописной буквы:

Искусство будет жить, пока живет твоя Книга.

Никто не возьмется утверждать, что все издаваемое под титулом Потрясающего Копьем принадлежит одному Мэннерсу, но в этой Книге, к которой писал свое стихотворное посвящение Бен Джонсон, царит он. Наверное, что-то из вышесказанного можно оспорить. Попробуйте оспорить Бена Джонсона, когда так уверенно звучит его голос:

Manners Brightly shines —
Мэннерс ярко сияет.

Однако волшебный ключ Гилилова разворошил целый муравейник шекспировских вопросов. Это касается также и шекспировского портрета. Что же мы называем портретом Шекспира?

Изображение Шекспира, помещенное в Первом Фолио, всегда поражало своей искусственностью. «Единственно подтвержденное современниками», оно вынуждало искать тому какие-то объективные объяснения. Самым распространенным было то, что портрет гравировался уже после смерти поэта и с его посмертной маски. Художник Мартин Друсхаут, будто бы молодой и не слишком искусный, не сумел придать облику великого поэта удовлетворительной живости и полноты. Разумея Игру, затеянную Мэннерсом с друзьями, теперь было бы логичным утверждать, что этот портрет попросту вымышленный. В точности так же, как обстоит дело с портретом Великого директора Пробринной палатки Козьмы Пруtkова. И там и тут перед нами откровенно шутовская маска. По всей видимости, Мартин Друсхаут выполнял лишь типографскую работу. В статье «Логодедал» упоминается, что незадолго до смерти Мэннерса для него была выполнена, как записал его дворецкий, — «некая импресса моего лорда». Вот эта «импресса», вероятно, и могла быть тем оригиналом, оттиск с которого через десять лет благополучно перекочевал на титульный лист Первого Фолио, и с тех пор человечество имеет радость созерцать лик творца Гамлета и Клеопатры. К счастью, издатели не преминули поместить тут же, над нелепым изображением прославленного

автора, еще более нелепую аннотацию, что «издание осуществлено с правдивых оригинальных копий». Какими были эти «правдивые» — да еще «оригинальные» — копии и куда они подевались из типографии — можно только гадать. Нет никакой уверенности, что это были режиссерские экземпляры шекспировских произведений. Но таково положение вещей, если рассуждать в отношении Игры без масок. А как же маска? Маска остается. Вспомним, что говорит Ромео:

Visor for a visor!

Here are the beetle brows shall blush for me!

То есть:

Забрало на забрало!

Вот эта жутковатая хмурость пусть за меня и краснеет!

Знаменательные и честные слова! За ними виден автор, как он ни прячется.

Валерий Макаров



ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Кеннет Грэм ИВОВЫЙ ВЕТЕР

Роман

Перевела с английского Юлия Муравьева

СТРАННИКИ ВСЕ

Водяной Крыс места себе не находил от беспокойства, а почему — он и сам не знал. Вроде бы не потускнело еще убранство спелого лета, и, хотя зеленые прежде поля отливали теперь золотом, хотя зарумянилась рябина и чья-то неумемная кисть щедро разбрызгала охру по лесной листве, — по-прежнему ярко пылали краски, света и тепла было в избытке и не смели поднять голову зябкие предвестники того, что год покатился к концу. Но стройная, слаженная сила птичьего хора, неизменно звеневшего из живых изгородей и садов, пошла на убыль, и лишь пара самых неутомимых певцов, правда, без былого усердия, изредка нарушала тишину небрежной предвечерней скороговоркой; малиновка снова заявила о себе, и в воздухе веяло переменами и расставанием. Конечно, давным-давно замолчала кукушка, и маленькое общество не досчитывалось уже многих и многих пернатых своих членов, месяцами украшавших пейзаж, — казалось, ряды их тают на глазах, неуклонно, каждодневно. От внимания Крыса, с малолетства любившего следить за перемещениями летучего семейства, не укрылось, что из хаоса мелких суматошных движений постепенно складывается строгая и четкая линия, и направление ее указывает: на юг! Даже по ночам, лежа в постели, он чувствовал, как в высоте, трепеща и содрогаясь, вспарывают тьму послушные властному зову торопливые крылья.

В Гранд Отеле, принадлежащем Природе, как и в любом другом, бывает мертвый сезон. Один за другим постояльцы пакуют чемоданы, платят по счету и съезжают; при каждой перемене блюд освобождаются все новые места за табльдотом; запираются шикарные номера, скатаны ковры и уволены официанты, — а у тех, кто остается на зиму, до открытия весеннего сезона, пансионеров, — беспокойно на душе: неумолимо обнажающиеся берега полноводного недавно потока приятельств и знакомств, прощания и провожания, страстные, взаимные, обсуждения планов, маршрутов и гостиниц — задевают их за живое. Они нервничают, хандрят и недовольны всем на свете. Что за нелепая охота к перемене мест? Почему бы не перезимовать тут, вместе с нами, — сэкономите себе нервы и вдобавок отлично повеселитесь. Вы даже не представляете, что за прелесть наша гостиница в межсезонье, как славно проводим мы время в забавах и потехах — мы, до-

Продолжение. Начало см. «Согласие», № 1—8—12, 1993.

моседы, наблюдающие течение года с начала и до конца, — и нет, нам не бывает скучно! Конечно, конечно, само собой, — всегда соглашаются те, другие, — признаться, мы даже завидуем вам и, может быть, через год... но сейчас — никак: уже дилижанс ждет у порога, пора, пора! И они уезжают, улыбаясь и кивая, а мы тоскуем по ним и дуемся, обиженные на целый свет. Крыс, зверек самостоятельный и независимый, был очень привязан к родной земле, и хотя никогда не тянулся за теми, кто собирался за границу, но и не замечать происходящего тоже не мог, и не мог положить руку на сердце сказать, что полностью свободен от его влияния.

Суматоха всеобщего бегства мешала ему сосредоточиться. Покинув дремотно булькающую в мощных тростниковых зарослях обмелевшую и обленившуюся реку, он отправился в поля, долго, бесцельно блуждал по выжженным пастбищам и, наконец, с головой окунувшись в пшеничное королевство; мягко катились волны по огромному желтому морю, и шуршали, и шептали, и бормотали. Он любил бродить по этому лесу, меж тугих, крепких стеблей, уходящих в золотое небо, вечно танцующее мерцающее небо, без умолку лепечущее что-то тихо и нежно. Порой порыв ветра трепал, раскачивал и пригибал к земле пшеничные деревья, но они всегда упруго выпрямлялись и, встряхнувшись, хохотали заливисто и звонко. К тому же обитали здесь Крысы дружочки — жили довольно замкнуто, своим кругом, и трудились не покладая рук, не ведая скуки и праздности, но, завидев гостя, рады были бросить все дела, улучшить минутку и вволю посплетничать, пооткровенничать, обсудить последние новости. Сегодня же в поведении полевых мышей, хотя и безупречно вежливым, сквозила какая-то особая озабоченность. Одни копали, сосредоточенно и деловито рыли туннели, другие, сбившись в кучки, — нос к носу, голова к голове, — разглядывали планы и чертежи малюсеньких квартир, прикидывали, достаточно ли удобно будущее жилье, не велико ли и, главное, удачно ли расположено: а надлежало ему находиться неподалеку от Складов. Некоторые выволакивали на свет Божий пыльные сундуки и бельевые корзины; были и такие, что, засучив рукава, ловко паковали пожитки, — и повсюду, насколько хватало глаз, высились груды аккуратно увязанных в пучки и снопики пшеницы, овса, ячменя, горки буковых и земляных орешков, — все первосортное, готовое к отправке.

— А, Крысище, старина! — закричали они, заметив незваного гостя. — Иди-ка подсоби, Крыс, лодырь несчастный, нечего тут без дела ошиваться!

— Это что же вы затеяли, а? — нахмурился Крыс. — Тоже мне, нашли время заниматься зимним жильем, безобразники! Рано еще.

— Знаем-знаем, — кивнул полевой Мышь, смущенно зардевшись и отводя глаза. — Но ведь надобно и в срок уложиться, правда? Нам обязательно нужно перевезти весь наш скарб — и одежду, и мебель, и припасы, пока не понаехали эти ужасные машины: ты видел их? Слышал, как они лязгают и громыхают? Кроме того, хорошие квартиры нынче нарасхват, чуть опоздал — и остался с носом, и тогда уже не до выбора, тогда уж будь доволен, коли хоть что-нибудь удалось урвать. А ремонт? Там же все приходится переделывать, прежде чем въезжать! Нет, тогда — кошмар, тогда — просто не приведи Господи! А если мы и рановато взялись за сборы — так что за беда? Это ведь самое начало, мы только-только приступили, буквально перед твоим приходом.

— Ну его к лешему, ваше *начало!* — проворчал Крыс и потянул его за рукав. — Пошли лучше покатаемся на лодке, или пешком прогуляем, или пикник в лесу устроим — да мало ли как можно развлекаться в такую погоду!

— Спасибо-спасибо, не сегодня! — забубнил Мыш, торопливо отдергивая лапку. — В другой раз, когда мы будем посвободнее.

Крыс презрительно фыркнул, повернулся к нему спиной, шагнул и, споткнувшись о шляпную картонку, грохнулся на землю, сопровожда падение свое выражениями, которые лишь с большой натяжкой могли быть отнесены к разряду пристойных.

— Если быть чутьчку поосторожнее, — холодно заметил Мыш, — и смотреть под ноги, когда идешь, — обычно обходишься без синяков и ссадин, и не приходится краснеть, наговорив в запале Бог знает чего. Осторожней, Крыс, там ящик с инструментами! Ты знаешь что? Посиди пока где-нибудь в сторонке, через часок-другой у нас, глядишь, передышка выйдет, тогда и пообщаемся.

— «Передышки» — или как там вы это называете — до Рождества уже, пожалуй, не получится, долговато что-то ждать! — раздраженно огрызнулся Крыс и заспешил прочь.

В самом мрачном расположении духа вернулся он к реке, верной, неизменной Реке, которая никогда не паковала чемоданов, не срывалась с насиженных мест, переезжая на зимнюю квартиру.

Неслышно прокравшись к заросли ивняка, пушистой бахромой окаймлявшего берег, он принялся подглядывать за сидящей ласточкой. Вскоре к ней присоединилась другая, потом — третья. Беспокойно приплясывая на гибкой красной веточке, птицы договаривались о чем-то, серьезно и тихо.

— Как, уж е? — возмутился Крыс, подбираясь поближе. — Что за спешка? Просто курам на смех!

— Да мы еще не отправляемся, если ты это имеешь в виду. Пока одни только планы, так, обсуждаем кое-что: какой дорогой лететь, где остановиться — ну и тому подобное. Мелочи, ерунда, конечно, но для нас в этом чуть ли не вся прелесть и заключается.

— Прелесть? — переспросил Крыс. — Вот, собственно, чего я совершенно не понимаю. Если уж вам приходится покидать дивные места, друзей, что будут скучать без вас, ваши только-только обжитые, уютные домики, если вы и впрямь не можете остаться; ну ладно, знаю — вы храбрые птички, и терпеливцы, и бойцы, и в лицо опасности глядите не отворачиваясь, и лишения переносите стойко, и перемены, и новизна вас не пугают — вроде бы, правда, совсем уж несчастненькими вас не назовешь. Но говорить на эту тему, но думать! Притом заранее, когда еще не приперло, да в удовольствие, да в охотку — нет уж, увольте! — такие вещи выше моего разума!

— Ну еще бы! — улыбнулась вторая ласточка. — Хочешь, попробую объяснить? Однажды оно начинает толкаться, шевелиться внутри, под сердцем, — сладостное волнение. Потом приходят воспоминания — одно за другим, будто голуби, возвращающиеся в голубятню. Бьют крыльями, взрывая по ночам наши сонные сны, а днем кружат и вьются вместе с нами, не отставая и не отпуская. И мы жадно спрашиваем друг друга и торопимся рассказать словами картины, мелькающие в памяти, чтобы убедиться, поверить скорее: все это было взаправду, а запахи, и звуки, и давно позабытые имена постепенно окружают нас — и манят, манят...

— Ну хотя бы в этом году можно сделать перерыв? — осведомился Крыс, борясь с подступающей к горлу тоской. — Мы тут стараемся, из кожи вон вылезем, чтобы вы чувствовали себя как дома! У нас здорово, весело бывает зимой, неужели посмотреть не интересно?

— Я однажды сделала «перерыв» на год, — призналась третья ласточка. — Чудное было место, я душой прямо приросла к нему — если рвать, то по живому, и, когда пришла пора, отбилась от своих, отстала и осталась зимовать. Эдак с пару недель все шло замеча-

тельно! Но зато потом! О Господи, эти бесконечные томительные ночи! Промозглые сумеречные дни! Воздух сырой, вязкий, холодный — и ни единого насекомого на много миль вокруг. Нелепицей, безумием обернулась моя затея, я испугалась — и одной студеной ночью взмыла в черное ненастное небо. Оглушительно ревел восточный ветер, заламывал крылья — пришлось изменить курс и лететь над землей, забирая все дальше от моря. Шел снег, когда я пыталась пробиться через огромный горный хребет, — и клянусь, нелегко мне дался тот перевал, но я нашла его — и до самой смерти не забуду острого, блаженного наслаждения, когда лучи солнца согрели наконец мою спинку; а я неслась все дальше, к озерам, что раскинулись передо мной, синие, спокойные. Ах, божественный вкус первой жирной мухи! Прошлое казалось мне дурным сном, будущее улыбалось — радостное, праздничное. День за днем, неделя за неделей продвигалась я на юг, неторопливо, с ленцой, отдыхая вволю и ни в чем себе не отказывая, но и не забывая прислушиваться к зову, призывающему: вперед! Нет, мне достаточно одного предупреждения, больше я сопротивляться и бунтовать не намерена!

— О, голос юга, зов юга! — мечтательно защебетали остальные ласточки. — Его песни, цвета, его сияющий воздух! А помнишь...

И, напрочь позабыв о Крысе, они кинулись в омут воспоминаний, одержимые одной любовью, терзаемые одной страстью. Очарованный, внимал им Крыс, и сердце его гулко стучало. Он ясно понимал, что за струна, пробудившись от долгой дремы, отозвалась наконец и в его душе и звенела теперь — протяжно, непривычно. Незатейливая болтовня обреченных на кочевье юголюбивых птиц, их рассказы — выцветшее, беспомощное подобие заморского узора — породили в нем неведомую жажду, заставили дрожать всем телом от странного озноба. А если — пусть даже на миг — попал бы он в тот, настоящий мир? Один лишь раз ощутить легкое касание пылкого южного солнца, принюхаться к благовонному вздоху роскошной южной земли... Прикрыв глаза, забыв обо всем на свете, мечтал Крыс о незнакомых далеких краях, а когда очнулся и, встрепенувшись, огляделся, то увидел, что река недобро, студено отливает сталью, а зеленые поля посерели, словно опустился вечер, — и, сгорая от стыда, признал правоту собственного верного сердца, которое рвалось и билось, крича о предательстве.

— Какого ж черта вы сюда возвращаетесь? — обиженно поинтересовался он, прервав птичий треп. — На что вам сдалась наша убогая, унылая крошечная страна?

— Неужели ты думаешь, — покачала головой первая ласточка, — что, когда приходит время, мы не откликаемся и на тот, другой зов? Зов лугов, заросших сочным мятликом, мокрой садовой листвы, комариных облаков, клубящихся над теплыми прудами? Нас ждут пасущиеся стада, и стога сена, и строительная суতোлка вокруг Дома под образцовой божественной Стрехой.

— Надо же, — подала голос вторая, — вообразил, что он один сгорает по весне от нетерпения, от безумного, необузданного желания вновь услышать песню кукушки!

— Наступит день, — кивнула третья птица, — и мы еще раз затоскуем по родине, по безмятежным белым лилиям, что покачиваются на глади английских рек. Но сегодня все это так далеко, так туманно, так размыто — сегодня в нашей крови играет другая музыка!

И снова, возбужденные, восторженные, затараторили они — о фиолетовых морях, рыжих песчаных пляжах, о стенках, облепленных ящерицами.

Снедаемый беспокойством, Крыс побрел прочь и, забравшись выше по пологому склону северного берега реки, плюхнулся животом

на землю. Взгляд его, устремленный на юг, уперся в бескрайнее полукружие известковых холмов и растерянно остановился. Дальше дороги не было. Там и кончился неприятный Крысий мир, там высились откосы его Лунного Кратера, отмечая границу, за которую никогда прежде не хотелось заглянуть. Но теперь, обуреваемый новой страстью, голодными глазами шарил он по неровному горизонту, и безоблачно, извилисто подчеркнутое небо слегка вибрировало, трепетало, словно обещая утешение и вселяя надежду. Теперь его притягивало неизведанное: ради невиданного только и стоило жить. По эту сторону холмов лежал бесплодный пустырь, зато там, дальше, — какое пестрое, яркое, разноликое полотно раскинулось перед его внутренним взором! Как зеленели моря, вздымая задорные резные волны! Как золотились на солнце раскаленные пляжи, как ослепительно белели виллы посреди оливковых рощ! Какие корабли заполняли тихие гавани — горделивые великаны, готовые поднять якоря и отплыть к пурпурным островам — островам вина и специй, полутопленным в томных южных водах!

Встав на ноги, он спустился было к реке, но опять передумал, поколебавшись, направился к пыльной проселочной дороге, прилег у обочины, в тени живой изгороди, и, зарывшись в прохладный сумрак непричесанных, спутанных трав, созерцая хорошо утрамбованную тропу, принялся грезить — о чудесных мирах, куда вела она, о тех бесчисленных путниках, что, должно быть, и утоптали ее так гладко своими неутомимыми лапами в поисках сокровищ и приключений, щедро рассыпанных там, вдали, за горизонтом — за горизонтом!

Звук шагов коснулся его уха, и почти сразу в поле зрения попала одинокая фигурка. Еле передвигая ноги, по дороге брел какой-то Крыс, и пыль долгого странствия густо запорошила его шерсть. Поравнявшись с Водяным Крысом, странник поприветствовал его, причем в учтивом этом жесте просквозило нечто изысканное, иностранное, — помедлив, он располагающе улыбнулся и вдруг, решительно свернув на обочину, уселся рядышком, в холодящие листья. Незнакомец выглядел очень усталым, и Крыс, прекрасно понимая его состояние, не стал задавать вопросов: ведь животные порой больше всего на свете ценят собеседников, умеющих вовремя помолчать, — пока расслабляются твои натруженные мышцы и блаженно бездельничает мозг.

Странник, тощий, длиннолапый, был сутуловат и остролиц, морщинки расходились веером от уголков его глаз, а в изящных, красиво вылепленных ушках поблескивали маленькие золотые сережки. Одет он был в синюю вылинявшую фуфайку, латанные-перелатанные бриджи, замызганные и заляпаные, но изначально, видимо, тоже синие, а скудное походное имущество держал увязанным в синий ситцевый платок.

Немного отдышавшись, незнакомец понюхал воздух и огляделся.

— Пожалуй, пахнет клевером, — решил он. — Такой теплый, душистый всплеск ветра! А где-то позади — коровы, слышу, как они щиплют траву, как шумно, влажно сопят, на миг переставая жевать. Вот вдали лязгает жатка, а там, у самого леса, голубоватой лентой проплывает дымок: значит, на ферме уже затопили камин; в той стороне — речка, верно? Это ведь оттуда кричит шотландская куропатка? Да и сам ты — по глазам вижу, по повадке — тоже речного флота морячок. М-да... Мир словно бы застыл в ленивой полудреме — и все же шевелится, движется куда-то. Приятственную жизнь выбрал ты себе, дружище, может и лучшую из всех возможных, если, конечно, хватает у тебя на нее духа, воли, упорства.

— Еще бы, моя жизнь — единственная, которой имеет смысл жить, — вяло отозвался Водяной Крыс, и не было в его голосе всегдашней задиристости, оголтелой уверенности в своей правоте.

— Я не совсем это имел в виду, — осторожно заметил незнакомец, — но она и вправду лучшая. Сам пробовал, знаю. И именно потому, что пробовал — полгода продержался — и понял, что она — лучшая, — именно поэтому я снова здесь, голодный бродяга со стертymi в кровь подошвами, и удираю от нее, удираю на юг, прислушиваясь к старому зову, обратно в прежнюю жизнь, мою жизнь, которая никогда не отпустит меня на свободу.

— Ну вот, пожалуйста, еще один из них, — пробормотал Крыс. — И откуда же ты путь держишь?

Спросить о конечном пункте путешествия он не осмелился — слишком хорошо был ему известен ответ.

— С одной славной фермочки, — коротко объяснил странник и, махнув лапой на север, добавил: — Примерно в том направлении. Неважно это, приятель! У меня там чего только не было — даже неловко, вроде как я и не заслужил, только птичьего милока и недоставало. И вот я здесь! И доволен, и счастлив до нельзя, что я здесь, и — пропади оно все пропадом — я ужасно рад! Уже столько пройдено миль, значит, я ближе, многими часами ближе к пленительной цели, которой вожделеет мое сердце!

Сияющие глаза незнакомца были прикованы к горизонту, а уши сторожко, жадно ловили какие-то одному ему слышимые звуки с той далекой фермы, оглашаемой, должно быть, веселой музыкой пастбища и скотного двора.

— Ты не похож на нас, — произнес Водяной Крыс. — И на фермера тоже, и вообще, как бы это выразиться поточнее, — на местного жителя.

— Правда твоя, — согласился незнакомец. — Крыс-Мореплаватель — вот кто я такой, а порт, к которому я, собственно, приписан — Константинополь. Хотя, строго говоря, я и там вроде как иностранец. Ты слыхал о Константинополе, дружище? Красивый город, древний и знаменитый. А может, имя Сигурда тебе знакомо — Сигурда, Норвежского Короля? Он приплыл туда на шестидесяти кораблях, с дружиной, и копыта статных лошадей ступили на улицы, усталые пурпуром и парчой, и Император с Императрицей вышли приветствовать его, и он потчевал их на борту своего судна. Потом Сигурд отправился домой, но многие норманны остались служить Императору, став его телохранителями, — и мой предок, урожденный норвежец, тоже остался, вместе со всеми этими кораблями, преподнесенными городу в знак дружбы. Мы издавна были моряками, и ясное дело — ну вот для меня, к примеру, каждый мало-мальски привлекательный порт от Константинополя до Большой Лондонской Реки — все равно что дом родной. Я знаю их, а они — со мной на дружеской ноге, и попади я на любую пристань, на любой малюсенький причал — тут же почувствую, что воротился домой.

— Ты, наверное, потрясая много путешествовал? — взволнованно спросил Водяной Крыс. — С ума сойти — месяцами не видеть суши, и продовольствие, и вода, и скуден ежедневный паек, зато душа твоя говорит с могучим океаном — в таком роде, да?

— Ничего подобного, — честно ответил Морской Крыс. — Этакая жизнь абсолютно не в моем вкусе. Я, видишь ли, занимаюсь каботажной торговлей, обычно наши корабли далеко в море не выходят. В прибрежной жизни, дорогой мой, есть свое очарование, и немалое. Ах, эти южные портовые города! Их запахи, огни, дрожащие на черной ночной воде, — чертовщина, колдовство!

— Ну не знаю, — с сомнением протянул Водяной Крыс, — тебе видней. Если есть настроение, расскажи немножко про это . . . каботажное судоходство — что почерпнет из подобного времяпровождения животное с духовными запросами, с каким багажом придет к закату

своих дней, какими вдохновенными историями сумеет согреть одинокую старость? Моя собственная жизнь, признаться, с каждым днем кажется мне все более узкой и ограниченной.

— Последнее плавание, — охотно заговорил Морской Крыс, — то, что в итоге и привело меня в вашу страну (а с ней я связывал большие надежды, ну, ты помнишь про ферму?), достаточно типично, пожалуй, в нем сконцентрирована вся моя пестро расцвеченная жизнь, — его я и опишу. Началось, как водится, с домашних неурядиц. Семейный барометр показывал бурю, и, не откладывая дела в долгий ящик, я поднялся на борт торгового суденышка, отправляющегося из Константинополя к Леванту и Греческим островам. Мы проходили славными морями, где каждая волна рокотала вечную память чьим-то бессмертным именам. Сияли прозрачные дни, благовонно дышали ночи. Мы то и дело причаливали и опять снимались с якоря, и повсюду встречал я старых друзей; в жару спали, забираясь то в сыроватую прохладу каменного храма, то в растресканную бочку, из которой давно утекла вода, а когда садилось солнце, пировали, распевая песни, под сочными звездами, разбросанными по бархату неба. Оттуда повернули в Адриатику и шли вдоль янтарных, розовых, бирюзовых берегов, вставая на якорь в просторных закрытых бухтах, шатались по улочкам старинных величавых городов и наконец однажды на рассвете, когда царственное солнце послало нам в спину первые лучи, по золотой дорожке вплыли в Венецию. Ах, Венеция, дивный город, раздолье крысам — гуляй, любуйся, развлекайся! А загудят ноги — устройшься с приятелями на набережной Большого Канала, и опять же пир горой, и ночной воздух напоен музыкой, а небо усыпано звездами, и огни скользят, колеблясь и мерцая, по стальным полированным носам гондол, которые чуть колышутся, притиснутые друг к другу так плотно, что можно перебраться через канал, не замочив лап. А еда! Ты любишь омаров? Ну да ладно, об этом как-нибудь в другой раз.

Он замолчал; Водяной Крыс тоже молчал, замороженный; ему мерещились каналы и покачивание гондолы под ногами, и таинственная песня пронзительно взмывала ввысь, и волны лизали прозрачные серые стены.

— Затем, — снова заговорил Мореплаватель, — мы опять направились к югу, обходя побережье Италии, и в конце концов пристали в Палермо. Там я расстался с судном насовсем, решив пожить сухопутной жизнью, — и счастливое же это было времячко! Я, в принципе, стараюсь почаще менять корабли, а то, знаешь, пропадает широта мысли, одолевают какие-то предубеждения, предрассудки. Ну а Сицилия — это просто моя слабость. Я там со всеми знаком, и обычаи местные мне очень по нраву. Короче говоря, провел я там несколько восхитительных недель, навещая то одного, то другого приятеля и почти не приближаясь к морю. А потом тревога зародилась в моей душе, и росла, и, не вытерпев, я устроился на одну торговую посудину, которая отплывала к Сардинии и Корсике. И когда свежий ветер бросил мне в лицо соленые брызги — до чего же я был счастлив: как ребенок, ей-Богу!

— А там, в этом, ну, как он называется, — в трюме — не слишком ли жарко? Наверное, дышать нечем? — осторожно поинтересовался Крыс.

— Я, знаешь ли, старая корабельная крыса, — скромно заметил Мореплаватель и слегка подмигнул, — по мне, так и капитанская каюта хороша.

— Да, нелегкая жизнь — как ни крути, — задумчиво прошептал Крыс.

— Для команды-то? Еще бы! — грустно кивнул Мореплаватель, и снова веко его еле заметно дернулось, и углубились морщинки у глаза.

— На Корсике, — продолжал он, — я сделал пересадку и отправился на материк с грузом вина. В Алассио прибыли вечером, встали на якорь, выволокли на палубу наши винные бочки и, связав их все канатом, попросту повышвыривали за борт. Спустили на воду шлюпки, команда взялась за весла; они гребли к берегу и пели, а следом длинной вереницей, подпрыгивая на волнах, тянулись эти бочки, словно стая дельфинов. Занятное было зрелище! На берегу, песчаном и отлогом, уже ждали лошади; они поволокли наши бочки, карабкаясь наперегонки по крутым городским улочкам, и топотали, и грохотали при этом невероятно. Погрузив последнюю бочку, мы решили подкрепиться и как следует расслабиться и до поздней ночи сидели в кабачке с друзьями и выпивали, а поутру я простился со всеми и пустился в странствие по оливковым рощам. Да-да, я опять отпустил себя в увольнительную, потому что острова остались позади и здесь, на большой земле, что ни деревушка — то пристань, и кораблей хоть отбавляй: приспичило — сел и поплыл. Жил я праздно, лениво, целыми днями валяясь в теничке, глаза на крестьян, ковыряющихся в земле; а порой, поднявшись на верхушку холма, укладывался там, растянувшись на выжженной траве, и Средиземное море переливалось далеко внизу, голубое, бескрайнее. Так, мало-помалу, не спеша, не напрягаясь, то пешком, то морем, добрался я до Марселя. И опять закружилось-завертелось: старые товарищи, вылазки на громадные океанские суда, пирушка за пирушкой. Кстати, об омарах! Мне до сих пор снятся нежные омары Марселя, и я просыпаюсь в слезах.

— Ой, хорошо, что напомнил! — всполошившись, хлопнул себя по лбу Водяной Крыс. — Совсем памяти никакой — сижу как истукан, ушами хлопаю. Ты ведь еще тогда на голод жаловался, извини, что раньше не предложил, если тебе не к спеху, перекуси со мной, а? Но-ра моя тут в двух шагах, время — за полдень, так что добро пожаловать. Угощение, правда, у меня немудрящее, но чем богаты, тем и рады!

— Вот это мило с твоей стороны, это по-братски! — обрадовался Морской Крыс. — Честно признаться, я к тебе и подсел-то голодный, а когда еще ляпнул сдуру про этих омаров — и совсем живот подвело. Только — ежели тебя не затруднит, принеси-ка сюда свои разносолы. Я, понимаешь ли, не большой охотник прятаться под палубой — пока нужда не заставит. Я бы за обедом еще много чего порассказал — жизнь моя примечательная, ну просто наисоблазнительнейшая жизнь, я, во всяком случае, ни на какую другую не согласен, — да и у тебя, сдается мне, тоже глазки заблестели, а дома, в духоте и тишине, и сомневаться нечего — захраплю моментально.

— Отличная идея! — воскликнул Водяной Крыс и поспешил домой. Достав свою знаменитую корзинку, он принялся складывать в нее нехитрые припасы, причем, памятуя о происхождении и пристрастиях гостя, присовокупил к ним и нечто особенное: длинную французскую булку, колбасу, напевающую чесночным голоском, кусок слезящегося, оплывающего сыра — и узкогорлую оплетенную бутыл, в которой плескался пленный солнечный свет, — собранный с залитых жаркими лучами южных склонов далеких гор. Нагрузившись, он со всех ног побежал обратно. Распаковывали корзинку вместе, раскладывая содержимое на траве у обочины, и Крыс весь раскраснелся от комплиментов старого моряка, возносящего хвалу его вкусу и здравому смыслу.

Заморив червячка, Морской Крыс вновь приступил к истории своего последнего плавания. Умело управляя он воображением простодушного слушателя, показывая ему гавани Испании, причаливая в Лиссабоне, Оporto, Бордо, заходя в гостеприимные порты Корнуолла и Девоншира, вел его дальше по Ла-Маншу, к той конечной пристани, где, ступив на сушу, уставший от бьющих в лицо ветров, потрепанный

бурями, одуревший от непогоды, впервые ловил он ласковые, манящие призывы иной Весны и, поддавшись неожиданному соблазну, зашагал прочь на север, миля за милей отмеряя тяжелый и долгий путь, решившись испробовать неизведанный вкус новой жизни на тихой усадьбе, подалее от морей с их душою выматывающей тошнотворной болтанкой.

Трясаясь от волнения, Водяной Крыс внимал обольстительной поведи; он пронесился над штормящими заливами и переполненными рейдами, над приливами, стремительно пожирающими отмель, над петляющими реками, таящими за каждым поворотом какой-нибудь хлопотливый городишко, — и, наконец, с разочарованным вздохом покинул своего искусителя у ворот отвратительной фермы, в которой не желал больше слышать ни единого слова.

Закончив трапезу, Мореплаватель, посвежевший, окрепший, звонко-голосый, наполнил бокал красным благородным пламенем юга и вновь заговорил, склонившись к Водяному Крысу и не сводя с него горящего взгляда, но иначе как отразившего ослепительный свет далеких морских маяков, — и Крыс застыл, скованный бессилием, не властный более ни над душой своей, ни над телом. На него пристально смотрели глаза, изменчивые, будто разузоренное пеной бурное северное море, — такие же зеленые, такие же серые. В бокале жарким рубином пылало само сердце юга и билось, пульсировало, подавая знак тому, у кого хватит мужества отозваться. Этот двойной огонь — прихотливо-неуловимый, серый и уверенный, горячий, красный — и заморозил Водяного Крыса, и связал его, беспомощного, по рукам и ногам. Мощный сноп света бил в лицо, и скромный тихий мир, оказавшись в тени, затуманился и исчез. А божественный голос все лился и журчал — слова ли звучали? Или временами перетекали они в песню? Что это — хор матросов, выбирающих якорную цепь, мокрых от летящих во все стороны капель; оглушительный вой снастей под неистовым норд-остом; протяжный распев рыбака, что колдует над неводом, черный на абрикосовом закатном небе; гитарный ли, мандолинный ли перебор, летящий из встречной гондолы? Или ветер стонал, причитая горько и грустно, и крепчал, осердясь, и свистел оглушительным разбойничьим посвистом и вдруг, ослабев, принимался выдувать мелодию, бережным дыханием наполняя паруса? Все эти звуки разом обрушились на очарованную душу, — а вместе с ними и голодные жалобы чаек, и раскатистый рокот прибора, и возмущенное шуршание гальки. Порой снова наплывали слова, и с бешено колотящимся сердцем сопереживал он бесчисленным приключениям в портовых городах — дракам, побегам, сборищам единомышленников, рискованным авантюрам; разыскивал сокровища, забрасывал удочку в неподвижную воду лагуны, часами нежился на теплом белом песке. Узнавал он о том, как рыбачат в открытом море, какой серебряной тяжестью ворочается в многомильных сетях бесценный улов; об опасностях, стерегущих на каждом шагу, о грохоте бурунов безлунной ночью; о том, как прямо над головой выступает из тумана высокий нос пассажирского лайнера и как весело возвращаться домой, когда огибаешь мыс, и гавань встречает тебя распростертыми огнями, и на пристани смутно виднеются фигуры встречающих — радостные оклики, и вот уже спущены сходни, и ты на берегу и, отдуваясь, взбираешься по отвесной улочке, дальше, выше, туда, где покойно и уютно светится за красной занавеской родное окно.

Потом почудилось Крысу, — во сне или наяву? — будто Искатель Приключений поднялся на ноги и, по-прежнему держа его под прицелом серых морских глаз, вкрадчиво зашептал:

— Теперь мне пора. Держа курс на юго-запад, много дней будешь шагать по пыльной этой дороге, пока не покажется впереди серень-

кий приморский городишко, мой давнишний знакомец, прилепившийся к крутому берегу над самой гаванью. Сквозь темные глазницы узких ворот, занавешенных густыми розовыми волосами валерианы, ты смотришь вниз, и пролеты каменных лестниц обрываются прямо в искрометно-синие лоскутья воды. Лодочки, привязанные к кольцам и опорам старинного пирса, раскрашены ярко и нарядно, совсем как те, что мальчишкой облизил я вдоль и поперек. Лососи выпрыгивают из волн набегающего прилива, сверкающие косяки макрели режутся у пристани, а прямо под окнами глядящих на воду домов скользят день и ночь напролет огромные корабли, одни — на стоянку, другие — прочь, в открытое море. Рано или поздно взвиваются над гаванью флаги всех морских держав; рано или поздно — как распорядится судьба — здесь встанет на якорь и мой избранник. Зачем торопиться? Я буду медлить и тянуть время, и наконец тот корабль, что предназначен мне одному, уже отверпованный, загруженный, вытянет свой бушприт к свободно-му горизонту, подсказывая: пора! И я проникну на борт, в лодке или по швартовам, уж как получится, — и настанет утро, когда меня разбудит песня, и громохание кабестана, и веселое позвякивание возвращающейся на место якорной цепи. Мы поставим кливера и фоки и начнем набирать скорость, и белые домики порта медленно поплывут назад. Так начнет путешествие! Идя вдоль мыса, мой красавец оденется во все паруса и, достигнув зеленого звонкоплещущего пространства открытых морей, слегка кренясь под порывами ветра, уверенно возьмет курс на юг.

И ты, младший брат мой, тоже должен быть там, ибо юность проходит, и ее не вернуть, а юг все еще ждет тебя. Вот оно, твое Приключение, кличет тебя — прислушайся, протяни руку, пока не поздно, пока неумолимое время не отвернулось навек. Просто захлопни дверь и сделай шаг — один лишь шаг в благословенное неизведанное — и прежняя жизнь сгинула, ее больше нет, и началась твоя новая жизнь! И может, когда-нибудь, через много лет, ты вновь появишься в здешних местах — осушив чашу до дна, опустив занавес — чтобы, усевшись с друзьями на берегу этой тихоструйной речушки, поделиться с ними жаром и звоном твоих небывалых воспоминаний. Тебе не составит труда догнать меня: ты молод, а я уже старею и поослаб ногами. Я буду часто останавливаться и оглядываться и в конце концов непременно увижу, как, стремительный и беспечный, шагаешь, ты следом, с печатью юга, полыхающей на твоем счастливом челе!

Голос звучал все глуше, глуше — и вовсе пропал, как будто неизвестный насекомый-музыкант, трубя в свою хрустальную трубу, улетел, растворившись в тишине. Оцепенело уставившись вдаль, Водяной Крыс не смог различить ничего, кроме крохотного пятнышка на пыльной белой дороге.

Механически поднялся он с земли и принялся тщательно, неторопливо складывать в корзинку остатки трапезы. Механически передвигая ноги, он вернулся домой, собрал в мешок самое необходимое и парочку сокровищ, которыми особенно дорожил; словно лунатик, побродил по комнате, приоткрыв рот и к чему-то прислушиваясь; затем взвалил мешок на плечо, аккуратно перебрав свои дорожные палки, выбрал ту, что крепче, не задерживаясь, размеренно направился к двери и переступил порог.

— Ты куда же это намылился, Крыс? — недоуменно спросил Крот, столкнувшись с ним в дверях, и крепко ухватил за руку.

— На юг, на юг, вместе со всеми, — бесцветно, вяло пробормотал Крыс, не глядя на приятеля, — сперва — к морю, там — на корабль — и вперед, к зовущим меня берегам.

Твердой поступью он двинулся дальше, по-прежнему неспешно, с упрямством одержимого, но Крот, уже изрядно обеспокоенный, за-

городил дорогу и, посмотрев ему в лицо, ужаснулся. Остекленело, немигающе глянули с этого лица зыбкие, мраморно-серые глаза — чужие глаза! Отчаянно вцепился в уходящего Крот и умудрился втащить обратно в комнату и, повалив на пол, всем телом придавил сверху.

Яростно бился плененный скиталец, но быстро обессилел, закрыл глаза и перестал сопротивляться, а только вздрагивал, неподвижный, измученный. Крот помог ему подняться и усадил на стул. Сгорбившись, сидел Крыс, думая о чем-то своем, и свирепый озноб сотрясал его тело, переходя порой в сухие истерические всхлипы. Крот повернул в двери ключ, запер походный мешок в ящике стола и, примостившись на столе, рядом с заболевшим другом, стал ждать окончания этого странного припадка. Мало-помалу Крыса сморилась беспокойная дремота; вздрагивая, он то и дело принимался невнятно и несвязно лепетать вещи неслыханные, дикие и, с точки зрения непосвященного Крота, совершенно нелепые; и наконец погрузился в глубокое забытие.

Все еще обеспокоенный, Крот на цыпочках вышел из гостиной, занялся домашним хозяйством и работал, пока не стемнело, и только тогда решился проведать больного. Крыс не спал. Он сидел на прежнем месте, сжавшись в комочек, и безразлично, подавленно молчал. Бросив беглый взгляд на злополучные глаза, Крот, к величайшему своему облегчению, убедился, что они опять потемнели — карие, ясные, славные бусины, — сел на соседний стул и, всячески подбадривая Крыса, попытался вызвать его на откровенный разговор.

Бедолага Крыс тоже очень старался, но как мог он холодными, бездушными словами выразить сладкую тяжесть бесплотного морока? Описать неотвязно звучащий в ушах голос моря? Помочь другому увидеть то, чего никогда не видел наяву, а лишь смутно представлял, убаюканный волшебными воспоминаниями Чужеземца? Теперь, когда дурман рассеялся и магические силки ослабили свою хватку, он и сам уже толком не понимал, что именно казалось всего несколько часов назад таким единственным и неизбежным. Конечно, ему так и не удалось донести до сознания Крота смысл произошедшего за этот долгий тяжелый день.

А тому и так все было понятно: хворь отступила, изнурительный приступ кончился, и Крыс, хоть его и познабливает еще, и настроение паршивое, остался жив-здоров, в ясном уме и твердой памяти. Одно нехорошо: после болезни он потерял интерес ко всем тем милым мелочам, что составляли прежде его жизнь, и даже к составлению планов и прогнозов на будущее — чудесному занятию, которое подарила им предстоящая смена времени года.

Небрежно, с напускным равнодушием Крот перевел беседу на другие рельсы. Он упомянул о сборе урожая, переполненных телегах и рабочем скоте, выбивающемся из сил, о том, как растут стога и крупная луна поднимается над голыми полями, освещая скопища снопов. О краснеющих яблочках говорил он, о темном загаре лесного ореха, о вареньях и компотах, о перегонке спирта и ароматных ликерах и так, шаг за шагом, добрался и до самого короткого дня в году и, взявшись описывать зимние уклады и обаяние домашней прикаминной жизни, совсем растрогался и от умиления зашмыгал носом.

Труды и старания его увенчались успехом. Крыс выпрямился и, заинтересованно поблескивая глазами, начал все более внимательно прислушиваться к вдохновенной Кротиной речи, вставляя время от времени кой-какие полезные замечания.

Улучив минутку, Крот выскользнул из комнаты, а вернувшись, положил на стол карандаш и стопку бумажных листов и предусмотрительно подсунул их другу под локоть.

— Давненько ты стихов не сочинял, — ласково попрекнул он Крыса. — Как насчет сегодня, а? Вместо того чтобы — ну, ломать голову над... всякой ерундой? По-моему, ты лучше себя почувствуешь, если начеркаешь чего-нибудь. Ну хоть парочку рифм!

Крыс, утомленно вздохнув, отпихнул листки подальше, но благо-разумный Крот изыскал предлог и удалился на кухню, а когда, немного погодя, заглянул в щелку, то увидел, что поэт, отрешившись от мира, то увлеченно корябает карандашом по бумаге, то не менее остервенело грызет и жует его, засунув в рот. Признаться, грыз он гораздо больше, чем корябал, но Кроту и это было в радость — как знак того, что излечение все-таки началось.

(Продолжение следует)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

Алла МАРЧЕНКО

(зам. главного редактора)

Светлана Бучнева

(отв. секретарь)



К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Редакция располагает ограниченным количеством экземпляров журнала «Согласие» № 1—8 за 1991 год, № 1—12 за 1992 год, а также за 1993 год для розничной торговли. Цена договорная.

Журналы можно приобрести в редакции нашего издания по адресу: 113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.



Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке наших материалов ссылка на «Согласие» обязательна.



Технический редактор *Г. И. Репкина*

Корректор *А. Н. Киселева*

Подписано к печати 12.11.03 Рег. № 01872 от 10.12.92
Формат 70×108^{1/16} Гарнитура «Литературная» Печать высокая
Физ. печ. л. 14,0 Тираж 3000 экз. Заказ 4099 Цена договорная
Производственно-издательский комбинат ВИНТИ,
140010, Люберцы-10, Московской обл., Октябрьский проспект, 403

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28
Телефоны: гл. редактор — 235-15-56,
редакции — 235-14-10

Корректор *Э. А. Гендина*

SUMMARY

The 1st (the 26th) issue of *The Soglasie* is opened by the novel «Turning to Casanova». Its author Vladimir Retzeptzer is a well-known theater and cinema player as well as a poet and a historian of literature.

The poetry section of the issue includes poems by Nonna Slepakova and E. Volkov.

We continue the publication of the novels «The Harlequin» by Pyotr Aleshkovsky and «The Wind in the Willows» by Kenneth Grahame and also a series of letters of Vladimir Korolenko.

The last chapters of the masterpiece of Antoine de Saint Exupery, his philosophical novel «The Citadel», are supplied with the afterword by literary critic Yury Stefenov.

Valery Makarov's article is concerning the «eternal» problem of the authorship of Shakespeare's plays.

«CONCORDANCE»

«СОГЛАСИЕ», 1994, № 1